РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Российская история

Основан в марте 1957 года

Выходит 6 раз в год

В номере:

Типология реформ в России в XVI–XVII вв.

Диссертации историков: законодательные нормы и университетская практика

«Меньшевики-вредители» в Госбанке СССР

«Индустрия» награждений в брежневскую эпоху

Памяти Л.В. Даниловой

Обсуждаем книги

О.Л. Фетисенко. «Гептастилисты»

В.А. Невежин. Застолья Иосифа Сталина

МОСКВА
НАУКА

2 март апрель 2014

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

И.А. Христофоров

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В.В. Алексеев, Б.В. Ананьич, В.Ю. Афиани, Б.В. Базаров, Т.М. Горяева, Д. Дальманн, М. Дэвид-Фокс, А.Е. Иванов, С.П. Карпов, С.М. Каштанов, А.П. Корелин, Г.А. Куманев, Д. Ливен, А.К. Левыкин, С.В. Мироненко, Ю.С. Пивоваров, Р.Г. Пихоя, В.Н. Плешков, Г.А. Санин, Д. Свак, А.К. Соколов, А.К. Сорокин, В.А. Тишков, С.В. Тютюкин

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

О.Г. Агеева, О.В. Будницкий, В.П. Булдаков, М.Г. Вандалковская, П.Г. Гайдуков, А.В. Голубев, В. Дённингхаус, Е.В. Добычина, С.В. Журавлев, В.Н. Захаров, В.В. Зверев, Е.Ю. Зубкова, В.А. Кучкин, Д.В. Лисейцев, Е.А. Мельникова, Л.В. Мельникова, А.В. Мамонов (*зам. главного редактора*), **Ю.А. Петров, Е.И. Пивовар, Н.М. Рогожин, В.В. Трепавлов, В.В. Шелохаев, П.Ю. Уваров, О.В. Хлевнюк, А.В. Юрасов**

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

М.А. Новикова

Адрес редакции:

117036, Москва В-36, ул. Дм. Ульянова, 19. Тел. 8-499 723-69-10; 8-499 723-69-41
Электронная почта: otech_ist@mail.ru; otech_ist1@mail.ru

© Российская академия наук, 2014
© Редколлегия журнала «Российская история» (составитель), 2014

«“Гептастилисты”: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики»

Ольги Фетисенко

За последние десятилетия интерес к творчеству Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) постепенно приобрёл массовый характер. Ещё в начале 1990-х гг. его сочинения, практически не печатавшиеся в советское время, являлись библиографической редкостью и были известны достаточно узкому кругу специалистов и интеллектуалов. Теперь же значительная их часть неоднократно переиздана. К ним регулярно обращаются философы, историки, литературоведы. Об их авторе пишут книги, статьи, диссертации. Его цитируют политики и журналисты (порою плохо понимая то, о чём он говорил). Его имя прочно вошло не только в учебники и хрестоматии, но даже в социальные сети.

Успех этот вполне естественен. К.Н. Леонтьев, как ни странно, оказался по-своему созвучен настроениям рубежа XX–XXI вв. и своим обращением от юношеского либерализма к Церкви и охранительным ценностям, и своим историческим пессимизмом, осознанием близости неминуемого конца, наступающего не вследствие той или иной грандиозной катастрофы, а путём необратимого разложения и смесительного упрощения. Современный человек, уставший от беспросветной серости «пластикового века», легко откликается на живую и сокрушительную критику демократической уравнительности, не потерявшую за 100 с лишним лет своей остроты и актуальности. Леонтьев порою кажется нам даже гораздо ближе и понятнее, чем это есть на самом деле. Впрочем, как свидетельствует опыт, подобная популярность, граничащая с профанацией, может оказаться опасной для осмысления его наследия.

К счастью, оно уже много лет глубоко и всесторонне изучается, в первую очередь сотрудниками Пушкинского Дома Российской академии наук. Продолжается монументальное издание его Полного собрания сочинений, способное удовлетворить требования самого взыскательного критика. Блестяще опубликована его переписка с о. И. Фуделем и Т.И. Филипповым[1]. Появление в 2012 г. монографии Ольги Леонидовны Фетисенко[2] выводит эту большую и сложную работу на новый уровень.

Отличительной особенностью данного фундаментального труда, помимо колоссального объёма изученных источников, скрупулёзности их анализа и прекрасного литературного стиля (достойного памяти К.Н. Леонтьева), явля-

---

[1] *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений и писем в двенадцати томах / Подгот. текста и коммент.: В.А. Котельников, О.Л. Фетисенко. Т. 1–8. СПб., 2000–2009; «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания / Изд. подгот.: О.Л. Фетисенко // *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений... Приложение. Кн. 1. СПб., 2012; Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / Сост.: О.Л. Фетисенко. СПб., 2012; См. также рец.: *Котов А.Э.* Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) // Российская история. 2012. № 3. С. 208–211.

[2] *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2012. 784 с., ил.

ется редкий как в историографии, так и в литературоведении диалогизм. Леонтьев представлен в книге не как «объект исследования» (таковым являются его тексты) и не как оракул всевозможных истин, а прежде всего как «собеседник» – носитель собственного слова, раскрывающегося не в монологических авторских «выводах» и обобщениях, а в со-бытии с высказываниями и судьбами его современников, и доносящегося до читателя. Сама исследовательница, тщательно продумавшая и отшлифовавшая эту «беседу», подчёркнуто сдержанна и корректна в своих замечаниях и оценках. Хотя, конечно же, ей не удаётся скрыть увлечённости и неравнодушия к идеям и людям, о которых она пишет.

В обсуждении книги приняли участие доктор исторических наук А.В. Репников (Российский государственный архив социально-политической истории), кандидаты исторических наук Д.А. Бадалян (Российская национальная библиотека), А.Э. Котов (Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова), Д.И. Стогов (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет), С.В. Хатунцев (Воронежский государственный университет), А.С. Хорошева (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и С.В. Чесноков (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), кандидаты философских наук Д.В. Семикопов (Нижегородская духовная семинария) и А.А. Тесля (Тихоокеанский государственный университет), А.Ф. Чернавский (Институт философии Национальной Академии наук Республики Беларусь) и Е.В. Мамонова (журнал «Российская история»).

Даниил Семикопов: Смелость его мысли пугала всех

Константин Николаевич Леонтьев – одно из самых известных имён в истории русской религиозной мысли. В то же время его считают мыслителем не для всех, и не случайно ещё Розанов говорил, что у Леонтьева найдётся 2–3, от силы 20–30 поклонников, но он никогда не приобретёт широкой популярности. И только на первый взгляд кажется, будто современность опровергает слова Василия Васильевича.

За последние 20 лет вышло несколько монографий, посвящённых интеллектуальному наследию К.Н. Леонтьева, его творчество рассматривалось в десятках диссертаций. В Санкт-Петербурге в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН издаётся полное собрание его сочинений. Заместитель главного редактора этого издания – Ольга Леонидовна Фетисенко – выпустила фундаментальный труд, ставший заметной вехой в изучении биографии мыслителя, мечтавшего о новой восточнорусской культуре, основанной на «семи столпах». Именно этот «гептастилизм» и становится стержнем монографии. Автор детально анализирует данное учение в первой части своей книги, где идёт речь о публицистике, культурологии и эстетике Леонтьева. При этом в приложении к ней вводятся в научный оборот важнейшие документы, раскрывающие представления Леонтьева о «семи основаниях». Кстати, о том, что «гептастилизм» являлся основой историософских представлений русского мыслителя, его идеалом, уже писал нижегородский исследователь Р.А. Гоголев[3], но он, за неимением оригинальных текстов, был вынужден рассуждать о

[3] См.: *Гоголев Р.А.* «Ангельский доктор» русской истории. Философия истории К.Н. Леонтьева: опыт реконструкции. М., 2007.

сущности «гептастилизма» гадательно, тогда как О.Л. Фетисенко при помощи московского исследователя Г.Б. Кремнева выявила и изучила неизвестные дотоле записи Леонтьева, где прямо указывались эти семь столпов, «на которых должно утверждаться здание Славяно-Восточной новой культуры» (с. 133).

Леонтьев явно верил в осуществимость своего идеала, считая, что описанная им цивилизация вполне возможна – пусть всё сбудется не так, как видится взору, но и тогда будет видна явная связь между воплотившимся и исходным замыслом (как черты реально существовавших динозавров заметны в изображениях мифологических драконов). В данном случае Леонтьев, несмотря на свою православную «фанатичность», мыслит вполне в духе Локка, по мнению которого «в уме не может быть ничего, что бы не было дано в чувствах», и более того, добавляет, что интеллект не содержит ничего, чего бы уже не содержалось в явлениях природы. Концепция «дракона» Леонтьева, дотоле неизвестная, по-новому раскрывает его историософскую методологию (с. 123–134).

Как показано в монографии, Леонтьев не просто оплакивал развалины, подобно пророку Иеремии, но, как пророк Иезекииль, мечтал о храме новой цивилизации. Не сбылось... И в этом трагичность Леонтьева, практически все отрицательные прогнозы которого оправдались. Он что-то уловил, услышал в музыке истории, что позволяло ему с большой точностью предвидеть будущие катаклизмы: русскую революцию, превращение социализма в новый феодализм, изобретение оружия массового поражения, китайскую угрозу – всё это он увидел задолго до всех, и это сделало его одиноким тогда, в век безудержного оптимизма, и популярным сейчас.

В чём суть леонтьевского «гептастилизма»? В иерархическом государственном устройстве, предполагающем организацию Великого восточного союза во главе с Россией, но со столицей в освобождённом Константинополе. В независимой и сильной православной Церкви во главе с константинопольским патриархом. В строго «принудительной организации собственности и труда». В отказе от поклонения научному прогрессу. В создании новой многонациональной аристократии. В развитии мистических религиозных движений и в эстетическом аскетизме, в предпочтении красоты удобству. Конечно, ни один из перечисленных столпов не был воздвигнут, а уже имевшийся столп русского самодержавия, в котором Леонтьев видел «conditio sine qua non», «ось всего движения», «срединный столп», оказался в результате разрушен. Но была ли вообще альтернатива либеральным реформам? Был ли реализуем консервативный проект в России конца XIX в.? И не было ли поражение дореволюционного консерватизма закономерным? Размышление над этими вопросами естественно подводит читателя к тематике второй и третьей частей книги, в которых прослеживается общение Леонтьева с его собеседниками и учениками.

Вторая часть начинается с весьма интересной главки «О том, чего нет в этом разделе». В ней намечаются возможные направления будущих исследований творчества Леонтьева. Как ни удивительно, остаётся по-прежнему актуальной тема «Леонтьев и славянофилы». «Тема эта, – справедливо замечает О.Л. Фетисенко, – с одной стороны, уже далеко не нова, с другой же – надо признать, что даже биографическая канва жизненно-творческих пересечений мыслителя со славянофилами прочерчена сейчас не очень отчётливо» (с. 150). Проблема, видимо, и в том, что в отечественной науке вообще мало изучено творчество поздних славянофилов. Из современных Леонтьеву славянофилов исследовательница называет А.Ф. Гильдферинга, протоиерея А. Иванцова-Платонова, А.А. Киреева, А.И. Кошелёва, О.Ф. Миллера, кн. В.А. Черкасского

и др. История контактов Леонтьева с московским либералами (в частности, с сотрудниками редакции «Русской мысли») в данный момент и вовсе представляется «белым пятном» (с. 150).

Не пытаясь охватить все аспекты темы «Леонтьев и славянофилы», О.Л. Фетисенко подробно анализирует его взаимоотношения и расхождения с И.С. Аксаковым и Н.П. Гиляровым-Платоновым. При этом автор убедительно доказывает, что именно верность Леонтьева восточнохристианской ортодоксии (византизму) претила либерально-националистическим устремлениям поздних славянофилов: для Аксакова и Гилярова-Платонова он оказался «слишком православен».

Четвёртая глава второй части монографии рассказывает об одном из немногих единомышленников Леонтьева – Т.И. Филиппове. Прежде всего их сближала солидарность в поддержке канонических прав константинопольского патриархата против притязаний национально-либерального болгарского духовенства[4]. Примечательно, что разногласия между ними по-настоящему проявлялись лишь в оценке ортодоксальности Достоевского.

Идейное противостояние К.Н. Леонтьева и Ф.М. Достоевского неизменно привлекает внимание исследователей их творчества. Достоевский – хилиаст и христианский гуманист, склонный к сентиментализму и утопичности, противопоставляется Леонтьеву, олицетворяющему дух византийского аскетизма и ортодоксального «мракобесия», что вполне укладывается в любимый «околоправославной» интеллигенцией стереотип о двух православиях – преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, старца Зосимы и отца Ферапонта из «Братьев Карамазовых». Леонтьев же пытался доказать, что никакого особого, гуманного православия Зосимы, противостоящего изуверству Ферапонта, нет. Что это всё на самом деле есть попытки выработать некое полупротестантское либеральное неоправославие, в то время как есть только одно православие – вера византийских отцов. Не удивительно, что Леонтьев своей брошюрой «Новые христиане» некогда буквально взорвал благостность сентиментального интеллигентского православия. Приведённые же в книге О.Л. Фетисенко новые материалы (в частности, маргиналии и подчёркивания в леонтьевском экземпляре «Душеполезных поучений» аввы Дорофея) позволяют лучше понять позицию Леонтьева. По его мнению, Достоевский действительно открыл современникам православие, но в собственной «облегчённой», гуманистически упрощённой интерпретации. При этом Леонтьев допускал, что христианство Достоевского может быть полезно в апологетических целях, как первый шаг, в отличие от христианства Толстого, которого он считал опасным еретиком. Освещая в шестой главе тему «Леонтьев и Толстой» (не менее интересную и важную, чем тема «Леонтьев и Достоевский»), автор монографии указывает, что в Леонтьеве совмещалось восхищение литературным гением писателя и полное неприятие его религиозно-философских взглядов.

В седьмой главе читатель находит галерею портретов консервативных политиков: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, кн. В.П. Мещерский. Примечательно, что при всей идейной близости Леонтьев испытывал неприязнь и к Каткову, и к Победоносцеву. Те тоже не питали к Константину Николаевичу нежных чувств. Смелость его мыслей пугала всех, и во многом из-за этого Леонтьев, так и не получив достойной трибуны, не был услышан русским

[4] Подробнее см.: Пророки византизма…

обществом именно тогда, когда более всего мог стать ему полезен. Видимо, его консерватизм являлся слишком уж творческим и оригинальным для охранительного лагеря, раздробленного и бессильного перед надвигающейся катастрофой.

Большое внимание в книге уделено литературным связям Леонтьева, из которых наиболее важным представляется знакомство с А. Фетом, который привлекал аристократа Леонтьева и как поэт, и как бывший военный, и как переводчик пессимистичного Шопенгауэра и эстета-романтика Гёте. Конечно, Константин Николаевич не идеализировал Фета и иногда его жёстко критиковал, но в нём ему встретился такой же эстет, как и он сам[5].

Отдельная глава посвящена драматической судьбе Николая Дурново – талантливого публициста и защитника Церкви, ставшего из-за своей принципиальной позиции личным врагом Победоносцева. Его призывы «стоять за права общины, за право избирать священников, за окружные съезды и т.д., если мы действительно желаем поднять православие», и заявления о том, что «священники у нас не более как чиновники в рясе», остро звучат и сейчас (с. 395). Парадоксально, насколько часто в «круге Леонтьева» звучали требования самостоятельности Церкви и критика синодальных порядков. Одна из лучших частей монографии характеризует личность консервативного мыслителя С. Шарапова, фигура которого словно слеплена из литературных образов, что очень тонко передано О.Л. Фетисенко. Особенно он чем-то напоминает Шатова из «Бесов» Достоевского. Видимо, великий русский писатель был не так уж и фантастичен, а его герои – не плод воображения, но симптом общества, в котором апологеты Церкви по 15 лет не переступали её порога, делая громкие заявления: «Кто в Россию не верит, тот и в Бога не верит» (с. 437). Такого рода славянофильство было чуждо Леонтьеву, стоявшему выше «национальной религии». Ещё более ему был чужд панславизм Шарапова, близкого к националистическим кругам.

Заключительная глава второй части монографии рассказывает о собеседниках и корреспондентах последних лет жизни К.Н. Леонтьева – Л.А. Тихомирове, В.В. Розанове, Ю.Н. Говорухе-Отроке. Впрочем, последний из них был для Леонтьева скорее не собеседником, а учеником, иногда, как показывает О.Л. Фетисенко, цитировавшим своего учителя без кавычек. Этот рано умерший консервативный публицист не имел особого успеха у современников, да и сейчас не привлекает к себе большого внимания, хотя его высоко ценили А.А. Фет, Н.Н. Страхов, А.А. Киреев, П.Е. Астафьев, В.В. Розанов.

Но самой неожиданной и драматичной (насколько это понятие может быть приложимо к научной монографии) является третья часть книги, рассказывающая об учениках Леонтьева, о его тайном «иезуитском ордене» «гептастилистов». О.Л. Фетисенко разрушает устоявшееся мнение об одиночестве Леонтьева. Судя по собранным в книге данным, у него были последователи и верные ученики, образовавшие вокруг него своего рода интеллектуальный орден, который должен был содействовать реализации «гептастилистской» мечты. Но отчего же об этом кружке мы узнаём только сейчас? Почему никто из учеников Леонтьева не смог осуществить даже малую толику из того, что намечал их учитель?

---

[5] См. также: Письма К.Н. Леонтьева к А.А. Фету (1883–1891) / Публ. О.Л. Фетисенко // А.А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 1. М.; СПб., 2010. С. 236–290.

О.Л. Фетисенко раскрывает трагедию поколения «русских мальчиков» конца XIX – начала XX в., перепутавших рассвет с закатом. Среди них – подававший большие надежды публицист и богослов И. Кристи, сторонник теории «догматического развития», один из любимых учеников Леонтьева, который вполне мог стать продолжателем его дела, заняв достойное место среди религиозных философов «серебряного века», если бы не смерть в 1894 г. от прогрессирующей болезни, которая уничтожила его интеллект. Не менее трагично сложилась и судьба А. Александрова, одного из самых близких к Леонтьеву людей. Добрый и великодушный, он не отличался глубоким умом и эстетическим вкусом и странно смотрелся в «леонтьевском кругу», хотя был лично привязан к Леонтьеву больше всех. Яркие портреты самого Александрова, его жены Евдокии Тарасовны, описание страшной и медленной смерти Анатолия Александровича от тяжёлого инсульта, растянувшейся на полтора года, позволяют понять всю сложность испытаний, выпавших на долю этого человека на его пути от русского лицеиста до советского мещанина.

Не забывает О.Л. Фетисенко и о тех учениках Леонтьева, которые не оставили значительного следа в русской культуре. «Все почти близкие ко мне прежде юноши отвыкли от меня и оставили меня, – писал Леонтьев о. Иосифу Фуделю, – Денисов, Уманов, Замараев, Волжин, Озеров, братья Нелидовы и т.д. Остаются верными только: Кристи, Александр[ов] и Вы» (с. 578). Тем не менее истории «неудавшихся» учеников отнюдь не лишены интереса для изучающих творчество Леонтьева. В общении с ними он выступал как проповедник и миссионер, стремившийся к тому, чтобы эти «совершенно светские молодые люди» пришли к Церкви. Леонтьев был уверен, что будущее России как раз за людьми светской культуры и воспитания, решившими посвятить себя служению православию. В синодальное духовенство Леонтьев не верил. Однако его надежды оправдал только о. Иосиф Фудель, которому посвящена в монографии отдельная глава. Леонтьев вообще очень любил «православных немцев». Его ближайшим другом был оптинский иеромонах Климент (Зедергольм), блестящую биографию которого Константин Николаевич написал по благословению оптинских старцев. Утешением же последних лет его жизни стал о. Иосиф[6], оказавшийся самым благодарным учеником: именно он подготовил и выпустил в свет первое собрание сочинений Леонтьева (издание не удалось довести до конца в связи с началом мировой войны). О. Иосиф не стал выдающимся мыслителем и публицистом, но оставался живым носителем «леонтьевского, не-розового» православия, верным памяти своего учителя. В последних главах исследования очерчен круг общения Леонтьева в Оптиной пустыни и Троице-Сергиевой лавре, где он провёл два последних месяца своей жизни.

В целом монография О.Л. Фетисенко интересна тем, что в ней не только реконструированы идеалы и замыслы Леонтьева, но и показана сложность их восприятия даже в самом близком кругу его собеседников и учеников. Вместе с тем потенциал «леонтьевской традиции» до сих пор не исчерпан, хотя бы в силу того, что огромное наследие К.Н. Леонтьева пока до конца ещё не изучено, и О.Л. Фетисенко многое делает на данном пути, указывая возможные векторы дальнейших исследований леонтьевского космоса.

---

[6] Подробнее об их взаимоотношениях см.: «Преемство от отцов»...

Одолеть почти 800 большеформатных страниц монографии О.Л. Фетисенко – дело не простое[7]. К тому же, для того, чтобы прочитать и осмыслить их, нужно время, которое отбирает у людей науки добывание средств к существованию[8]. В текст книги втягиваешься постепенно. Первая часть захватывает описанием архивных находок, сделанных автором в ходе подготовки продолжающегося издания полного собрания сочинений и писем К.Н. Леонтьева. Вторая и третья части увлекают сложными судьбами людей, которые в той или иной степени в разные периоды своей жизни были связаны с Леонтьевым. Живо и талантливо представлены в книге портреты его современников и собеседников. И тех, кто выйдя на широкую жизненную дорогу, причислял себя к его ученикам, и тех, кто «изжив» с годами леонтьевское влияние, всё равно продолжал дискутировать с ним в своих работах. Рискну предположить, что вторая и третья части более интересны для только приступающего «к Леонтьеву» читателя, чем тщательные сравнения разночтений, сделанные в первой главе (хотя и у него вызовут интерес рисунки с изображением «реального крокодила современности», «гипотетического дракона» и «реального и современного аллигатора»)[9]. А для текстологов и архивистов ценна будет и первая глава монографии[10]. Рукописные тексты Леонтьева отличаются специфическим, довольно неразборчивым почерком, и чтобы это понять и оценить труд публикатора, не обязательно даже идти в архивы – достаточно посмотреть воспроизведённые в книге фрагменты некоторых записей. Расшифровка и комментирование рукописей мыслителя – большая и сложная работа[11], которой автор книги занимается уже много лет.

Увлечённость Фетисенко Леонтьевым, его судьбой и мировоззрением несомненна. Об этом свидетельствует и её сравнение собственной работы с раскопками «недостроенного здания, возможно, даже храма» (с. 5), и сетования на тех, кто слишком акцентирует внимание на «эстетизме и эротизме» биографии и текстов Константина Николаевича (с. 16), и определение помощи в работе над темой как «промыслительно-своевременной» (с. 17), а

---

[7] Первые отклики см.: *Бессчетнова Е.В.* Рецензия: Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики... // Вопросы философии. 2013. № 2; *Титов В.* Крыло дракона // Литературная газета. 2013. № 15; *Котов А.Э.* Эстетический академизм (URL.: gefter.ru/archive/4815).

[8] Зато они в полной мере смогут оценить постоянные сетования Леонтьева на безденежье, эпизод с продажей шубы (с. 569, 657) и т.п.

[9] Иллюстративный ряд книги заслуживает особого упоминания и высокой оценки. Помимо фотографий, он включает копии писем, рисунков, титульных листов с дарственными надписями, страниц рукописей, визитных карточек и т.д.

[10] Монография О.Л. Фетисенко, как и её многочисленные архивные публикации, несёт на себе отпечаток работы профессионального филолога. Историк, философ или социолог, вероятно, несколько иначе написали бы книгу по данной теме и на данном материале, что, разумеется, ни в какой мере не уменьшает достоинств авторского подхода.

[11] В полной мере это относится и к рукописям Л.А. Тихомирова. Упоминаю об этом в связи с повторенным О.Л. Фетисенко замечанием о неверном прочтении фамилии офтальмолога С.С. Головина (с. 642). Уточнение Фетисенко ранее опубликованного ею совместно с С.М. Сергеевым текста письма Л.А. Тихомирова к К.Н. Леонтьеву (с. 371) ещё раз подтверждает неизбежность ошибок в расшифровке при работе с большим массивом рукописей. Как, впрочем, и опечаток-ошибок в монографиях (к примеру, в указателе имён на фамилию А.В. Репников (с. 770) выпала сноска на с. 456).

архивной находки, как «чуда» (с. 17)[12]. Те, кто много лет самозабвенно занимается исследованиями в какой-либо области, всегда может поведать про чудесные находки документов в архивах, дружескую помощь коллег и острые дискуссии со специалистами, работающими в том же направлении. Да и кто ещё в наше время, кроме увлечённых людей, возьмётся за столь трудоёмкое и малооплачиваемое дело, как подготовка полного собрания сочинений русского консервативного мыслителя! Хотя, как отмечается в первом же абзаце монографии, в России «новой государственной идеологией стала "консервативная модернизация"» (с. 5), какой-либо поддержки властными структурами соответствующих не политических, а научных проектов не наблюдается. Конференции, посвящённые К.Н. Леонтьеву, Н.Я. Данилевскому, В.В. Розанову и прочим «пламенным консерваторам», носят весьма скромный характер, а их устроители не всегда даже могут оплатить проезд приглашённым и издать материалы достойным тиражом. Впрочем и тираж томов полного собрания сочинений Леонтьева насчитывал сперва 3 тыс.[13], затем – 2 тыс.[14], потом – 1 500 экземпляров[15], а в дальнейшем и вовсе перестал указываться[16]. Между тем эти тома пользуются спросом, а некоторые из них уже стали библиографической редкостью. Вызвала научный резонанс и подготовленная О.Л. Фетисенко к изданию переписка Леонтьева и Т.И. Филиппова, вышедшая тиражом лишь 800 экземпляров[17].

Но не будем предаваться унынию из-за маленьких тиражей и больших цен! Константин Николаевич прочно занял место в энциклопедиях и учебниках; анализу его взглядов посвящены диссертации, монографии и конференции, а в Оптиной пустыни (с. 727) и Стамбуле установлены памятные доски. А ведь ещё в 1999 г. отягощённый учёной степенью автор всерьёз утверждал, что Леонтьев не является философом, поскольку «Энциклопедический философский словарь» 1983 г. «поминает» его только как «русского писателя, публициста и литкритика». При этом доказывалось, что его необоснованное причисление к философам служит попыткам реакции «затмить» всё прогрессивное в истории общественной мысли чем-нибудь второстепенным или второсортным[18]. Что же, вырубив большой лес, можно говорить о «величии» кустов. Изъяв из обращения огромный пласт русской консервативной мысли, куда входит и наследие Леонтьева, можно говорить о значимости второстепенных, но революционно настроенных критиков. Когда работы Леонтьева стали возвращаться к читателю (в том числе и при участии О.Л. Фетисенко), возникло иное искушение – увидеть в его прогнозах пророчества о XX и даже XXI в. и сотворить себе кумира. Профессионализм и научная взвешенность помогли автору монографии избежать всевозможных «ловушек», хотя эмоциональность порой прорывается

---

[12] В книге действительно много находок. Это, например, очищенная от наслоившихся ошибок и мифов история семьи матери Леонтьева (с. 13–14), свидетельство о знакомстве Леонтьева с сочинениями Ф. Ницше (с. 686), множество интереснейших архивных документов, впервые введённых О.Л. Фетисенко в научный оборот, и, наконец, обильные цитаты из публикаций современной Леонтьеву периодической печати.

[13] *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений и писем… Т. 1. СПб., 2000.

[14] Там же. Т. 2. СПб., 2000.

[15] Там же. Т. 6. Кн. 2. СПб., 2006.

[16] Там же. Т. 7. Кн. 1. СПб., 2005.

[17] Пророки Византизма... См. рецензии на эту книгу: *Репников А.В.* Одиночество консерваторов / Культура. 2012. № 19; *Котов А.Э.* Пророки византизма…

[18] *Еремин А.М.* Леонтьев – никакой не философ // Экономическая газета. 1999. № 47.

в оценке трудов предшественников (С.В. Хатунцева, К.А. Жукова, Р.А. Гоголева, М.А. Тюренкова[19], Ю. Булычёва, К.М. Долгова[20], С.Г. Бочарова, О.Г. Панаэтова и др.), или же в острой полемике с ними, не мешающей, впрочем, общей объективистской направленности труда.

Реконструкция «гептастилизма» Леонтьева не так проста, ведь самая известная его работа «Византизм и славянство» была написана в самом начале пути, а обобщающего труда о «семи столпах» Леонтьев так и не создал. В текстах его работ и писем, в воспоминаниях о беседах с ним автору приходится выделять отдельные элементы интеллектуальной мозаики, чтобы сложить из них целую картину. Отметив, что «у Леонтьева не было серьёзной научной подготовки в области истории и философии, но были интуиция художника и отличная память» (с. 45), исследовательница выделяет семь «столпов»: религиозные, политические, юридические, философские, бытовые, художественные и экономические идеи, которые сводятся к принципам «теократии, сословности, монархизма, аристократизма и порабощения» (с. 85–89).

Константин Николаевич ни в статьях, ни в личных письмах «толерантным» не был. Он писал то, что думал, отличался категоричностью оценок. С одной стороны, это вызывало интерес (восторг, возмущение[21], ужас), с другой – не давало ему возможности найти постоянный печатный орган для выражения своего мнения. Характерна история его сотрудничества с газетой «Варшавский дневник», в которой Леонтьев опубликовал интереснейшие по содержанию, хотя и небольшие по объёму статьи. К.П. Победоносцев, проявлявший интерес к публикациям Леонтьева в «Варшавском дневнике», одобрительно писал о них наследнику цесаревичу вел. кн. Александру Александровичу. В ответной записке будущий император отметил, что с удовольствием прочёл рекомендованную ему статью с критикой суда присяжных. Леонтьев знал, что его читают в высших сферах, но «Варшавскому дневнику» это не помогало[22]. На словах высокопоставленные консерваторы восхищались направлением газеты, а на деле денег не давали, что вызывало у Леонтьева раздражение против петербургских единомышленников. По свидетельству современников, он очень тяжело пере-

---

[19] Вопреки утверждению автора монографии (с. 29) статья М.А. Тюренкова «Леонтьев и постманежная Россия» появилась на сайте «Русский журнал» не в 2010, а 26 января 2011 г., что было обозначено и во вступлении: «От редакции. 25 января 2011 года исполняется 180 лет со дня рождения русского философа Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891). Своими соображениями о значимости философа для сегодняшнего дня с “Русским журналом” поделился Михаил Тюренков» (URL.: http://www.russ.ru/pole/Leont-ev-i-postmanezhnaya-Rossiya).

[20] О.Л. Фетисенко отмечает, что книга К.М. Долгова о Леонтьеве содержит «целый ряд грубых ошибок» (с. 12). Второе её издание, действительно, было справедливо подвергнуто критике (*Козырев А.* Непокорённый Леонтьев. Рецензия: *Долгов К.М.* Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. М., 1997 // Философская газета. 2001. № 2. С. 15). Однако затем вышло третье переработанное и дополненное издание (*Долгов К.М.* Восхождение на Афон: жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. М., 2008), поэтому следовало бы подкрепить критические замечания конкретными примерами.

[21] Леонтьев сам охотно поддерживал репутацию опасного «парадоксалиста» (с. 173). В этом, как и в шуточной нумерологии, проявлялось присущее ему своеобразное чувство юмора (с. 182). Замечательные примеры иронии и сарказма неоднократно встречаются и в его переписке (*Леонтьев К.Н.* Избранные письма / Публ.: Д. Соловьёв. СПб., 1993. С. 57–58, 296).

[22] *Котов А.Э.* «Варшавский дневник» в конце 1870-х – 1880-е гг. // Российская история. 2013. № 1. С. 77–90.

живал эту неудачу. Характерны и сетования Леонтьева на М.Н. Каткова, причём не только из-за проблем с публикациями, но также из-за денежных расчётов. Вообще же проблема долгов для Леонтьева была не самой последней, и тут ему неоднократно помогал Т.И. Филиппов (который, по собственному признанию, смог «спасти его от нищеты»)[23].

Большую часть монографии занимает анализ общения Леонтьева с его «собеседниками и совопросниками». Это очень разные люди. Тут и такие представители «старой гвардии» 1840–1860-х гг., как И.С. Аксаков, чьи сложные отношения с Леонтьевым превосходно описаны в отдельной главе (с. 154–185), и классики мировой литературы Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, каждый из которых, как это ни обидно признать поклонникам Константина Николаевича, несравнимо выше его по своему уровню, а также М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, кн. В.П. Мещерский, Б.М. Маркевич, А.А. Фет, П.Е. Астафьев, В.С. Соловьёв, Н.Н. Дурново (информацию о нём автор собирал по крупицам), В.В. Крестовский и многие другие. Переписка и личные контакты Леонтьева с друзьями, единомышленниками и оппонентами интересны ещё и тем, что в них, как правило, затрагивались значимые для него общественно-политические вопросы: судьба славянства и России, христианство и социализм, творчество Вл. Соловьева и Ф.М. Достоевского[24]. Он словно проверял на прочность и оттачивал идеи «гептастилизма», вновь и вновь повторяя их уже перед новыми, иногда годящимися ему в сыновья, собеседниками[25].

Особое внимание Фетисенко уделяет молодым ученикам Леонтьева[26]. Он явно испытывал потребность в продолжателях своего дела и не без гордости писал М.В. Леонтьевой: «Правду ты говоришь, что бы я мог сделать из молодёжи, если бы она меня окружала!» (с. 472). Чувствуя в себе педагогиче-

---

[23] Интересен, в частности, эпизод с отсылкой Леонтьевым Победоносцеву своей книги, посвящённой Филиппову, что могло вызвать недовольство обер-прокурора (с. 319–320). Этот случай ещё раз показывает, что при всём реальном и приписываемом ему высокомерии (книга историка Д.М. Володихина о Леонтьеве, вышедшая в 2000 г., даже называется «Высокомерный странник»), Константин Николаевич всегда высоко ценил дружбу и человеческое участие, и не собирался жертвовать ими во имя карьерных, материальных и прочих выгод. Леонтьеву, помимо высокомерия, приписывали что угодно, от «Алкивиадства», о чём автор монографии вскользь упоминает (с. 462, 467, 483 и др.), до сатанизма, «обнаруженного» в Леонтьеве Д.С. Мережковским («Л[еонтьев] – вот настоящий сатанист... В сущности вся его эстетика – сатанизм, садизм» (с. 462)). Но вот карьеризма, предательства, расчётливости и цинизма в его поступках не видели (да и не могли увидеть) даже самые завзятые недоброжелатели и пристрастные критики.

[24] Фетисенко верно определила спор Леонтьева с Достоевским как «нескончаемый». Примирить их было невозможно: Достоевский писал о «нечестивых» идеях Леонтьева, а последний не обходился без упоминания «глупого бреда в речи о Пушкине» (с. 261). Характерно, что с великими современниками Леонтьева развели не литературно-эстетические, а религиозные вопросы. В сущности, практически все они – писатели, философы, публицисты – были в вопросах веры *ищущими*, и книга Фетисенко показывает эти поиски. Блуждает «около церковных стен» В.В. Розанов, ищет свой путь Вл. Соловьёв, борется со страстями С.Ф. Шарапов. Все они – от великого Ф.М. Достоевского до раскаявшегося народовольца Л.А. Тихомирова тянутся к вере, спорят о ней, но только Леонтьев дойдёт в своём пути до логического конца, приняв монашеский постриг (с. 724). И это при том, что сам Леонтьев, любя Священное Писание и святых отцов, просил Филиппова не быть строгим к его цитатам из них, ибо «едва ли я хоть одну помню с полной точностью» (с. 273).

[25] «Всякий великий человек пишет и действует ради утверждения двух–трёх идей», не без основания утверждал французский писатель Анри де Монтерлан.

[26] При этом упоминается и о наличии у него ряда «учениц», хотя «от всех поименованных девиц и дам для леонтьевской проповеди мало вышло проку» (с. 483).

скую (проповедническую?[27]) склонность (с. 475, 481), Леонтьев бескорыстно тянулся к тем, кого мог бы зачислить в так и не созданный им «иезуитский орден». Он переписывался и встречался с Л.А. Тихомировым, обменивался письмами с В.В. Розановым, хлопотал, представляя Филиппову в письмах А.А. Александрова и Г.И. Замараева, которого рекомендовал на службу. Ему хотелось, чтобы ученики пошли дальше учителя, мечталось, как бы Ю.С. Карцов (о нём в книге, к сожалению, нет отдельной главы) «мог... расстрелять суммарно картечью 6 000 прогрессистов каких-нибудь во славу Божию и всё с тем томным и не смеющимся никогда взглядом тёмных очей, который нам так известен». Леонтьев при любой возможности «старался внушить *юноше* свои понятия о религии, морали, культуре, красоте, призвании России, хамстве и разложении Западной Европы, ненадёжности славян, необходимости дисциплины и крутого режима во внутренней политике, близости конца мира и т.д. … Это был прозелитизм чистейшей воды в благородном смысле слова» (с. 478). Не случайно в глазах Александрова Константин Николаевич был «чародей», «колдун», «старый могучий орёл».

Доходило и до бесед о самом личном. Например, Тихомиров, не раз слушавший его воспоминания, считал, что там, где Леонтьева «соблазняло эстетическое сластёнство, у него были поступки прямо безобразные, вроде истории с Фенечкой, о которой он многим рассказывал»: «Леонтьев по специальности был врачом... В одном глухом угле хозяин, где он проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Фенечка, жена больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму доктору. Но, на беду, у него зашевелилась эстетическая чувствительность, и он стал соблазнять Фенечку: “Эх, Фенечка, Вы мне всё предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно” (то есть её саму). Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему... Потом она, однако, привязалась к соблазнителю, да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу, начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Фенечка умоляла взять её с собой. Но Константин Николаевич начисто отказался и прямо сказал, что он вовсе не намеревался себя навсегда связывать... Я, конечно, не мог не высказать Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшие требования порядочности. Он с этим ничуть не согласился. “Ведь я тогда не верил в Бога, – возразил он. – Конечно, если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно. Почему я должен был лишить себя удовольствия? Да ведь и Фенечке было приятно, а муж ничего не знал”. Таким образом, по его рассуждению, только Бог может устанавливать нравственный закон... Если же Бога нет – можно делать что угодно... И грехов он совершал очень достаточно. Я не допытывался о них, и даже неприятно было слышать его признания, в которых он доходил до циничности, замечая иногда: “Бывало и похуже”. Но он сам говорил об этом, как будто испытывая потребность исповеди и самообличения»[28]. Темперамент и жизненный опыт у Тихомирова был иной, чем у Леон-

---

[27] «После Афона, – по словам Фетисенко, – жизнь Леонтьева – это постоянная “проповедь”, и устная... и письменная – в статьях, очерках и романах» (с. 481). Он жаждал разговоров «до положения риз» (с. 489), хотел передать свои мысли, надежды, сомнения, «заразить» ими людей окружающих.

[28] *Тихомиров Л.А.* Тени прошлого. М., 2000. С. 635–636. Подробнее о взаимоотношениях Леонтьева и Тихомирова см.: *Репников А.В., Милевский О.А.* Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011. С. 237–250.

тьева, и ему было явно неудобно слушать рассказы Константина Николаевича о романтических приключениях в молодые годы.

Леонтьев увлекал. Его слушали... и шли своим путём. Карцов не принял радикального леонтьевского консерватизма. Розанов, обещавший приехать в гости, так и не свиделся с Леонтьевым. Александров, посвящавший Константину Николаевичу восторженные стихи, в итоге оказался слабым публицистом и редактором. Леонтьев давал свои идеи и мысли «на вырост». Кто-то эти идеи воспринимал как догму, кто-то, подобно Тихомирову и Розанову, начинал со временем критично осмыслять наследие, да и саму личность учителя. Так, Тихомиров писал О.А. Новиковой 21 сентября 1891 г.: «У меня идёт переписка с Леонтьевым. Он меня *очень* привлекает. Это личность совсем иная: грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра. Он очень умён. Я бы очень желал, чтобы он прожил ещё десяток лет. Может быть, он сделается очень нужным, необходимым человеком. Я думаю, что *Вам* трудно понять его. У Вас натура *существенно* здоровая, Вам, думаю, сравнительно мало приходится бороться с дурными стремлениями. А он из тех, у которых ангел и чорт вечно сцепившись в отчаянной борьбе. Но у него этот ангел не изгнан, не уступает. Он меня глубоко привлекает двойным чувством уважения и жалости. Сверх того он глубоко *сведущий православный*» (с. 450).

Интересен созданный О.Л. Фетисенко портрет С.Ф. Шарапова, хотя порой автор монографии, увлекаясь, уходит в детальное описание его конфликтов с литературным миром и путанной личной жизни, справедливо признавая, что «мы слишком углубились в семейную историю Шарапова» (с. 420–422). Стать учеником Леонтьева Шарапов не смог. Был излишне самонадеян и одновременно неуверен в себе. К тому же после смерти И.С. Аксакова, находясь в «пророчественном» состоянии духа (с. 411), Шарапов всерьёз поверил, что стал чуть ли не единственным наследником великого славянофила. Чего стоит одна только аллюзия, которая «фактически выводит к сравнению Аксакова со Спасителем, а Шарапова – с апостолом» (с. 411). Но и для Шарапова Леонтьев сыграл положительную роль, вернув его в лоно Церкви и подтолкнув к исповеди и причастию после 15-летнего перерыва (с. 419). Крупным публицистом и писателем Шарапов так и не стал. Его издания закрывались, а современники зло подшучивали над ним. Например, В.В. Розанов нарисовал поверх письма Шарапова, в котором тот пытался его урезонить, пять ползущих клопов, охарактеризовав его газету «Русский труд», как один из петербургских «клоповников литераторов» (с. 432). После смерти Шарапова надолго забыли и только в последнее десятилетие его работы стали переиздаваться в России[29].

Дальше всех из «молодых» учеников пошел Л.А. Тихомиров, достигший поста редактора «Московских ведомостей», сотрудничавший с П.А. Столыпиным и создавший в 1905 г. фундаментальный труд «Монархическая государственность», в котором есть и небольшая главка о Леонтьеве. Но это был самостоятельный путь Тихомирова!

В.В. Розанов, заочное знакомство с которым Леонтьев поставил наравне с собственным постригом, ушёл в религиозные искания. Нельзя сомневаться в том, что Розанов действительно искренне уважал Леонтьева, однако впечат-

---

[29] Отмечу, что выпущенное в 2010 г. в издательстве РОССПЭН издание избранных работ С.Ф. Шарапова, в отличие от используемого в монографии (с. 436 и далее) издания 2005 г., не содержит искажений текстов и исключённых (возможно, по идеологическим мотивам) глав.

ление о нём как о человеке он мог составить только по работам самого мыслителя, относительно недолгой переписке с ним и отзывам (далеко не всегда беспристрастным, как верно показывает Фетисенко) общих друзей и знакомых. Восхищаясь леонтьевским язычеством, размышляя об особенностях его личной жизни, оценивая его религиозный опыт, Розанов, как и многие люди Серебряного века[30], сознательно или неосознанно стремился привлечь Леонтьева себе в союзники. При этом для Розанова сложившийся в его представлении, во многом мифологизированный, образ Леонтьева был дороже и важнее реального Константина Николаевича. Когда началась их переписка, Розанов, будучи учителем, хлопотал о своём выезде из Ельца. Леонтьев хотел помочь ему перевестись в Москву, что позволило бы им встречаться. Словно предчувствуя скорую смерть, он писал: *«Прошу Вас* верить, до чего *мне, полуживому из эгоизма* дорого было бы свидание с Вами, именно с Вами! Неужели Вы сами постичь сердцем этого не можете?»[31]. Но Розанов не спешил. В более позднем примечании к данному отрывку из письма Леонтьева он признавался: «Конечно, всё очень легко было исполнить, но какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиданном человеке, заставило меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нём. Так мы и не свиделись»[32].

Судьбы А.А. Александрова, Г.И. Замараева, Я.А. Денисова, Н.А. Уманова, И.И. Кристи, Ф.П. Чуфрина, А.Н. Волжина, И.И. Колышко и их общение с Леонтьевым впервые воссозданы столь подробно и тщательно. Но эти поклонники леонтьевского таланта так и не смогли создать что-то оригинальное и фундаментальное! Исключением стал о. Иосиф Фудель, «никогда не бывший леонтьевцем», но много сделавший для сохранения памяти мыслителя. Одна только эпопея с подготовкой и изданием дореволюционного собрания сочинений Константина Николаевича дорого стоит (с. 639–641). Если же говорить о старых соратниках, то до конца с ним оставался, пожалуй, только Т.И. Филиппов. При жизни Константин Николаевич общался с ним свободно, оставив замечательную переписку, где мы видим и самоиронию, и даже радикальные (с точки зрения тогдашнего «общественного мнения») оценки и суждения. Когда Леонтьева не стало, Филиппов оказался одним из немногих, проявивших участие в судьбе его вдовы, страдавшей душевной болезнью, и племянницы. Если бы не его хлопоты, их существование ничем не было бы обеспечено, поскольку после смерти Леонтьева «на лицо оказалось менее 50 рублей» (с. 723).

Завершая анализ, сделаю вывод, что книга О.Л. Фетисенко заслуживает высокой оценки и послужит основой для работ других исследователей, обращающихся к истории русской консервативной мысли второй половины XIX – первой четверти XX в.[33]

---

[30] Подробнее см.: *Ковешникова Н.А.* Идеи К. Леонтьева в культуре серебряного века. Дис. ... канд. культурологии. М., 2000.

[31] Письма К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову // *Корольков А.А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1990. С. 183–184.

[32] Там же. Подробнее см.: *Репников А.В.* К истории взаимоотношений В.В. Розанова и К.Н. Леонтьева // Незавершённая энтелехийность: отец Павел Флоренский, Василий Розанов в современной рефлексии: Сборник статей. Кострома, 2003. С. 249–258.

[33] Некоторые из направлений для дальнейших исследований намечены самим автором в главе «О том, чего нет в этом разделе» (с. 143–153).

Книга О.Л. Фетисенко возвращает своего читателя сразу к двум периодам большого стиля: ко времени создания масштабных социальных утопий и к той сравнительно недавно ушедшей эпохе, когда интеллигентная публика с восторгом зачитывалась тысячестраничными исследованиями по истории русской мысли. Увесистый «кирпич» монографии сразу наводит на архитектурные ассоциации, и последние тут же подтверждаются автором: «Книга рассказывает об историко-литературных раскопках одного здания, возможно, даже храма» (с. 5). На первых же страницах «Предуведомления» обозначено присутствие в леонтьевском наследии архетипа «дома» и раскрывается смысл нового, крайне важного для русской интеллектуальной истории, термина «гептастилизм» – «семистолпной» основы леонтьевской историософской концепции.

Одного этого термина достаточно, чтобы понять: перед нами прорыв как в леонтьевоведении, так и в изучении всей истории русского консерватизма. Созданный К.Н. Леонтьевым комплекс идей принято называть «византизмом», однако попытка использовать опыт «сухого» и мрачного византийского империализма (не имевшего ничего общего с реальной ромейской цивилизацией) для спасения России от «собачьей старости эгалитарного прогресса» – лишь один из элементов проекта, создававшегося «русским Ницше». «Византиец» Леонтьев неоднократно демонстрировал как свою чуждость византийской политической культуре, так и, наоборот, свою близость «цветущей сложности» католической Европы: «Отношение сердца к католицизму – есть прекрасное мерило для распознания в человеке русском рода его веры. Настоящее лично-религиозное чувство предпочтёт папу даже и весьма национальному нашему староверчеству уже потому, что оно не имеет правильного, исходящего непрерывно от апостолов священства» (с. 124–125). Чужда византийскому «индивидуализму без свободы»[34] и солнечно-аристократическая непринуждённость (désinvolture)[35], к которой в своём быту стремился Константин Николаевич, всегда жалевший, что он «вовсе (увы!) не мрачен на деле»[36], но видевший при этом в хандре «что-то вроде севрюги, по крайней мере, по неизяществу звука»[37].

Своего рода «горгульями», украшающими семистолпное «здание» леонтьевской концепции, оказываются и те его идеологемы, на которые обычно обращают внимание адепты и оппоненты политического консерватизма – антилиберализм, антидемократизм, неприятие национализма (вернее, национал-демократии). Леонтьев – враг либерализма, но лишь потому, что «теперь либералами заборы подпирают»[38]. В те времена, когда либерализм вёл «к цвету, к творчеству, к росту»[39], Константин Николаевич принял бы его с радостью. То же с демократией. Ещё В. Соловьёв (сам бывший, как известно, объектом любви-ненависти оптинского отшельника) отмечал, что «была... толпа, которую Леонтьев любил по-своему и признавал простой народ, поскольку он

---

[34] *Каждан А.П.* Византийская культура (X–XII вв.). СПб., 2006. С. 14.

[35] *Юнгер Э.* Сердце искателя приключений. М., 2004. С. 127–132.

[36] *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Кн. 1. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 338.

[37] Письма К.Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 г. СПб., 1911. С. 18.

[38] *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений и писем... Т. 7. Кн. 2. СПб., 2006. С. 120.

[39] *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 102.

сохраняет свою бытовую обособленность»[40]. Таким образом, почти никем не услышанные в своё время призывы «подморозить Россию» не были несущей конструкцией леонтьевской системы. К таковым конструкциям скорее следует отнести историческую интуицию, эстетический гуманизм («эстетика жизни, а не искусства»)[41], многогранность и своеобразное обаяние леонтьевской личности со всеми её «позывами к ultra-биологическому, к жизненно-*напряжённому*»[42].

О.Л. Фетисенко завершает свою работу констатацией: «По-прежнему "оптинский отшельник" для одних служит предметом поклонения, которому усердно кадят, "чтобы других задеть кадилом", для других – карманным цитатником, для третьих – пугалом ("махровый реакционер"), для иных – острой приправой ("Алкивиад", "Сулейман в куколе"), ещё для иных – "вечным спутником" и мудрым собеседником» (с. 748). Очевидно, доля истины есть в каждой трактовке и, как нам представляется, читатель вправе самостоятельно решить, чей Леонтьев ему ближе – «бердяевский», «розановский» или «тихомировский». Монография не столько разрушает эти образы, сколько помогает осознать ограниченность любого из них и необходимость того, что Э. Юнгер называл стереоскопическим восприятием. Колоритный леонтьевский текст – идеальное воплощение юнгеровской «истинной стереоскопии внутреннего контраста», а некоторая доморощенность и грубоватость леонтьевской мысли только придают ей привлекательности: «Когда строят руками, всегда образуются стереоскопические уголки, приглашающие фантазию вить свои гнёзда. Что может лучше подтвердить это, чем старинный дом, где хочется поселиться, едва его увидишь, и где под фронтонами излюбленные места для гнёзд, свиваемых скрытными красноножками»[43].

Собственно, и сама монография представляет собой пример подобной ручной работы с той лишь разницей, что, заявив о своём нежелании «строить мостики в современность» (с. 6), О.Л. Фетисенко заранее избавила труд от посягательств идеологических «красноножек», считающих Леонтьева предтечей сталинизма. Фундаментом работы являются подготовленные Ольгой Леонидовной масштабные публикации источников: академическое полное собрание сочинений К.Н. Леонтьева и два примыкающих к нему эпистолярных комплекса: переписка публициста с Т.И. Филипповым[44] и И. Фуделем[45]. Наконец, сам «корпус» исследования состоит из трёх частей-«нефов», посвящённых, соответственно воссозданию концепции «гептастилизма», леонтьевским «собеседникам» и ученикам.

Историософская концепция К.Н. Леонтьева представляет собой «целую свою собственную систему отвлечённых идей религиозных, политических, философских, бытовых, художественных и экономических», к которым рано или поздно придёт, по его мнению, «Славянство» (с. 84). В основе его религиозных представлений лежит революционная для петербургской России идея сильной и независимой Церкви, а также «оптимистический пессимизм мировоззрения», построенный на личной, а не «народной» вере. В политике Константин Николаевич стремится сочетать традиционные русские «инь и янь»: «Побольше

---

[40] К.Н. Леонтьев: pro et contra. Т. 1. СПб., 1995. С. 21.
[41] *Леонтьев К.Н.* Избранные письма. СПб., 1993. С. 447–449.
[42] *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Кн. 1. С. 323.
[43] *Юнгер Э.* Рискующее сердце. СПб., 2010. С. 162–163.
[44] Пророки византизма…
[45] «Преемство от отцов»…

местного самоуправления с мужицким оттенком в уездах и побольше отеческого самоуправства в высших сферах власти». В области юридической мыслитель предсказывает, что «не будет позволено *жить где и как угодно*». Зато в сфере философской он видит задачу будущего общества в том, чтобы «уничтожить... излишнее обоготворение науки». Прогрессизму XIX в. он противопоставляет науку «суровую, печальную», которая станет служанкой религии. На первый взгляд, это противоречило будущему переходу от сохи к атомной бомбе, но если вдуматься – что может быть печальнее научного атеизма? Наконец, в бытовой и художественной сферах Леонтьеву необходимы были «эстетика жизни» и «хороший реализм». Экономика явно не относилась к числу леонтьевских приоритетов, некоторые элементы социализма сочетались в его замыслах с идеей неотчуждаемости частной собственности (с. 87–89).

Впрочем, для знатоков творчества Леонтьева во всём этом нет ничего нового. Важнее здесь само отношение мыслителя к своим «пророчествам». Оно проясняется из впервые публикуемых в «Приложении» к первой части книги уникальных леонтьевских рукописей. Самое яркое в них – запоминающаяся аллегория: как воображаемые древними драконы отличались от настоящих «летающих крокодилов», которых изучает современная палеонтология, так и леонтьевский «гептастилизм» будет отличаться от «реального крокодила» русского XX в.: *«Нет ничего в уме человеческом, чего бы не было прежде или не будет после в природе вещей.* – Таково, я думал, и моё новое учение *Эптастилизма*... Оно не бред фантазии, не мечта совершенно несбыточная, а нечто действительно возможное и даже более, нечто *неизбежно предстоящее* человечеству ли вообще, Славянству ли в особенности... Ошибки с моей стороны неотвратимы, но они, я полагаю, не могут быть много грубее ошибки древних греков, придавших какому-то крокодилу крыло летучей мыши; *а всё-таки были и есть страшные крокодилы и летающие ящерицы.* Будет и по-моему, хотя и не совсем так, как я воображал» (с. 127).

С такой точки зрения интересно вовсе не то, что в леонтьевских пророчествах сбылось. Наоборот, беглый взгляд на итоги XX в. показывает, что именно социализм, на который возлагал свои последние надежды мыслитель, привёл Россию к окончательному «вторичному всесмесительному упрощению», следовательно, всё было не только «не совсем так», а «совем не так», как «воображал» Константин Николаевич. Впрочем, «Речь над могилой Пазухина», как и многие другие леонтьевские тексты, свидетельствует, что и сам создатель утопии «гептастилизма» не был чужд эсхатологических настроений: «Китайцы назначены завоевать Россию, когда *смешение* наше (с европейцами и т.п.) дойдёт до высшей своей точки. И туда и дорога *такой* России»[46]. Это придаёт концепции Леонтьева сродство ещё с одним юнгеровским образом – «покинутым постом» – и ставит мыслителя «в положение игрока в шахматы, готовящегося к долгому, изощрённому эндшпилю, хотя и сознающего неизбежность своего поражения»[47].

С другой стороны, справедливо ли видеть в Леонтьеве «одинокого воина», защищающего покинутый «аристократической оппозицией»[48] последний рубеж? «Стереоскопическое восприятие» леонтьевского наследия невозможно

---

[46] *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Кн. 1. С. 364.

[47] *Юнгер Э.* Сердце искателя приключений. С. 132.

[48] *Христофоров И.А.* «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М., 2012.

без знания того интеллектуального контекста, в котором пульсировала мысль русского «scriptor elegantissimus»[49]. Вторая часть книги освещает взаимоотношения Константина Николаевича с идеологами того времени. О его спорах с В. Соловьёвым и И. Аксаковым известно давно. Отношениям с С. Шараповым и Т. Филипповым были посвящены прежние публикации О.Л. Фетисенко, но и здесь автор говорит немало нового, например, соотнося публицистику С.Ф. Шарапова скорее с французской, чем с русской журналистикой. Наконец, даже образованному читателю совершенно неизвестен редактор газеты «Восток» Н.Н. Дурново. Колоссальный интерес представляет характеристика учеников Леонтьева (о которых в своё время столь презрительно отзывался Розанов[50]), устанавливающая «связь времён» с XX в. Правда, некоторых «кирпичиков» здесь явно не хватает: очень мало сказано о Ю.С. Карцове и К.А. Губастове, о полемике Леонтьева с А.А. Киреевым, блестяще преодолевшим возведённый Константином Николаевичем водораздел между аристократическим консерватизмом и национализмом. Однако все эти претензии были бы уместны, если бы мы не знали, что «Гептастилисты» – результат труда лишь одного исследователя. И в этом случае масштаб произведённых автором «раскопок» не может не вызывать восхищения. Фактически перед нами целая энциклопедия, посвящённая неудавшейся попытке русской контрреформации.

Дмитрий Бадалян: Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы

Ещё 25-летний А.Ф. Лосев отметил, что «русская философия неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, которая берёт начало в общем духе времени, со всеми его положительными и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом»[51]. Едва ли не лучшее подтверждение тому – творчество К.Н. Леонтьева, изначально писавшего для газетной и журнальной периодики, зачастую откликавшегося на злобу дня, но, в соответствии со своей идеей «высокой публицистики», стремившегося к синтезу научного и художественного. Не случайно К.П. Победоносцев считал передовые Леонтьева из «Варшавского дневника» лучше блестящих катковских статей.

Личность Леонтьева при всём том немалом интересе, который проявили в последние 15–20 лет к его наследию историки, философы и филологи, всё ещё остаётся связанной со многими мифами и домыслами. Появление тщательно документированного исследования О.Л. Фетисенко позволяет избавиться от многих из них. Впервые реконструируя идеи Леонтьева о «новой восточной культуре», она рассматривает их как глубокое и целостное учение. Кроме того, ею впервые же показаны попытки Леонтьева (отнюдь не во всём удачные) сформировать собственную литературную и философскую школу. Изучение отношений, складывавшихся внутри этой школы, – бесспорная заслуга Фетисенко, сумевшей осветить жизненный путь ряда забытых уже фигур, таких как любимый ученик Константина Николаевича И.И. Кристи или «обращённый нигилист» Ф.П. Чуфрин.

---

[49] *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Кн. 1. С. 368.

[50] Там же. С. 331.

[51] *Лосев А.Ф.* Русская философия // *Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г.* Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 71.

Немалую часть монографии занимает анализ острых коллизий и человеческих отношений, связывавших Леонтьева с Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, В.С. Соловьёвым или мало кому известным издателем газеты «Восток» Н.Н. Дурново (даже год его рождения ещё недавно указывали только приблизительно). Мировоззрение самого Леонтьева и близких к нему деятелей раскрывается в тесной связи с обстоятельствами их жизни и общения. Так, биографические и антропологические ракурсы помогают по-новому увидеть эволюцию и столкновения идей, возникавших в русской мысли на протяжении более полувека.

Работа над этой книгой протекала одновременно с подготовкой уже знакомых историкам и филологам охристо-жёлтых томов академического собрания сочинений К.Н. Леонтьева. Помимо этого, Фетисенко опубликовала ряд рукописей, дневников, обширный комплекс переписки Леонтьева и его современников. Автор «Гептастилистов» – прекрасный текстолог и археограф, и то, что свои выводы она строит на огромном, во многом ею же сформированном источниковедческом фундаменте, придаёт им особую убедительность и прочность.

На первых же страницах, говоря об истоках русского консерватизма, исследовательница вспоминает знаменитую уваровскую триаду и приводит слова Ю.Н. Говорухи-Отрока о том, что эта «старая николаевская формула» «ожила в славянофильстве, углубилась, расширилась, одухотворилась», более того, «православие, самодержавие, народность – в этом самая сущность славянофильства» (с. 7). Всё это не вызывает возражений, но требует некоторых поправок. Прежде всего, вопреки словам автора о том, будто «впервые эта тройственная идея сформулирована в 1818 г.» в речи С.С. Уварова, публично триада «православие, самодержавие, народность», как известно, первый раз использовалась в созданном по инициативе Уварова «Журнале Министерства народного просвещения»[52], а более ранние её упоминания встречаются лишь в документах, направленных Уваровым лично Николаю I в 1832 г.[53] В «Речи президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года», на которую ссылается Фетисенко, нет формулировок, напоминающих известную триаду. Между тем именно тогда, за десятилетия до «Византизма и славянства», была высказана вполне созвучная Леонтьеву мысль: «Государства имеют свои эпохи возрождения, своё младенчество, свою юность, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость... Желание продолжить один из сих возрастов далее времени, назначенного природою, столь же суетно и безрассудно, как желание заключить возмужающего юношу в тесные пределы младенческой колыбели»[54]. Чем объясняется такое сходство мысли двух столь разных идеологов консерватизма, ещё только предстоит выяснить.

Но что, казалось бы, могло быть общего между идеологией, провозглашённой министром Николая I, и взглядами славянофилов, испытавших на себе необыкновенную подозрительность власти и крайнюю строгость цензуры? Не случайно на протяжении десятилетий они предпочитали никак не высказывать своего от-

---

[52] Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 1. Ч. I. С. L.

[53] *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2004. С. 343.

[54] *Уваров С.С.* Речь президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года. СПб., 1818. С. 52.

ношения к уваровской триаде. Когда же в 1884 г. последний из них, И.С. Аксаков, всё-таки заговорил о ней, то сразу же заявил, что это выражение «надолго скомпрометировало в русском общественном мнении» свою истинность (с. 7).

Мысль об участии А.С. Хомякова в создании уваровской триады казалась настолько абсурдной, что на неё не обращали внимания, несмотря даже на свидетельства П.И. Бартенева, хорошо знавшего Алексея Степановича[55]. А между тем в начале 1830-х гг. Хомяков действительно был близок к Уварову[56], который осенью 1832 г., будучи ещё товарищем министра, предлагал ему заняться изданием «Журнала Министерства народного просвещения»[57]. Однако Хомяков отказался. Сознавая, по-видимому, что внедряемая правительством идеология неминуемо обесцвечивает самые яркие и глубокие мысли, он предпочёл дистанцироваться от просвещённого бюрократа Уварова и выдвинутых им лозунгов.

Характерно, что рассуждая об элементах знаменитой триады, Уваров весьма туманно писал о «народности», и из его слов трудно понять, какое именно содержание вкладывал он в этот термин. Очевидно, для министра он был наименее важным[58]. Леонтьев со своей стороны неоднократно обрывал уваровскую формулу на втором слове, явно не желая ставить «народность» в один ряд с «православием» и «самодержавием» и используя совершенно неадекватные замены – «сословный строй», «неотчуждаемость крестьянских земель» и т.п. По словам С.М. Сергеева, Константин Николаевич «крайне подозрительно относится к “народности” как самодостаточному принципу»[59]. В этом он ещё более отдалялся от славянофилов, известных своей апологией «народности», и приближается к Уварову.

И.С. Аксаков, по словам О.Л. Фетисенко, был для К.Н. Леонтьева «одним из постоянных внутренних оппонентов, пожалуй, наравне с Достоевским» (с. 185). Их идейное противостояние объясняется в книге, в первую очередь, принадлежностью к двум различным типам православия, которые Леонтьев характеризовал как «филаретовское» и «хомяковское». Справедливо рассматривая последнее как «славянофильское», исследовательница несколько преувеличивает существовавшие между ними расхождения, приводя в качестве аргумента несколько пренебрежительных отзывов Аксакова о митрополите Филарете, сделанных в письмах (но не в публичных выступлениях!) в 1847, 1853 и 1857 гг. (с. 167–169, 174). Между тем эти оценки отражали позицию лишь самого Ивана Сергеевича, а не всех славянофилов. Их явно не разделяли И.В. Киреевский, сотрудничавший с митрополитом Филаретом «в деле переводов и издания Святых отцов» (с. 168), и А.И. Кошелёв (с. 169). Да и сам И.С. Аксаков

---

[55] В примечаниях к воспоминаниям Д.Н. Свербеева Бартенев отметил, что «великий символ» утвердился в сознании Уварова «едва ли не вследствие бесед с А.С. Хомяковым» (Русский архив. 1868. № 6. С. 731).

[56] Ц.Х. Виттекер указывала, что Уваров «хвалил царю Хомякова» (*Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 125). Об отношениях Хомякова и Уварова см. также бартеневское примечание к стихотворению Хомякова, которое Бартенев озаглавил «Разговор с С.С. Уваровым». (Русский архив. 1863. № 4. С. 303–304).

[57] *Мазур Н.Н.* К ранней биографии А.С. Хомякова (1810–1820) // Лотмановский сборник. Т. 2. М., 1997. С. 211.

[58] По мнению Н.И. Цимбаева, для Уварова наличие в формуле третьего элемента было данью немецкой философии с её известными «триадами»: *Цимбаев Н.И.* «Под бременем познанья и сомненья...» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары современников). М., 1989. С. 30–31.

[59] *Сергеев С.М.* Творческий традиционализм К.Н. Леонтьева. Статья первая. (URL.: http://www.portal-slovo.ru/history/41602.php).

впоследствии, почувствовав себя наследником и продолжателем дела славянофилов, изменил своё отношение к владыке. В 1867 г. в газете «Москва» он называл здравствовавшего ещё тогда митрополита «светильником высокого ума, знания и всем явной жизни», а также «огромной духовной силой, охраняющей, *из себя самой почерпаемою властью,* неизменность обычая и целость духовного предания»[60]. В 1883 г. Аксаков перепечатал эту статью в «Руси», добавив к ней вводную и заключительную части, в которых он возражал на критику покойного святителя в статьях профессора Киевской духовной академии Ф.А. Терновского в «Новом времени». Аксаков писал теперь про свою оппозицию не к митрополиту Филарету, а к его противнику – обер-прокурору Святейшего Синода (и, как иронично подчёркивал славянофил, «гусарскому полковнику») гр. Н.А. Протасову.

Из этого вовсе не следует, что деление на «хомяковское» и «филаретовское» православие совершенно надуманно. Оно отчётливо выражено в рассуждениях Леонтьева, являвшегося апологетом «филаретовского» пути. Весьма показательно было и отношение самого владыки к славянофилам. Ведь именно по его воле в 1855 г. был удалён из Московской духовной академии Н.П. Гиляров-Платонов (тут же примкнувший к славянофилам). Сталкиваясь с Хомяковым «в самой Москве» (т.е. в публичной обстановке), митрополит Филарет «был с ним холодно вежлив, но встречаясь с ним за чертами города, был с ним необыкновенно любезен и дружески жал ему руку». Рассказывая об этом со слов Алексея Степановича, Д.В. Хитрово объяснял подобное поведение тем, что «до конца пятидесятых годов Хомякова и его друзей правительство считало какими-то богоотступниками и отчаянными либералами»[61]. Последнее выражение особенно важно, поскольку позднее Леонтьеву московские славянофилы казались «слишком либеральными». Именно этим он объяснял свой разлад с ними. «Крамольность» славянофилов заключалась в том, что, будучи активными противниками представительного правления, они тем не менее считали источником монархической власти в России не самого царя, а народ.

Из вскользь брошенной автором фразы о «благословениях, какими встретил тот же Аксаков реформы Александра II» (с. 178), может создаться впечатление, будто Иван Сергеевич являлся последовательным сторонником преобразований 1860-х гг. Между тем он всегда оставался их чутким критиком. В адресе старообрядцев, где прозвучали запомнившиеся Леонтьеву слова «в новизнах твоего царствования нам старина наша слышится», речь шла не о поддержке реформ, а о выражении солидарности с императором во время разгоревшегося польского восстания и угрозы интервенции европейских держав. Кстати, адрес этот направили императору не дунайские, как сказано в комментариях к восьмому тому собрания сочинений Леонтьева[62], а московские старообрядцы-беспоповцы Преображенского богадельного дома. Авторство его приписывалось то Каткову (в газете которого он был напечатан), то Аксакову[63]. Сам факт неоднократного цитирования адреса Аксаковым, для которого Катков являлся ещё бóльшим оппонентом, чем Леонтьев, заставляет усомниться в том, что он был составлен редактором «Московских ведомостей». Причём Аксаков, вспоминая

---

[60] *Аксаков И.С.* Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1887. С. 691.

[61] [*Хитрово Д.В.*] Воспоминания об Алексее Степановиче Хомякове // Наше наследие. 2004. № 71. С. 92.

[62] *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений и писем... Т. 8. Кн. 2. СПб., 2009. С. 1174.

[63] *Герцен А.И.* Собрание сочинений. В 30 т. Т. 17. М., 1959. С. 154, 418; *Любимов Н.А.* М.Н. Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889. С. 232.

слова адреса в 1881 г., уже добавлял: «Правда, много затем пошло и такой новизны, в которой уже никакой "старины" не слышалось»[64].

«Преданным учеником Аксакова, постигавшим в общении с учителем основы славянофильского воззрения» (с. 406), в монографии назван С.Ф. Шарапов. Как полагает Фетисенко, его газету «Русское дело» «*можно* назвать продолжением "Руси"», даже «несмотря на нерешённость вопроса о личном преемстве Шарапова Аксакову» (с. 418). Однако не следует всё же путать уважение к памяти человека, а в случае с «Русским делом» – поначалу даже своеобразный культ Аксакова, и сознательную преемственность идей.

Не случайно бывших авторов и читателей «Руси» порой возмущало то, что в «Русском деле» звучали заявления, расходившиеся с позицией Аксакова[65]. Сам же редактор «Руси» с иронией относился к амбициозным надеждам Шарапова заменить его во главе газеты, хотя бы только на время болезни. После кончины Аксакова многие современники осознавали, что возродить «Русь» без него невозможно. Близкие к Аксакову люди весьма резко отзывались о попытках Шарапова занять место её издателя (с. 418)[66]. Сергей Фёдорович действительно был именно из тех, кого в начале XX в. Н.А. Бердяев назвал «непрошенными друзьями и последователями» славянофилов[67].

Дмитрий Стогов: Воздействие идей К.Н. Леонтьева на русских монархистов начала XX в. ещё нуждается в исследовании

Монография известного петербургского учёного Ольги Леонидовны Фетисенко, вне всякого сомнения, представляет огромный научный интерес. Исследовательницей впервые выявлен и проанализирован обширный круг исторических источников, в том числе и архивных. Поражает и объём труда, и ценнейший иллюстративный материал, представленный в книге, что уже отмечалось рецензентами[68].

Само понятие «гептастилисты» (точнее, в тогдашней орфографии – «эптастилисты»; от греческого «семь столпов») придумано К.Н. Леонтьевым и может быть переведено как «седмистолпники» – последователи учения Леонтьева о семи столпах (основах) новой культуры. Вторая глава первой части и первая глава третьей части монографии О.Л. Фетисенко посвящены подробному разбору этого понятия, восходящего к библейскому: «Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь» (Притч 9.1). В статье Леонтьева «Письма о Восточных делах» Фетисенко обнаруживает даже перечисление этих «семи столпов» (названных здесь «отвлечёнными идеями»): религиозная, философская, политическая, юридическая, экономическая, бытовая, художественная идеи. Как отмечает исследовательница, «все они существуют в любой культуре, но у Леонтьева получают новое смысловое наполнение»[69]. «Срединным

---

[64] *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живётся в России? М., 2002. С. 721.

[65] Русское дело. 1886. 12 июля. № 12. С. 5; 18 октября. № 26. С. 3.

[66] См. также: *Бадалян Д.А.* Круг авторов газеты И.С. Аксакова «Русь» // Культура и история. Материалы межвузовских научных конференций «Культура и история» (2004–2007). СПб., 2009. С. 195–196.

[67] *Бердяев Н.А.* Алексей Степанович Хомяков // *Бердяев Н.А.* Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Алексей Степанович Хомяков. М., 2007. С. 429.

[68] См. также: *Котов А.Э.* Эстетический академизм.

[69] *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2012. С. 12.

столпом» (соответственно, восьмым, вне общего счёта стоящим, скрепляющим или несущим на себе всю остальную конструкцию) К.Н. Леонтьев в записке, адресованной Я.А. Денисову, называл самодержавие.

К концу 1880-х гг. Леонтьев, по словам Фетисенко, встретил «первых последователей», в общении с которыми создал «нечто вроде "школы" (в античном понимании этого слова) или тайного общества». Часть учеников «относилась к этому как к игре, другие же становились "солдатами гептастилистической армии" (слова И.И. Кристи), проявлявшими себя на разных поприщах – в журналистике, учёной деятельности, церковном служении и т.д.»[70]. Не менее важным представляется и влияние идей «гептастилизма» К.Н. Леонтьева на формирование мировоззрения участников правомонархического (черносотенного и националистического) движения начала XX в.[71] В монографии О.Л. Фетисенко собраны и проанализированы уникальные факты как очных, так и заочных его контактов с рядом деятелей, игравших впоследствии видную роль в черносотенных и националистических кругах. Среди них известные публицисты и издатели, писатели, организаторы правомонархических салонов, церковные и общественные деятели – иеромонах (впоследствии митрополит) Антоний (Храповицкий), В.А. Грингмут, Ю.С. Карцов, И.И. Колышко, кн. В.П. Мещерский, Е.Н. Погожев (Поселянин), Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов (с. 397–440), граф С.Д. Шереметев. Некоторые монархисты становились горячими поклонниками мыслителя уже после его смерти. Так, будущего председателя фракции правых в III Государственной думе профессора А.С. Вязигина познакомил с идеями Леонтьева его друг и единомышленник, один из учредителей и активных деятелей Харьковского губернского отдела Русского собрания Я.А. Денисов, входивший в кружок ближайших учеников Константина Николаевича.

Отношение к взглядам Леонтьева у черносотенцев было различным. Грингмут разделял критическое отношение Леонтьева к «братьям-славянам». «Великая заслуга верного определения наших "братушек" принадлежит всецело К.Н. Леонтьеву и отчасти Достоевскому, которые пытались раскрыть нам глаза относительно истинной сущности славянского вопроса ещё задолго до наших последних разочарований в болгарах», – писал он в 1890 г. в «Русском обозрении» (с. 262–263). Ю.С. Карцов, напротив, постоянно пребывал в полемике с Константином Николаевичем, часто посещавшим салон Карцовых (с. 478). Это, однако, не помешало ему впоследствии принимать участие в популяризации наследия писателя и философа и стать активным членом кружка, созданного для

---

[70] Там же. С. 11.

[71] В историографии под «правыми» традиционно понимают «консервативные партии, отстаивавшие и отстаивающие традиционные – политический, социальный, экономический, религиозный, бытовой – уклады жизни, стоящие за сохранение основ существующего или существовавшего строя». Поскольку они выступали за сохранение самодержавия, термин «правые» фактически являлся синонимом словосочетания «монархические организации». Кроме того, они ратовали за первенство «русской народности» и православия на территории проживания великороссов, малороссов и белорусов, которые рассматривались ими как части триединого русского народа (Правые партии. Документы и материалы. 1905–1917 гг. Т. 1. М., 1998. С. 5). Об идеологических различиях между националистами и черносотенцами см.: *Иванов А.А.* «Россия для русских»: pro et contra. Правые и националисты конца XIX – начала XX века о лозунге «русского Возрождения» // Трибуна русской мысли. 2007. № 7. С. 92–101; *он же.* К вопросу о содержании лозунга «Россия для русских» во второй половине XIX века // Герценовские чтения 2012. Актуальные проблемы социальных наук: Сборник научных и учебно-методических трудов. СПб., 2013. С. 57–63.

этого в 1908 г. К.А. Губастовым[72]. Деятельное участие в его составлении принял и владыка Антоний (Храповицкий), поначалу относившийся к К.Н. Леонтьеву неоднозначно. В полемике о «служении общественному благу» он был ближе к В.С. Соловьёву, нежели к его оппонентам, включая Леонтьева. Ю.Н. Говоруха-Отрок, подразумевая тогда ещё иеромонаха Антония, сетовал на то, что «одно духовное лицо» предлагает читателю «сентиментальное христианство, "христианство на розовой водице", как любил выражаться покойный Леонтьев, христианство, из которого окончательно изгнан *страх Божий*» (с. 453). Тем не менее осенью 1891 г., незадолго до смерти Константина Николаевича, о. Антоний много общался с ним (и, кстати, впоследствии отпевал его) (с. 716).

К сожалению, лишь немного в книге О.Л. Фетисенко говорится о восприятии идей К.Н. Леонтьева приват-доцентом римского права Б.В. Никольским – членом Русского собрания и Главного совета Союза русского народа, убеждённым сторонником А.И. Дубровина[73]. Борис Владимирович не был лично знаком с Леонтьевым, но ещё с юности увлекался его сочинениями. «Пишущий эти строки на себе испытал в молодые годы эту раскрепощающую силу произведений Леонтьева, – вспоминал он в 1911 г., – и немногим писателям так благодарен, как именно этому великому освободителю. Против затхлого, заплесневелого в своём убожестве российского либерального доктринёрства и бесшабашно невежественного нигилизма, он выступает такою же элементарно-властной и одиноко-властною фигурою, какою на наших глазах П.Н. Дурново обрисовался на фоне сановных трусишек бюрократии наверху, внизу – камаринских товарищей революционеров и пресмыкающихся убийц из-за угла»[74]. Как и Леонтьев, Никольский указывал на пагубность равенства и смешения различных социальных групп. «Все должны быть равны перед законом: но из этого никоим образом не выходит, чтобы все законы для всех должны были быть одни, – писал он в дневнике 6 мая 1901 г. – Это безумие. Дворянству – т.е. служилому сословию – своё, свободным профессиям – своё, купечеству – своё, духовенству – своё, военным – своё, мещанству – своё, фабричным – своё, прислуге – своё, студентам – своё. Законы должны быть гибки и разнообразны. Тогда и получится порядок, леонтьевски изящная, пёстрая, красивая организация. Тогда возможна и строгость, и стройность, и твёрдость, и сила. Тогда никого не задушите подлой эгалитарностью. Невозможна свобода в однообразии!»[75]. «Что же касается до "Московских ведомостей" с их сословностью, то они несносны, – отмечал он в дневнике 16 мая 1897 г. – У Леонтьева его поклонение сословности было частью кровною традицией, частью – идеалом художника; это было личное дело, неотделимое от него самого, один из контрастов, составлявших этого удивительного человека. У Мещерского его сословность

---

[72] Кружок занимался переизданием произведений Леонтьева и выпустил к 20-летию со дня его кончины «Леонтьевский сборник» (Памяти Константина Николаевича Леонтьева. 1891 г. Литературный сборник. СПб., 1911). См. также: *Карцов Ю.С.* Хроника распада (Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, ф. 2, оп. М, д. 76, л. 312); *он же.* Хроника распада. К.Н. Леонтьев и М.Н. Катков // Новый журнал (Нью-Йорк). 1980. № 138; Письма К.Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 г. СПб., 1911.

[73] Подробнее см.: *Стогов Д.И.* «Религия Леонтьева была религиею подвига и жертвы»: (Б.В. Никольский о наследии К.Н. Леонтьева) // Христианство и русская литература. Сборник VII. СПб., 2012. С. 225–249.

[74] *Никольский Б.В.* К характеристике К.Н. Леонтьева // *Никольский Б.В.* Сокрушить крамолу / Сост.: Д.И. Стогов. М., 2009. С. 361.

[75] РГИА, ф. 1006, оп. 1, д. 46 (д. 1), л. 172 об.–173.

опять-таки личное дело, это программа его прошлого политического влияния, которой он изменить не в силах»[76].

Конечно, не следует отождествлять взгляды монархистов начала XX в. и К.Н. Леонтьева. Однако определённая преемственность поколений в русской консервативной мысли несомненно была[77]. Она вела от А.С. Хомякова к Н.Я. Данилевскому и К.Н. Леонтьеву, а затем к В.А. Грингмуту, Л.А. Тихомирову, Б.В. Никольскому и др. Разумеется, нельзя смешивать славянофильство и черносотенство, являвшееся всё же не идейным течением, а политическим движением, на идеологию которого оказали огромное воздействие не только славянофилы, но и М.Н. Катков, К.П. Победоносцев и др. И влияние идей К.Н. Леонтьева на формирование концепций русских монархистов начала XX в., безусловно, заслуживает самого пристального рассмотрения и ещё ждёт своего исследователя.

Елена Мамонова: «Православные миряне» в спорах о Церкви

Исследование О.Л. Фетисенко, несмотря на внушительный объём, читается на одном дыхании, поскольку в нём чувствуется некое созвучие между автором и мыслителем, творчеству и окружению которого оно посвящено. Для исследовательницы, как и для К.Н. Леонтьева, характерно предельно внимательное отношение к слову. Прямые цитаты и аллюзии (библейские, литургические, святоотеческие и проч.), малоизвестные поговорки и слова, изменившие своё значение, подробно комментируются, учитываются все их скрытые смыслы и намёки, которые могли бы ускользнуть от читателя. Например, нашему современнику едва ли будет понятно, почему слова «маргарин» и «мельхиор» используются как ругательства, отчего «общегуманитарное» является для Леонтьева синонимом «еретического», и каково подлинное значение «розового», «подслащенного» и «пресного» («несолёного») (с. 219–220, 260, 277). Пожелание Леонтьева сослать гр. Л.Н. Толстого в Томск становится поводом для изыскания – почему именно туда (с. 283). Отсылки к литургическим текстам сопровождаются указанием, когда именно они читаются. Например, слова «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь» (Притч 9.1) звучали в известной в XIX в. «даже некнижным людям» паремии на богородичные праздники (с. 82). Столь же пристально (вплоть до пометок на полях книг) всматривается автор и в круг чтения Леонтьева и его собеседников (с. 266–275 и др.), что позволяет яснее представить богословский и церковно-исторический контекст их размышлений.

Характер церковности православной части общества в пореформенной России является одной из наиболее сложных и любопытных тем, затронутых в монографии. Как ни странно, православные публицисты, государственные и общественные деятели чаще всего с большим подозрением относились к вере друг друга. Едва ли не каждый из них (за исключением религиозно индифферентных) только своё православие считал настоящим. Так, славянофилы претендовали на то, что лишь они правильно понимают первую часть уваровской триады, тогда как большинство якобы видело в ней лишь «консервативную

---

[76] Там же, л. 6 об.

[77] *Стогов Д.И.* Славянофильство и черносотенство: взаимосвязь поколений русских мыслителей XIX – начала XX в. // Информация – Коммуникация – Общество. Материалы X Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 24–25 января 2013 г. СПб., 2013. С. 158–160.

духовно-полицейскую силу, освящающую порядок, дисциплину и правительственную систему», «духовную консисторию», поклонение «букве Св. Писания, строгой обрядности, нетерпимости к иноверцам» (с. 7–8). И.С. Аксаков писал О.А. Новиковой о К.Н. Леонтьеве, что тот «не столько христианин, сколько церковник», ибо «способен оправдывать фанариотов, даже иезуитов» (с. 162). Вместе с Н.П. Гиляровым-Платоновым он заявлял Леонтьеву, что для них «Гамбетта и Герцен больше христиане, чем Филарет и Леонид (епископ)» (с. 162–163). Леонтьев, в свою очередь, характеризовал мировоззрение Гиляров как «полуправославие» (с. 193) и противопоставлял «реальному» «филаретовскому православию» «смягчённое» и «видоизменённое» православие славянофилов (с. 176), в богословии которых, по его словам, «таится такая глубокая и отвратительная наклонность к протестантизму, что в смысле противодействия им и стремление в Рим хорошо» (с. 367). Но и Катков для него «в делах Церкви хуже анафемы» (с. 229). Т.И. Филиппову Константин Николаевич сообщал, что Ф.М. Достоевский – лже-пророк, а В.С. Соловьёв – предтеча антихриста и даже «Гартман и Шопенгауэр кой-чем ближе ко Христу, чем эти “усладители”» (с. 218–221). Фёдор Михайлович не оставался в долгу и убеждал К.П. Победоносцева в том, что Леонтьев «в конце концов немного еретик» (с. 260). Т.И. Филиппов видел в Каткове и Победоносцеве «миниатюрное изображение зверя со змием» из Апокалипсиса (с. 215), первый из них – «раб и льстец» (эпитет Иуды в богослужениях Страстной седмицы), а второй – «Копроним» (император-иконоборец).

Конечно, все эти оценки со временем менялись, и «антихриста» Соловьёва Леонтьев в другой раз прочил в патриархи (с. 364). Но показательна сама острота вопроса об «истинном православии» в православной среде, между воцерковлёнными людьми. Впрочем, степень их воцерковлённости также нуждается в изучении. Анализируя переписку Леонтьева и Филиппова, О.Л. Фетисенко отмечает, что «обоих корреспондентов не усыпляло внешнее благополучие Церкви в России», за ним они усматривали «разорение», «запустение», «распущенность» и «равнодушие» (с. 214). И у этого были основания. Например, автор монографии упоминает, что И.С. Аксакова раздражало участие Филиппова в богослужениях: «В то время, действительно, трудно было себе представить дворянина, чиновника, прислуживающего в храме, поющего, читающего. Да и прежде свет прощал такие причуды лишь царям» (с. 202). В статье Ю.Н. Говорухи-Отрока Леонтьев отметил слова о том, что «для нашего общества вопрос религиозный не есть вопрос жизни... общество прислушивается к толкам о религии с каким-то странным любопытством, как к чему-то для него совершенно новому, до сих пор неслыханному» (с. 448). «Верующих как будто стало гораздо больше, но во что они веруют? – скептически вопрошал Л.А. Тихомиров. – Религиозное движение общества скорее похоже на “брожение”, результат которого ещё очень и очень подлежит сомнению» (с. 452).

Каждый затрагиваемый в книге сюжет О.Л. Фетисенко рассматривает подробно и скрупулёзно, старается не упускать ни одной мелочи. Исследователи общественной мысли пореформенной России должны быть благодарны Ольге Леонидовне за ряд атрибутированных статей. Оборотной стороной этого является увлечённое углубление в сюжеты и эпизоды, лишь косвенно относящиеся к теме исследования. Однако и в этом случае экскурсы в сторону, несколько нарушающие стройность изложения, неизменно остаются интересными и познавательными.

В частности, очень подробно Ольга Леонидовна осветила контакты Леонтьева с катковским кругом. Помимо деловых связей Константина Николаевича с Михаилом Никифоровичем и их суждений друг о друге в разные периоды, ею детально рассмотрены отношения Леонтьева с основными сотрудниками редакции «Московских ведомостей» и с некоторыми авторами «Русского вестника» (прежде всего с Б.М. Маркевичем), а также с преподавателями и выпускниками Лицея цесаревича Николая. Однако при этом разного рода коллизии, зачастую довольно острые, возникавшие между Леонтьевым и Катковым, излагаются гораздо подробнее, чем их взгляды на те или иные важные для обоих вопросы, в том числе и церковные. И если мнения Леонтьева так или иначе находят отражение не в одной, так в другой главе, то позиция Каткова порою стушёвывается, а то и вовсе излагается не вполне корректно.

Так, комментируя письмо Т.И. Филиппова, обвинявшего Каткова в «искажении и унижении нашего священного символа», Фетисенко поясняет, что «под искажением "священного символа" подразумевается свойственный Каткову и подобным ему политикам и журналистам взгляд на Церковь как на служанку государства и национальных интересов (конечно, открыто редко выражавшийся)» (с. 223–224). Но выражал ли Катков этот взгляд вообще, пусть даже и редко? Во всяком случае, он не раз делал противоположные заявления, тогда как тот же Леонтьев мог изображать религиозные идеи наравне с экономическими, бытовыми и прочими как один из семи «столпов», которые окружают самодержавие; видеть в церковности одно из священных преданий наряду с монархизмом и аристократическим духом и т.д. (с. 86). В одной из статей, которую О.Л. Фетисенко атрибутирует Филиппову, говорится, что «Московские ведомости» касаются церковных дел «более по связи их с вопросами государственными, чем по вниманию к их собственной сущности» (с. 228). Это и впрямь было так, но разве повод к высказыванию передаёт его смысл? Леонтьев, к примеру, однажды собирался написать статью для газеты «Восток» «по поводу виденного мною недавно в Калуге братства для борьбы против староверов», речь же в ней должна была пойти совсем о другом: «Я сведу на Болгарский вопрос и напомню, что Болгарский раскол несравненно хуже русского по 1 000 причин» (с. 383).

Как отмечается в разных главах монографии, для Константина Николаевича вопрос о личной вере и церковности его собеседников был существенно важен. И с этой точки зрения Катков оказывался для него скорее всё же «своим». Не случайно в незавершённой работе «Кто правее?» он относил Михаила Никифоровича к числу приверженцев «реального», «филаретовского», «византийского» православия, а не «смягчённого» «хомяковского» (с. 176).

Фетисенко прямо указывает на созвучие идей Леонтьева и Каткова по ряду внутрироссийских церковных вопросов (с. 301), хотя, к сожалению, их не сопоставляет. Тем не менее автор с симпатией пишет о том, что Катков сочувствовал выборности приходского духовенства, признавал необходимость свободы проповеди, возражал против превращения Церкви в «полицейский институт» и т.п. При этом он «только» предлагал «немного реформировать» синодальный строй («ослабить духовную цензуру и вообще государственный присмотр за Церковью», «оживить церковную жизнь» (с. 301)). «Легко можно представить под этими словами подпись Ив. Аксакова, Гилярова-Платонова или Вл. Соловьёва», – полагает исследовательница. В целом же, по её мнению, Каткова, «равно как, впрочем, и славянофилов, вполне устраивал установившийся в России синодальный церковный строй» (с. 301). Но действительно ли именно из-за

этого для Леонтьева «Катков делался сильным противником»? Ведь те же славянофилы его противниками не были. Катков же отличался от них не меньшим вниманием к Церкви, а бóльшим уважением к государству, будучи тем самым ближе Леонтьеву, нежели Аксаков. Об этом свидетельствует и приведённая в книге цитата из письма Константина Николаевича к И.И. Фуделю: «Катков в тяжёлые дни своеволия и расстройства накидывался на "нисших" (т.е. на обречённых самим Богом повиновению); Аксаков либерально и некстати великодушно корил всегда "высших". Катков не брезговал чиновником; Аксаков всегда бестолково (подобно европейскому либералу) нападал *прежде* всего на чиновника. Катков не щадил ни студентов, ни народ, ни земство, ни общества, и предпочитал (*основательно*) официальную "казённую" Россию. *Основательно,* ибо даже и вера православная не только пришла к нам *по указу* Владимира, но и *въелась* в нас благодаря тому, что народ "загнали" в Днепр» (с. 305).

В том же письме Леонтьев осуждал позицию Каткова «в вопросах *панславистическом* вообще и *в особенности* в вопросе *церковно-Болгарском*» (с. 306). Как известно, Михаил Никифорович симпатизировал болгарам, а не грекам (хотя едва ли для него этот вопрос имел большое значение). Похоже, это было единственное серьёзное расхождение между ними в «церковно-национальном вопросе». Несколько преувеличивая их разногласия, Фетисенко утверждает, что «у Каткова Церковь – основа народности и через это – основа национальной государственности», а «для Леонтьева это слишком узкое (прикладное, для нужд опять же государства) понимание Церкви». Но и она вынуждена признать, что «Каткову не предъявишь упрёков в "филетизме"» (с. 302).

По словам исследовательницы, «Леонтьева возмущало главным образом то, что в концепции Каткова Церкви отводилось пусть самое почётное, но – очевидно – в стороне находящееся место», поскольку им «Церковь мыслилась как *свободная* (государство на неё не "давит", а только "охраняет")», но *«безвластная,* от всякого вмешательства в дела государства твёрдой рукой отодвинутая» (с. 301–302). Однако как далеко, по мнению Леонтьева, Церковь могла бы вмешиваться в дела государства и в какие именно дела? Ведь рассуждая о евангельских словах «Царство Мое не от мира сего», он уверял, что «Христос этим самым равнодушным отношением к земной политике давал этой политике полную свободу устраивать государство, дисциплинировать общество как угодно» (с. 121). И почему взгляды сторонника *свободной* Церкви *возмущали* Леонтьева? Хотел ли он видеть Церковь более или наоборот менее свободной? Во всяком случае, статьи Каткова о необходимости разрушения кастовости духовенства не вызвали у Леонтьева восторга. Он исходил из того, что «семинаристы и вообще дети белого духовенства... давно уже составляют в высшей степени буржуазный контингент нашего общества», а «с распущением касты духовной это будет ещё заметнее» (с. 114). Как бы то ни было, все эти вопросы ещё нуждаются в изучении.

Характеризуя позицию Каткова, исследовательница, кажется, подпадает под влияние суждений Филиппова[78]. В письме к Леонтьеву тот утверждал

[78] В ещё большей степени это заметно в главе об отношениях Леонтьева и Победоносцева, где на один Леонтьевский отзыв о Константине Петровиче («старая "невинная" девушка») приходится с десяток его оценок Филипповым («скопец», «евнух», «змий», «Копроним») и Киреевым («трус», «плакса» и т.д.). В результате, под конец говорится уже не столько о Леонтьеве, сколько о том, что «для Филиппова и его круга... неприемлемо пригнетённое положение Церкви в роли служанки государства, обслуживающей идеологическую и нравственную сферы», а «для

даже, будто «Катков не раз повторял, что Россия и православие – одно и то же» (с. 235). Трудно сказать, что имел в виду Катков и верно ли был понят, однако едва ли в «Московских ведомостях» можно найти столь прямолинейные формулировки. Между тем Тертий Иванович не скрывал, что помимо идейных разногласий имел и личные причины для неприязни к Каткову. Поневоле согласишься с Леонтьевым, уверяющим что «"враг" (истинно – так!) посеял между ними раздор» (с. 243).

Сам Леонтьев был гораздо более сдержан, к чему, видимо, принуждал себя усилием воли. Его отношение к Каткову блестяще резюмировал С.Н. Дурылин: «1) не любит до отвращения, 2) молится за него и 3) печатно – бескорыстно и тепло хвалит за гражданские и государственные заслуги» (с. 315). Так или иначе, последняя прижизненная публикация Константина Николаевича (подборка отзывов о старце Амвросии из «Московских ведомостей» для «Гражданина») была направлена на «примирение двух давно враждующих консервативных газет»: «Ведь мы все, – обращался он к кн. В.П. Мещерскому, – и Вы, князь, и я недостойный, мы все "верующие" – православные христиане: не будем же более радовать мелкими раздорами нашими наших общих врагов, которые не дремлют... Неужели только в литературе, под предлогом службы "идеям" будет разрешено и похвально всякая злопамятность, всякая жолчь, всякий яд, всякое упорство и всякая гордость, даже из-за неважных оттенков в этих идеях?» (с. 334–335).

Анна Хорошева: Конфликт двух исторических схем

За последние 20 лет история консервативной мысли пореформенной России стала популярной среди исследователей темой – в постсоветский период появилась возможность взглянуть на неё без заданных идеологических клише. В 1990-е гг. мир русского консерватизма открывался фактически заново. Одним из вновь открытых тогда мыслителей был и Константин Николаевич Леонтьев, которому посвящена монография О.Л. Фетисенко, предпринявшей попытку «разгадать тайну личности писателя». Этому, по мнению исследовательницы, может способствовать анализ «тайной доктрины гептастилизма» и того, как Леонтьев пытался её донести до своих современников (с. 18).

Книга имеет чёткую структуру: в первой её части рассматривается учение «гептастилизма», во второй – диалог Леонтьева с его современниками (И.С. Аксаковым, Н.П. Гиляровым-Платоновым, Т.И. Филипповым, Ф.М. Достоевским, М.Н. Катковым, К.П. Победоносцевым, кн. В.П. Мещерским, А.А. Фетом, Н.Н. Дурново, С.Ф. Шараповым, Ю.Н. Говорухой-Отроком, Л.А. Тихомировым, В.В. Розановым и др.), в третьей – анализируется влияние Леонтьева на его молодых последователей и друзей (И.И. Кристи, А.А. Александрова, Г.И. Замараева, Н.А. Уманова, о. И. Фуделя, Ф.П. Чуфрина, Е.Н. Погожева, И.И. Колышко). Автор монографии анализирует систему взглядов Леонтьева, а затем прослеживает её влияние на жизнь мыслителя и его взаимоотношения с окружающими людьми.

Победоносцева же и Каткова Церковь в её земной ипостаси – часть государства». «О конкретных методах церковного управления, применяемых Победоносцевым, Филиппов и Леонтьев не высказывались, но, пожалуй, – считает исследовательница, – они могли бы присоединиться к генералу Кирееву» (с. 325).

Говоря о монографии Фетисенко, нельзя не отметить высочайшую квалификацию автора книги. Она прекрасно ориентируется не только в окончательных вариантах произведений Леонтьева, но и в том, как их текст менялся с течением времени. Она не раз указывает читателю на редакторскую правку, внесённую мыслителем в разные периоды его жизни. Невозможно переоценить труд и терпение исследовательницы, кропотливо выявлявшей различные временные слои в работах философа. Безусловной заслугой автора является также публикация ранее неизвестных черновых набросков Леонтьева. Эти автографы обнаружил в РГАДА (ф. 1282) Г.Б. Кремнев и предложил Фетисенко их опубликовать, что она и сделала, подготовив все необходимые комментарии (с. 114–140). Именно в этих «новообретённых» материалах автор монографии и усматривает итог идейных исканий мыслителя – его теорию «гептастилизма» (с. 17–18). По сути Фетисенко предлагает новый термин для обозначения системы взглядов Леонтьева, тогда как сам он писал про «Эптастилизм, или Учение о семи столпах Новой Восточной Культуры» (с. 123).

Так что же такое «гептастилизм» или «эптастилизм»? Автор, ссылаясь на фрагмент статьи Леонтьева «Письма о Восточных делах», выявляет ровно семь элементов теории: идеи религиозные, политические, юридические, философские, бытовые, художественные, экономические (с. 84). При этом исследовательница стремится «раскрыть леонтьевское понимание семи “отвлечённых идей” его же словами» (с. 85), которые подробно цитируются на нескольких страницах (с. 85–89). Критический анализ их практически отсутствует, а вместо авторской оценки цитат приводится мнение о. И. Фуделя (с. 89–90). Тем самым исследовательница не систематизирует и не обобщает огромный фактический материал, приведённый в работе, что не даёт возможности получить объективное представление об историософии мыслителя. Читатель вынужден сам разбираться в хитросплетениях идей философа. В конце первой части говорится о том, что к концу жизни Леонтьев высоко ставил жанр «жития» и предлагал своему единомышленнику Александрову посвятить свою магистерскую диссертацию его изучению, но тот данным ему советом не воспользовался (с. 113). Остаётся загадкой, почему именно этим заканчивается, а точнее, обрывается важнейшая часть монографии.

В аннотации к книге указывается, что учение К.Н. Леонтьева перекликается с теорией культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского и развивает её положения (с. 4). Данилевский был создателем принципиально новой методологии истории, противопоставлявшей представлению о линейности всемирно-исторического процесса идею множественности путей развития человечества. Как отмечает Фетисенко, Леонтьев придавал огромное значение книге Данилевского «Россия и Европа» (с. 61–62), рекомендовал её для чтения своим единомышленникам (с. 270). Однако сама исследовательница, освещая позицию мыслителя, ограничивается лишь приведением цитат и небольшими ремарками. Так, говоря о роли Царьграда в Славянском союзе, она напоминает, что эту идею, помимо Данилевского, высказывали М.П. Погодин и Р.А. Фадеев, но Леонтьев вышел за рамки их понимания проблемы (с. 72). Это подтверждают обширные цитаты, но, к сожалению, без авторского комментария (с. 73–74), сопоставления данных проектов и выявления в них общего и особенного. В конечном итоге это не позволяет определить место Леонтьева в истории консервативной мысли и показать, в чём состояло своеобразие идей Леонтьева по сравнению с представлениями других охранителей, например, Каткова или

Фадеева. Более обстоятельного объяснения требует и характеристика консерватизма как антирациональной, несистемообразующей идеологии и политической практики (с. 6).

Поскольку в начале своего исследования Фетисенко подчёркивает, что вновь обретённые тексты позволяют глубже взглянуть на личность Леонтьева, естественно предположить, что в книге будет приведено сопоставление теорий «византинизма» и «гептастилизма». Фетисенко приводит большое количество высказываний Леонтьева о царизме, о социальном неравенстве, которое необходимо закрепить посредством «особенного социализма», о «византинизме» (с. 71–76, 79–80), но не оговаривает, когда и как появились подобные идеи, в какой степени они отражали современную Леонтьеву действительность и была ли разница между его рассуждениями 1870-х и 1880-х гг., т.е. как менялись его представления на протяжении жизни и с чем это было связано. Ведь для большинства исследователей Леонтьев является создателем теории «византинизма», неотъемлемой частью которой было понятие «царизма», выступающее в роли объединительного начала и сохраняющее необходимое для государства разнообразие. Автору следовало бы показать, когда и в силу каких причин сформировалось учение «гептастилизма», чем оно отличалось от «византинизма» в историософском плане, включало ли оно его в себя полностью или частично, или же между ними не было ничего общего.

Великолепно зная сочинения Леонтьева, Фетисенко попыталась реконструировать систему его взглядов с помощью цитирования, не углубляясь в исторический контекст их создания и связь с биографией мыслителя. Однако без этого невозможно понять эволюцию его взглядов. В частности, явно недостаточно сказано о роли матери Леонтьева Феодосии Петровны (в девичестве Карабановой), занимавшейся его первоначальным образованием и привившей сыну вкус к эстетическому восприятию окружающего мира. Именно ей он обязан тем, что для него на протяжении всей жизни «принцип разнообразия и эстетизма» будет основополагающим (а это оттолкнёт его от либерализма и приведёт к консерватизму). Однако в монографии сообщается лишь о том, что она была «изыскано-изящной» (с. 13). Конечно, на страницах книги упоминаются отдельные факты его жизни. Например, говорится о важности обета, данного им на даче в Салониках, но не поясняется, в чём он состоял и каково было его значение для дальнейшей судьбы и творчества Леонтьева (с. 14). Безусловно, знакомые с биографией Леонтьева хотя бы в самых общих чертах догадаются, что речь идёт об уникальном духовном опыте чудесного исцеления от смертельной болезни. Однако пропедевтическое проговаривание известных фактов было бы здесь вполне уместно. Не хватает также исторической справки о том, в чём заключался греко-болгарский «вопрос» (с. 65–66), почему он так волновал философа, вставшего в итоге на сторону константинопольского патриарха, и каково было отношение к нему русского общества. Ничего не пишет автор монографии о Восточном вопросе, занимавшем в творчестве Леонтьева столь видное место. Историю его публицистической деятельности (с. 53–59) Фетисенко описывает исключительно на уровне личных связей, без разъяснения закономерностей развития пореформенной России.

Во второй части монографии исследовательница буквально по крупицам собрала огромный фактический материал, в мельчайших подробностях воспроизводя историю контактов Леонтьева с современниками, до которых он пытался донести своё учение. В книге скрупулёзно описано, где и при каких

обстоятельствах они встречались, что послужило поводом для знакомства, как складывались их взаимоотношения и на что именно они обращали внимание в частных беседах и литературных спорах. Не совсем понятным, правда, остаётся отбор фигур, обративших на себя особое внимание автора. В частности, почему нет отдельной главы о покровительстве и влиянии на Леонтьева И.С. Тургенева (с. 21), имя которого часто упоминается на страницах монографии? При этом и здесь не всегда учитывается общеисторический контекст. Так, в книге говорится о том, как К.Н. Леонтьев, будучи цензором, из-за накопившихся обид запретил издание брошюры И.С. Аксакова «Взгляд назад» (с. 177–178). Но помимо личных чувств, ему следовало руководствоваться «Цензорским уставом», в соответствии с которым нельзя было разрешать публикацию брошюры, провозглашавшей «мысли, равносильные совершенному почти уничтожению администрации», предположения «о расширении прав и компетентности земства до крайних пределов» и намечавшей «проект глубокого “изменения” нашего государственного строя» (с. 177).

Неподдельный интерес вызывают подробности, сообщаемые Фетисенко о «нескончаемом споре» Леонтьева с Достоевским (с. 251–264). Они позволяют почувствовать особенности общения этих людей. Мы узнаём, в какую одежду они одевались, в каких местах виделись, какие условности существовали в их отношениях, каков был их денежный достаток, что они могли себе позволить, а что нет.

Центральным событием их спора Фетисенко считает «пушкинскую речь» Достоевского, разделившую двух незаурядных людей навсегда (с. 259). Исследовательница пишет, что более всего для Леонтьева оказалась неприемлема «всечеловеческая любовь», проповедовавшаяся писателем. Суть спора Фетисенко видит именно в религиозных разногласиях. Ей удалось найти фрагменты черновика знаменитой статьи Леонтьева «О всемирной любви», в котором учение Достоевского названо «чуть-чуть не еретическим» (в окончательной редакции употреблено выражение «общегуманитарное»), а сам он обвиняется в «прелести» (с. 260). «Это... давно осуждено Церковью, – писал Константин Николаевич позднее, – как своего рода *ересь* (*хилиазм,* т.е. 100-летнее царство Христа на земле, *перед концом света*)» (с. 261).

Но был ли спор мыслителей чисто церковным? В своей речи, произнесённой на пушкинском празднике в начале июня 1880 г., Достоевский фактически развивал мысль о всечеловеческой миссии России и её народа. Эта миссия, по мнению писателя, заключалась в том, что Россия должна внести примирение в европейские противоречия, вывести Европу из тупиков социального и нравственного разложения путём привнесения в европейскую культуру братской любви и гармонии, которые смог сохранить русский народ. Тем самым Достоевский по-своему переработал гегелевскую модель развития человечества, согласно которой на каждом этапе истории появляется народ, ведущий все остальные народы к прогрессу. Гегель отводил эту миссию германцам, а Достоевский – русским.

Леонтьев воспринимал ход исторического процесса совершенно иначе. Умирание любой культуры он считал неизбежным, и все попытки спасти Запад от гибели были, по его имению, обречены, поскольку Европа уже вступила на путь вторичного упрощения. Вмешаться в этот процесс – значит погибнуть раньше времени во имя ложной цели. Речь Достоевского, принятая с таким восторгом русским обществом, как раз и раздражала Леонтьева тем, что она

могла увлечь Россию на опасный путь и привести к преждевременной гибели. Ему казалось, что Россия должна заботиться прежде всего о себе, а царизм, сохраняя разнообразие сословных форм, позволит ей «цвести» дольше. Таким образом, Достоевский и Леонтьев спорили не о церковных догматах, а о выборе пути дальнейшего развития России и о её будущем. Это был конфликт двух историософских схем.

Монография О.Л. Фетисенко – важное событие в истории изучения творчества К.Н. Леонтьева. Безусловной заслугой автора является выявление и изложение колоссального массива прежде неопубликованных источников, позволяющих уточнить многие факты из жизни как самого Константина Николаевича, так и близких к нему лиц. Вместе с тем желание избежать обобщений и скупость выводов не позволили автору выйти на новый уровень интерпретации наследия Леонтьева и его места среди русских консерваторов. В результате по прочтении книги перед читателем не возникает ни цельного образа мыслителя, ни достаточно полной системы его взглядов.

Станислав Хатунцев: «Кносский дворец» гептастилизма

Монография О.Л. Фетисенко – крупнейшее в последние годы фундаментальное и новаторское исследование творчества К.Н. Леонтьева и его отношений со своими учениками, фигуры которых впервые в историографии тщательно освещены на основании широкого круга источников. Практически на каждой странице книги виден кропотливый труд учёного-филолога. «Многоэтажные» подвалы примечаний, которые сами по себе могли бы составить целый том, несколько разрыхляют работу, но они же выводят её в безбрежные горизонты русской культуры, общественно-политической мысли и в целом жизни России 1850–1930-х гг.

Исследовательница скрупулёзно воссоздаёт историю написания многих текстов Леонтьева, в том числе – «Византизма и славянства», выявляет круг его чтения и те источники, из которых он мог черпать сведения, импульсы и идеи, развитые им впоследствии. Благодаря колоссальной текстологической работе Фетисенко удалось выяснить, в частности, что реплики из «Варшавского дневника», цитируемые как высказывания 1880 г., зачастую являются позднейшими вставками, сделанными уже в 1885 г., а это два совершенно разных периода, между которыми пролегло 1 марта 1881 г. (с. 36).

О.Л. Фетисенко вносит немало нового в изучение биографии Леонтьева. Так, отбрасывая предположения и догадки и опираясь на автобиографические тексты мыслителя, она чётко заявляет, что настоящим его отцом был не заурядный помещик Н.Б. Леонтьев, а блистательный аристократ В.Д. Дурново, пишет о «запретной любви» Константина Николаевича и его «полуплемянницы» Марии Владимировны (с. 13–14, 200). Начало перелома в воззрениях Леонтьева и его ухода от юношеского либерализма Фетисенко обоснованно относит даже не к весне 1861 г., а к 1860 г. (с. 54), окончательно же «прогрессивно-охранительное направление» сложилось у Леонтьева, по её словам, к 1880–1881 гг. (своеобразным манифестом этого стала предназначенная для правительственных кругов «Записка о необходимости новой большой газеты в Санкт-Петербурге») (с. 76). Много интересных биографических данных содержится также в последней главе монографии «...И в пределах преподобного Сергия».

В работе внимательно анализируются понятия и образы, которыми пользовался Леонтьев. Так, часто употреблявшееся им выражение «пророчество», как справедливо замечает Фетисенко, в прямом смысле этого слова означало не «одобрение» тех или иных событий и тенденций, а лишь сообщение о них. Это необходимо не просто учитывать, но и крепко запомнить, особенно тем, кто видит в Леонтьеве едва ли не предтечу сталинизма (с. 28).

Фетисенко высказывает много глубоких, правильных мыслей и тонких замечаний. Например, о том, что Леонтьев скорее не публицист, а политический писатель, мысливший проективно, но вместе с тем не являвшийся утопистом, поскольку никогда не верил в «рай на земле» (с. 30–31). Не менее существенно и её наблюдение, согласно которому нехристианскому почитанию монарха в кругах охранителей «отвечало обожествление "народа" демократическими кругами и почвенниками» (с. 215). Также исследовательница отмечает, что «оптинский отшельник» задолго предвосхитил Г. Гессе с его «эпохой фельетонов», осмеянной в «Игре в бисер» (с. 678).

Раскрывая леонтьевский «гептастилизм» – учение о семи столпах «нового созидания» – автор монографии использует не только хорошо известное письмо Константина Николаевича о. И. Фуделю от 6–23 июля 1888 г., но и его новооткрытые наброски и записки. В одной из них, адресованной Я.А. Денисову, были очерчены все семь «столпов», чего ранее не встречалось ни в одном из известных историкам документов. Однако никакого «стройного учения» «гептастилизма», изложенного в чёткой и законченной форме, на страницах книги нет, если, конечно, не называть этим именем сами воззрения Леонтьева, как мы называем «ницшеанством» взгляды Ф. Ницше. Наверное, это было бы правильно. Но в таком случае «гептастилизм» (или «анатолизм») не следует насильственно расписывать непременно по тем или иным семи пунктам.

В сущности «гептастилизм», которому посвящены от силы 20–30 страниц монографии, как был, так и остался смелой заявкой на создание доктрины, предназначенной для сотворения новой, небывало пышной четырёхосновной культуры (идеал Н.Я. Данилевского). Но дальше этого дело не пошло, да и пойти не могло, поскольку завершённый семиглавый комплекс «эптастилизма» стал бы отрицанием глубинных основ всей леонтьевской мысли как таковой. «Учение» о том, как уже стареющему культурно-политическому организму (России) взять да и шагнуть в «акме» на целый жизненный срок (по Леонтьеву – 1 000–1 200 лет), разрушило бы саму «гипотезу триединого процесса». И «гептастилизм» Фетисенко (с. 85–89) – не какая-то открытая ею «тайная доктрина» мыслителя, лежавшая до поры под спудом, а лишь реконструкция его культурно-исторической мечты. Реконструировать её исследователи жизни и творчества Леонтьева пытались с разной степенью успеха и адекватности, начиная со сборника 1911 г., и книга Фетисенко находится в том же ряду, не сильно из него выбиваясь и не являясь неким гносеологическим прорывом. Тем не менее в ней сделано хорошее и объективное обобщение, основанное на великолепном знании и детальной проработке творческого наследия Леонтьева.

Трудясь над его текстами так, как старатель работает с золотоносным песком, исследовательница обнаружила в них «очевидную» тенденцию к смягчению отзывов об И.С. Аксакове. Учитывая, что в пореформенный период Иван Сергеевич в целом эволюционировал «вправо», это закономерно. В чём-то, как отмечал историк С.М. Сергеев, Аксаков сближался со своим постоянным оппонентом Леонтьевым даже до совпадения позиций. Общую черту, несмотря на

весьма разные политические воззрения, Фетисенко находит у К.Н. Леонтьева и с Н.П. Гиляровым-Платоновым. Это их потребность видеть «дальний план», устремлённость не в «завтра», а в «послезавтра» (с. 197).

Анализируя «нескончаемый спор» Леонтьева с Достоевским, автор задаётся весьма нетривиальным вопросом: почему Константин Николаевич был столь ревностно-пристрастен, нет ли тут чего-нибудь личного? Любопытно также, что гр. Л.Н. Толстой называл Леонтьева скандальным «разбивателем стёкол», будучи своего рода «стекольщиком», отливавшим и устанавливавшим стёкла, через которые русская публика смотрела на мир – да и на войну тоже.

Особой новизной отличаются главы о контактах мыслителя с публицистами Н.Н. Дурново, С.Ф. Шараповым и писателем И.Л. Леонтьевым (Щегловым), сохранившим в своём дневнике уникальные сведения о знакомстве Константина Николаевича с сочинениями Ницше (с. 686). Это одна из ценнейших находок автора монографии. Фетисенко внимательно выявляет круг учеников Леонтьева и той молодёжи, которая с ним так или иначе общалась. К ней принадлежали, кстати, и два будущих обер-прокурора Святейшего Синода – кн. А.Д. Оболенский и А.Н. Волжин.

Два главных «прямых наследника» Леонтьева с их семействами – «православный немец» о. И. Фудель с супругой и несколько неряшливый А.А. Александров с его невыносимой «Тарасовной» в книге как бы противопоставляются друг другу. В текстах Александрова Фетисенко, за редкими исключениями, находит больше официальной риторики, чем «живой души» (с. 560). Подробно освещая его деятельность в журнале «Русское обозрение», исследовательница характеризует и само это издание, остающееся, к сожалению, практически неизученным. Ценные сведения приведены и об о. И. Фуделе, которого Константин Николаевич любил как сына. По мнению Фетисенко, о. Иосиф разделял идеи Леонтьева в гораздо большей степени, нежели этого хотелось бы его собственному сыну Сергею Иосифовичу, «убеждённому антилеонтьевцу» (с. 645).

Из книги хорошо видно, что продолжить дело великого русского консерватора его ученики не могли. Да и разработанной программы он им не оставил: имелись только наброски, наметки, фантазии, «общие планы»... Заключение фактически является особой главой, в основном посвящённой судьбам творческого наследия Леонтьева со времени его кончины до 1917 г.

Нельзя объять необъятное. Обо всех леонтьевских собеседниках в одной монографии не напишешь. Однако в ней всё же явно не хватает отдельного очерка о М.В. Леонтьевой, принадлежавшей к числу наиближайших к Константину Николаевичу людей и сыгравшей в его судьбе и сохранении памяти о нём огромную роль.

Есть в книге небольшие редакторские недочёты. Так, на с. 167 Фетисенко дублирует цитату из «Моей литературной судьбы» Леонтьева, на с. 526 повторяет отрывок, приведённый на с. 524, на с. 667 – фразу о войне 1877–1878 гг. Цитаты из источников, публиковавшихся ранее, можно было бы значительно сократить. Обилие пространных выдержек из документов местами делает монографию похожей на хрестоматию. Но несмотря на это складывающееся порой впечатление, перед нами – классический исследовательский текст, вышедший из-под пера незаурядного филолога и представляющий собой серию очерков, раскрывающих единую многоплановую сюжетную линию. Общей панорамы взаимоотношений Леонтьева с окружающим миром она не даёт: в рамках одной книги это попросту невозможно. По той же причине не претендует

она и на исчерпывающее освещение леонтьевской темы. Её страницы полны прекрасными замечаниями и обобщениями, и в целом картина выходит очень разносторонней, хотя порой это оборачивается дробностью и рыхловатостью. В конечном итоге получается большое, многофункциональное здание со множеством причудливо разбросанных помещений, похожее на Кносский дворец. В нём уже вполне можно жить и работать, несмотря на участки, отделка которых всё ещё продолжается. Но книга Ольги Леонидовны – не столько музей или «пешеходная экскурсия по леонтьевским местам», сколько живая, творческая лаборатория, в которой решаются «горячие» проблемы и ставятся новые.

После труда о «гептастилистах» хочется сердечно поблагодарить О.Л. Фетисенко и пожелать ей скорейшего завершения издания Полного собрания сочинений и писем К.Н. Леонтьева с их подробнейшим научно-справочным аппаратом. Читатели ждут!

Сергей Чесноков, Александр Чернавский: Русские истоки исторической антропологии

В российской гуманитарной науке явно недостаточно исследований, затрагивающих проблематику русской идентичности. Эту лакуну существенно восполняет исследование О.Л. Фетисенко. Обращение филолога к истории русского консерватизма полезно хотя бы уже потому, что может способствовать уточнению представлений о литературных аспектах этого идейного течения, а богатый материал позволяет создать эффект погружения в исторические реалии второй половины XIX в. Кроме того, монография Фетисенко свидетельствует о наличии в сочинениях К.Н. Леонтьева целостного подхода к антропологически ориентированной истории. Рассказывая о его знакомстве с кн. В.Ф. Одоевским, Фетисенко не случайно использует термин «аналитическая этнография». А «гептастилизм» – футурологическую утопию «славяно-восточной» цивилизации – наверное, можно назвать своего рода истоком русской исторической антропологии.

Как показывает автор, Леонтьев с молодых лет был склонен мыслить «проективно». Первый его проект, относящийся к концу 1850-х гг. и скромно подписанный «лекарь Леонтьев», остался погребённым среди бумаг Министерства народного просвещения и впервые был опубликован только в 2006 г. В нём подробно обосновывался план устройства «учебницы естествознания в Крыму» (с. 22). В этой записке Леонтьев, апеллируя к последним открытиям современной ему науки, характеризовал Крым как страну по преимуществу «антропологическую». Внимательный читатель К. Бэра, он напоминал, что ни в одном университете нет кафедры антропологии, тогда как именно этой науке, понимаемой широко, принадлежит будущее, именно она осуществит предсказанное Т.Н. Грановским слияние гуманитарных и естественных наук. В антропологию Леонтьев включал и анатомию, и физиологию, и этнографию, и «рациональную психологию»: «Антропология должна стать на рубеже наук духовных и естественных, не ей ли быть звеном всех факультетов? Если на факультете естествоведения ей следует дать одно из первых мест как науке, одухотворяющей посредством эстетического символа фатализм праха, то разве излишня она врачу, юристу и филологу? Время не ждёт, антропологии надо спешить» (с. 23).

Ещё более значимы скрупулёзно подобранные и систематизированные наблюдения и размышления Леонтьева с дунайских перекрёстков Европы XIX в. Россия рассматривалась им тогда как бы со стороны, глазами дунайских народов. Как пишет исследовательница, во второй половине 1860-х гг. Леонтьев стремился прежде всего «постичь во всей широте историческое призвание России». Географическая удалённость от объекта познания лишь помогала ему в этом. «Вдали от отчизны, – признавался он, – я лучше вижу её и выше ценю» (с. 57). По словам автора монографии, находясь на Востоке, в «живом этнографическом музее», Леонтьев изучал «все хорошие и дурные плоды, не исключая даже манеры принимать и угощать гостей» (с. 59). Писатель стал по-новому воспринимать свою родину, слыша от греков и славян о том, что в России сохранилось церковное благочестие («там монастыри многолюдны»), и будто бы сам «этот неизмеримый край» «Бог сохранил для нашего спасения» (с. 59). Залогом высокого положения России в мире в тот период своей жизни Леонтьев считал своеобразие, пышность и сложность её составных частей. Он верил в то, что, выработав своеобразную славяно-русскую культуру, Россия со временем может обновить стареющий мир. В журнальном варианте его статьи «Грамотность и народность» говорилось от лица чехов: «Русские обязаны не только для себя, но и для всех нас сохранить свою физиономию и даже стараться создать новое русское или славянское из данных им свыше начал». С Европой же, полагал Леонтьев, нужно жить в мире, но одновременно – в культурном отчуждении (с. 59).

Представляет интерес и история обретения Леонтьевым личной духовной и гражданской зрелости. «Я уже с 1862 года (30 лет), – вспоминал он, – отступился с ужасом от либерализма, которому поклонялся 18 лет под влиянием Ж. Занда, Белинского, Тургенева и т.д. Поклонялся его сердечным и благородным сторонам, не понимая ещё (до 28–29 лет) ни глубокой антигосударственности его, ни прозаических последствий того смешения, без которого либерализм не может быть практикуем» (с. 54). Антропологические взгляды Леонтьева на проблему «своеобразия» окончательно сложились к концу 1860-х гг., когда он пополнил свои представления о византийской культуре Афона и быте христианского и мусульманского Востока. Считая задачей своей жизни проповедь новой восточной культуры, своеобразной и антитетичной по отношению к современной ему западной цивилизации, своими прямыми предшественниками он признавал старших славянофилов и Н.Я. Данилевского. При этом Леонтьев пристально присматривался ко всему внешнему, начиная с облика человека, поскольку хорошо понимал, «что в самых внешних формах быта выражается дух народа и времени, что привычки, вкусы, моды – всё это вовсе не внешность одна, а неизбежное выражение глубочайших внутренних потребностей» (с. 80).

Анализируя две крупные работы Леонтьева «Византизм и славянство» и «Русские, греки и юго-славяне», Фетисенко отмечает знаменательное для судьбы мыслителя временно́е совпадение обретения им глубокой личной веры и трагической кульминации греко-болгарской церковной распри. «Убедившись в том, что цели болгар вовсе не церковные, – пишет она, – дипломат и публицист начал колебаться в своей слепой и пламенной вере в Славянство, а заодно стал сильно разочаровываться и в наших внутренних русских либеральных преуспеяниях» (с. 66). В монографии показано, как греко-болгарский конфликт подтолкнул Леонтьева к выбору между национальным (племенным), государственным и церковным началами. Приоритетным для него стало единство Церкви,

основанное на верности её канонам. «Истинно национальная политика должна поддерживать не голое племя, а те духовные начала, которые связаны с его силой и славой, – считал он. – Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти» (с. 66). Следует согласиться с автором книги в том, что только целостное представление об обстоятельствах личного выбора мыслителя позволяет понять охраняемые им ценности.

В монографии подробно изложена история создания, пожалуй, главной книги Леонтьева – «Византизм и славянство». Сначала он записал уже сложившуюся в его сознании теорию прогресса (развития), потом появились разделы о византизме, славянстве, публицистические болгарские главы. Статья «Русские, греки и юго-славяне» также представляла собой синтез политической аналитики и теоретических размышлений. В ней Леонтьев пытался раскрыть «вековую устойчивость бытового типа, общего духа» разных народов и выразить их этнопсихологические особенности. «Пределы политических колебаний, возможные для одной и той же нации, – утверждал он, – и обусловливаются внутренним строем этой нации, её вероисповеданием, её преданиями и даже вкусами, её социальным устройством, которое кладёт свою глубокую печать на личный тип или психический строй самих граждан» (с. 69). Однако ему было явно недостаточно только этнографических очерков и политического анализа. В своих статьях, начиная с «Грамотности и народности», он искал новый синтетический жанр. Так оформлялась леонтьевская программа «нового созидания» – синтеза религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических идей, его «гептастилизм».

Терминологический и образный ряд широко заимствовался Леонтьевым из естественных наук, математики, медицины. Предвосхищая появление и пути развития целого ряда современных гуманитарных дисциплин и направлений междисциплинарных исследований, он указывал на то, что «психология, столь незрелая ещё социология, эстетика приблизятся к точным наукам, и это произойдёт так же естественно, как естественно совершается приложение идей реальных наук к исторической, психической жизни людей и общества». При этом он считал, что именно русские дадут «сознательную постановку будущей социологии», и предвидел появление науки «социальная психология» (с. 26). Его занимала историческая и национальная психология, психология восприятия и творчества, загадки человеческой памяти. Он часто упоминал «психическую жизнь общества», «психологические законы творчества», «психический строй представителей определённой нации», «психический тип», «психический характер», «вековую устойчивость бытового типа, общего духа, который меняется медленно», «психический характер нации», «психологические ресурсы нации», «психические запасы общества», «исторически приобретённые душевные навыки» и т.д. (с. 49). Весьма характерно и его понимание специфики монархического строя России. «Самодержавие, – отмечал Леонтьев – по-нашему, есть не самая лучшая только форма правления, прямое воплощение строя нашей души в государственной и политической жизни» (с. 9). Вместе с тем он отталкивался и от духовной-историософской традиции, нашедшей воплощение в трудах деятелей Русской Церкви от старца Филофея до святителя Филарета (Дроздова), много писавшего об уникальности русского церковно-государственного и общественного устройства. Исследование «гептастилизма», этого специфического и глубоко личного учения К.Н. Леонтьева, позволяет лучше понять русский консерватизм, по-новому оценить его природу и творческий потенциал.

Как недавно напомнил В.К. Кантор, «Леонтьев был человек, писавший беспрерывно, заносивший все свои переживания и события личной жизни на бумагу, превращая их то в романы и рассказы, то в исповеди и мемуары, то в философскую публицистику»[80]. Действительно, помимо дошедшего до нас обширного творческого наследия Леонтьева, существовал ещё и цикл его романов, сожжённых автором после обращения. Писать и говорить было для него необходимостью, причём писал он легко и свободно, как дышал, затем с огромным упорством работал над текстом (стилистический пуризм воспринят им то ли из традиции словесности XVIII – первой трети XIX в., то ли от современной ему французской литературы). И по странной иронии судьбы автор, обладавший всеми качествами для успеха, его так и не дождался – не только громкого и шумного успеха, к которому он стремился в молодости, но и хотя бы относительного, желаемого в старости, признания и внимательного отношения к своим идеям. Розанов, феноменально быстро и плотно сошедшийся с Леонтьевым через переписку – так, как умели только они, сразу убравшие барьер условностей, эпистолярного отчуждения и «перелезавшие» через текст к собеседнику, начиная говорить о существенном – писал в 1903 г., издавая письма Леонтьева к себе со своими примечаниями: «Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые *нечаянности.* Природа (творческие её силы) любит как бы *удивить* человека, видеть его *удивлённое* лицо. Поэтому чего мы особенно сильно *ожидаем* или *желаем,* очень часто, до странности часто, *не исполняется.* Л[еонтье]в, во-первых, имел право на огромное влияние и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, *ждал* его, а потом с каждым годом всё мучительнее желал – и тоже ждал. Может быть, в истории литературы это было единственное *по напряжённости ожидание успеха,* и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку»[81].

После публикации переписки К.Н. Леонтьева с Т.И. Филипповым[82] это розановское замечание выглядит ещё более точным. Леонтьев напряжённо вглядывался в любой намёк на то, что его слово услышано, отслеживал все свои публикации, строил планы издания ежедневной газеты под своим идейным руководством. С середины 1870-х гг. в письмах он нередко не столько обращался к конкретному корреспонденту, сколько искал возможности «выговориться»: заводил разговор в надежде на то, что собеседник появится (как это было и в первых письмах Розанову, и в огромном письме к И. Фуделю, на тот момент почти совершенно неизвестному ему московскому студенту[83]). Практически лишённый публицистической трибуны, Леонтьев использовал все возможности для распространения своих взглядов в личном, непосредственном общении через переписку и т.д. Он сознавал себя учителем, проблема же была в том, что

---

[79] Исследование выполнено в рамках гранта президента РФ № МК-2579.2013.6 («Социальная и политическая философия поздних славянофилов: между либерализмом и консерватизмом»).

[80] *Кантор В.К.* К. Леонтьев: Христианство без надежды, или Трагическое чувство бытия // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 343.

[81] *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Т. 13. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. С. 332, примеч. 1.

[82] Пророки Византизма...

[83] «Преемство от отцов»... С. 75–96.

учеников сначала не было, а когда они появились, то лишь в малой степени удовлетворяли его ожиданиям.

Не главное, но важное достоинство работы О.Л. Фетисенко – вывод Леонтьева из пространства «идеологических споров», где под «идеологией» понимается некий простой, не особенно важно откуда именно заимствованный инструментарий, который считается непосредственно применимым здесь и сейчас. На эту роль регулярно примеряют «идеи» славянофилов, консерваторов победоносцевского, фадеевского или филипповского типов, крайне правых эпохи Думской монархии, публицистов эмиграции (вроде И.А. Ильина) и т.п. С начала 1990-х гг. одной из таких фигур становится и К.Н. Леонтьев, из сочинений которого в расхожем обиходе мелькает пара-тройка не столько даже идей, сколько лозунгов, начиная с хрестоматийного пожелания «подморозить Россию», «византизма» как слова-образа для обозначения идеала, да указания на то, что надо учиться «делать реакцию». В «Гептастилистах» же Леонтьев изымается из «актуального» контекста и возвращается в свою историческую среду, реконструкция которой – через последовательное прослеживание связей Леонтьева с современниками и учениками – оказывается чрезвычайно «плотной», от бытовых до предельно абстрактных, теоретических расхождений и сближений. Именно через данное «возвращение» Леонтьева в современную ему эпоху возможно действительное раскрытие значения его философских, религиозных, политических и литературных взглядов. В противном случае его мысль оказывается «на холостом ходу» универсальной применимости, чему способствует её кажущаяся простота. Как отмечал Розанов, «идеи Леонтьева и сложны, и просты»[84], но, разумеется, в первую очередь схватывается второе, тогда как от сложности леонтьевских рассуждений тем проще отказаться, что её можно и не заметить.

В.С. Соловьёв (для понимания истории его отношений с Леонтьевым книга О.Л. Фетисенко также даёт новый ценный материал) в некрологе предсказывал, что Константин Николаевич известен «не будет и после смерти»[85]. Подобный отзыв вызвал естественное недовольство у друзей покойного, однако последующие годы подтвердили верность соловьёвской оценки. Фундаментальное исследование О.Л. Фетисенко детально показывает, как и почему так получилось. В сегодняшней перспективе Леонтьев предстает как одна из ключевых интеллектуальных фигур русского XIX в., но для своих современников он оставался почти незаметен. Властители дум в 1870–1880-х гг. – с одной стороны, Н.К. Михайловский, с другой – М.Н. Катков, И.С. Аксаков, между ними – либералы М.М. Стасюлевич, К.К. Арсеньев и, как вершина, И.С. Тургенев. Леонтьев же не вписывался со своими представлениями о Церкви ни в «катковский» круг (с его пониманием православия как государственного института), ни в «аксаковский» (с идеями приходской жизни с выборными священниками и «свободной» Церкви, не подчиняющейся уже государству, но зато едва ли не целиком включённой в общественную жизнь, рассматриваемой как форма (само)организации общества). В итоге, для Аксакова он – «клерикал», для Каткова – человек крайностей (по большому счёту, вряд ли вообще вполне понятный), к тому же ставящий интересы Церкви выше интересов России, утверждающий, что «национальные движения» есть «орудие всемирного разрушения». Но находя единомышленников – немногих и оттого столь ценимых – в своих взглядах

---

[84] *Розанов В.В.* Указ. соч. С. 322.

[85] Цит. по: К.Н. Леонтьев: Pro et contra. Кн. 1. СПб., 1994. С. 20.

на Церковь, Леонтьев не сходился с ними в других вопросах. И если среди «консерваторов» для него нет своего места, то для публицистов других направлений он не более, чем «курьёзр», персонаж, у которого можно взять две-три фразы и использовать их в текущей полемике: он слишком необычен, с одной стороны, для него нет «готовой мерки», а с другой – влияние его недостаточно для того, чтобы всерьёз с ним считаться и задумываться, пытаясь найти мерку индивидуальную.

И в наше время каждому нужна лишь какая-то сравнительно небольшая часть «идей» Леонтьева, тогда как, по большому счёту, «идей» у него, как и у любого настоящего мыслителя, нет. Его «учение» – это не набор тех или иных программ, рецептов, подходов, которые можно отделить один от другого и использовать «по мере надобности». Следует согласиться с А.Э. Котовым в том, что введённое О.Л. Фетисенко понятие «гептастилизм» («семистолпное» основание леонтьевской историософии) выводит за пределы подобного «идеологического комплекса», побуждает уйти от ненавистного Леонтьеву подчёркивания «парадоксальности» тех или иных его суждений[86] и заставляет внимательнее всматриваться в само целое, «семистолпное» здание. Ведь у подлинного философа нет противоречий, а есть тезисы, которые вне целого или помещённые в иную систему начинают звучать, как взаимно несовместимые, хотя для их создателя это лишь разные выражения изначального понимания. И уход от упрощения и сиюминутной «актуализации» леонтьевской мысли под какие-либо идеологические программы – важнейшее, что можно сделать, дабы избежать её «вторичного забвения». Если первое было следствием молчания, то второе может стать результатом забалтывания.

Материал подготовлен А.В. Мамоновым

[86] «Мне очень грустно, – писал К.Н. Леонтьев о. И. Фуделю 16 мая 1890 г., – когда я вспоминаю, что *даже и Вы* (с Вашей независимостью) почему-то нашли нужным назвать "парадоксами" мои мнения... – Что такое *парадокс?* Это значит: мысль *странная, новая, удивительная и больше ничего.* Но у нас, в робкой литературе нашей, это название "парадокс" есть почти порицание; все привыкли соединять с ним представление о чём-то непрактическом, причудливом, ненужном и даже почти безумном... Всякая *великая* мысль сначала кажется толпе парадоксом. *Но Вы не толпа*» (Преемство от отцов... С. 208). 27 января 1891 г. по поводу реакции печати на свои статьи он горько иронизировал в письме к Филиппову: «Оригинально, оригинально, оригинально, парадоксы, парадоксы. Или ни слова» (Пророки Византизма... С. 613).

Динамика и типология реформ в России XVI–XVII веков

Владимир Аракчеев

История реформ как практик «социальной инженерии» вызывала повышенный интерес в российской историографии, прежде всего по причине эпохальных изменений государства и общества в XX в. Однако сам термин «реформы» применительно к периоду до 1861 г. был введён в научный оборот лишь в конце XIX в. С.М. Соловьёв, описывая преобразования XVII в. и допетровского времени, предпочитал говорить о «предложениях», «мерах» и «установлениях»[1]. Термин «реформы» был введён в научный лексикон российской историографии трудами В.О. Ключевского и П.Н. Милюкова. В 1890 г. в «Русской мысли» и «Журнале министерства народного просвещения» начали публиковаться их исследования «Состав представительства на земских соборах Древней Руси» и «Государственное хозяйство России первой четверти XVIII в.». Термин «реформа» употреблялся этими исследователями как в смысле комплекса преобразований, осуществлявшихся на протяжении десятилетий («реформа местного управления» в XVI в., «реформа Петра Великого»), так и в смысле отдельных мероприятий.

Ключевский, анализируя «реформу местного управления», рассматривал её одновременно с «военной реформой», введением губных учреждений, земской реформой и введением «верного» управления в кабацком и таможенном деле[2]. Милюков, подразумевая под «реформой Петра Великого» систему и результат его преобразований, выделял ряд реформ уже во второй половине XVII в. «Финансовой реформой 1679–1681 гг.» он называл переход к подворному обложению, «реформой 1680 г.» – создание военно-финансовых округов. Выборы бурмистров на посадах и создание Бурмистерской палаты в Москве он охарактеризовал как «областную» и «центральную» реформы. Статус реформы получили у исследователя и процесс разрушения приказного строя в 1701–1709 гг., и проект создания и наделения финансовыми полномочиями губерний в 1708–1711 гг. Именно Милюкову принадлежит метафора «реформа без реформатора», которой он обозначил не только процесс адаптации петровских реформ к реалиям второй четверти XVIII в., но и сам ход преобразований Петра[3].

Отсутствие теоретической разработки проблемы реформ сказалось и на исследованиях С.Ф. Платонова, который в монографии 1899 г. наряду с «первым периодом реформ царя Ивана» определял как «политическую реформу» («реформу служилого землевладения») введение опричнины[4]. В XX в. термин «реформа» стал активно использоваться исследователями для описания самых

© 2014 г. В.А. Аракчеев

[1] *Соловьёв С.М.* Сочинения в 18 книгах. Кн. VII. М., 1991. С. 93, 238, 570.

[2] *Ключевский В.О.* Сочинения в 9 томах. Т. VIII. М., 1990. С. 347–364.

[3] *Милюков П.Н.* Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1905. С. 64, 90, 123–124, 250, 266, 542–543.

[4] *Платонов С.Ф.* Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995. С. 92–101.

разных изменений в обществе и государстве начиная с X в., чаще всего в трудах по истории XVI–XVIII вв. Очевидно, что без методологической разработки проблемы реформ применительно к истории России до XIX в. адекватно оценить характер и динамику преобразований нелегко.

Этот пробел в последние годы восполнен М.М. Кромом, чьи работы содержат как теоретический, так и фактический материал, позволяющий по-новому взглянуть на представления современников о преобразованиях и на их сущность. Исследователь полагает, что отсутствие сведений о подготовке и принятии решений о реформах объясняется не только отсутствием источников, но и пониманием «политических» вопросов в морально-религиозном смысле[5]. Именно таким образом, не как радикальную ломку прежней системы, а как исправление сложившегося положения «по старине», понимали современники монетную и губную реформы 1530-х гг.[6] Не отрицая значимости и масштабности изменений в России XVI в., Кром указывает на отсутствие идеи прогресса в представлениях русского общества, ориентированного на «старину», что предопределило характер реформ как процесс непрерывных и не всегда последовательных изменений и не даёт возможности отождествлять их с реформами Нового времени[7].

Задача настоящей статьи состоит, во-первых, в исследовании типологии реформ XVI–XVII вв., поскольку очевидно, что характер преобразований этого времени не укладывается в одну схему. С этой целью необходимо исследовать динамику преобразований в двух сферах: сфере финансов, где будут рассмотрены борьба государства с тарханами и реформы системы налогообложения, и в сфере местного управления. Во-вторых, следует выяснить динамику реформ: каково было соотношение представлений современников о необходимости преобразований и темпов их осуществления. Изучение преобразований и административных практик может быть результативным лишь с опорой на методологию, разработанную в европейских социальных науках. Не утратившими актуальности мне представляются многие идеи и наблюдения М. Вебера, Й. Шумпетера, К. Манхейма; новые подходы были апробированы в исследованиях Т. Скочпол, Б. Дэвиса, Р. Мартина. Рассмотрение проблемы на протяжении 150-летнего периода времени рискованно по причине значительного временно́го разрыва между изучаемыми явлениями, однако пренебрежение разработкой вопроса в диахронном аспекте может тривиализировать предмет исследования.

Одним из важных качеств реформ Нового и Новейшего времени является их завершённый характер: реформа проводится в ограниченные сроки и заканчивается воплощением заявленной программы. Многие из преобразований в России XVI–XVII вв. не соответствуют этому критерию. Типичным примером таких преобразований является борьба государства с тарханами, длившаяся два столетия. Тарханными или обельными грамотами назывались жалованные грамоты великокняжеской или царской власти, освобождавшие землевладельца от налогов и натуральных повинностей полностью или частично, но бессрочно.

---

[5] *Кром М.М.* К пониманию московской «политики» XVI в.: дискурс и практика российской позднесредневековой монархии // Одиссей. 2005. М., 2005. С. 284–285.

[6] *Кром М.М.* Хронология губной реформы и некоторые особенности административных преобразований в России XVI в. // Исторические записки. Вып. 10 (128). М., 2007. С. 373–392.

[7] *Кром М.М.* Религиозно-нравственное обоснование административных преобразований в России XVI в. // Religion und Integration im Moskauer Russland Konzepte und Praktiken Potentiale und Grenzen. 14–17. Jahrhundert. Wiesbaden, 2010. S. 49–64.

Тарханы были разновидностью иммунитета, свойственного землевладению в Западной и Восточной Европе в эпоху Средневековья. Как верно писал Л.В. Черепнин, «иммунитет является характерной чертой привилегированной сословной земельной собственности с её иерархической структурой, выражающейся во взаимной связи собственников земли цепью обязательств»[8]. Положение иммунитетных владений в иерархической структуре средневекового общества наглядно проявляется во Франкском государстве эпохи Каролингов, где такого рода владения были встроены в систему суда и управления[9].

Результаты исследований иммунитета в Западной Европе и на Руси убеждают в том, что иммунитетные привилегии оформляли государственно-политическую структуру России в виде иерархической системы вплоть до середины XVI в. Коль скоро тарханно-несудимая грамота предоставляла грамотчику судебный иммунитет, любое изменение в этой системе должно было отразиться в переработанном Судебнике 1550 г. и воплотиться в 43-й и 91-й статьях этого свода законов. В комплексе со статьёй 64 о суде детей боярских наместниками «по всем городам» по «жалованным вопчим грамотам» эти статьи и обозначили начало реформы тарханов[10]. Эти преобразования по-разному воплощались применительно к светским и церковным вотчинам. Податной иммунитет светским землевладельцам и в первой половине XVI в. предоставлялся в исключительных случаях, а во второй половине XVI в. он окончательно ушёл в прошлое, сменившись практикой выдачи временных освобождений по льготным, обельным и оброчным грамотам[11].

Судебник вступил в действие в июне 1550 г., однако начать реализовывать его постановления можно было лишь после решений Собора высших церковных иерархов. Стоглавый Собор начал свои заседания в феврале 1551 г., видимо, уже тогда поддержав решение об отмене тарханов и дополнив постановления Судебника статьёй 98 о монастырских дворах на посадах. Практическая реализация решений Судебника и Стоглава началась в мае 1551 г. с пересмотра и утверждения жалованных грамот монастырям. С.М. Каштанов показал, что из 236 грамот, заново оформленных или сохранивших подтверждения 17 мая 1551 г., большинство были подтверждены без иммунитета, касающегося основных налоговых повинностей. Эти налоги следовало собирать лицам, уполномоченным государством, чаще всего городовым приказчикам. Некоторые влиятельные обители, в первую очередь Троице-Сергиев и Иосифо-Волоколамский монастыри, сохранили привилегии, касающиеся уплаты второстепенных налогов, в первую очередь проезжих пошлин[12]. Некоторые мелкие монастыри сохранили всю совокупность тарханных привилегий, как например, серпуховский Владычный монастырь, грамота которому была подтверждена без изъятий по причине «убогости». 15 октября 1556 г. Владычный монастырь получил новую тарханно-несудимую грамоту, освобождавшую его от дани, других основных налогов, городового дела, проезжих пошлин[13].

---

[8] *Черепнин Л.В.* Русские феодальные архивы XIV–XV вв. Ч. 2. М., 1951. С. 109, 112.

[9] *Михайловская Н.С.* Каролингский иммунитет // Средние века. Вып. 2. М.; Л., 1946. С. 164–187.

[10] Российское законодательство в 9 томах. Т. 2. М., 1985. С. 142–143, 151–152, 168.

[11] *Каштанов С.М.* Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 242.

[12] Там же. С. 122–125.

[13] *Каштанов С.М.* Очерки русской дипломатики. М., 1970. С. 456–461.

Несмотря на указанные исключения, вплоть до начала 1560-х гг. правительство придерживалось выработанного в 1550–1551 гг. порядка предоставления привилегий монастырям. Однако с 1563–1564 гг. нуждавшийся в поддержке Церкви и находившийся в плену эсхатологических ожиданий Иван IV отступил от принципов Судебника и Стоглава и начал массовое предоставление иммунитетных грамот монастырям, в числе которых были Иосифо-Волоколамский, Чудов и др.[14] 28 апреля 1578 г. общую жалованную грамоту на основе сентябрьской грамоты 1550 г., но без ограничительной подписи получил Троице-Сергиев монастырь, а 9 февраля 1580 г. тарханно-несудимую грамоту на сёла и дворы в семи уездах получил суздальский Спасо-Евфимьев монастырь[15]. Выход значительных комплексов земель из правильной системы налогообложения усугубил «оскудение воинского чина» в последнее десятилетие Ливонской войны. Е.И. Колычева предположила, что уже с 1580/81 г. тарханные привилегии, за исключением проезжих пошлин, предоставляться перестали[16]. Однако С.М. Каштанов показал, что в 1582–1583 гг. тарханные грамоты были выданы не менее чем шести монастырям севера и одному из монастырей юго-запада России (брянскому Свенскому)[17].

Церковно-земский Собор 1584 г. стал очередным рубежом в борьбе государства с тарханами, после которого иммунитетные привилегии монастырям и иерархам Церкви стали выражаться в праве самим собирать основные государственные налоги, а также в особом таможенном статусе[18]. Однако тарханные грамоты выдавались и после Собора 1584 г. Это, по мнению А.П. Павлова, означало, что правительство, продекларировав отмену тарханов, оставило за собой право в любой момент их нарушать[19]. В 1623–1625 гг. правительство предпринимало попытки пересмотра и ревизии тарханных грамот, в 1672 и 1677 гг. – отмены права монастырей на беспошлинный провоз товаров. Однако иммунитетные привилегии церковных землевладельцев восстанавливались спустя несколько лет[20]. По мнению М.С. Черкасовой, даже после окончательной отмены в 1700 г. таможенных пошлин, взимавшихся в пользу Троице-Сергиева монастыря, они собирались ещё в течение нескольких лет[21].

Возникает вопрос: почему в Русском государстве после 1584 г. податной иммунитет светских землевладельцев исчез безвозвратно, а церковных – сохранялся, хотя и в реликтовых формах? Судьба иммунитета в Центральной Европе складывалась отлично от Русского государства: изданием Кошицкого привилея в Польше в 1374 г. население владений светских феодалов освобождалось от всех налогов и отработочных повинностей[22]. Изживание иммунитетов в Запад-

---

[14] *Каштанов С.М.* Финансы... С. 158.

[15] *Черкасова М.С.* Крупная феодальная вотчина в России конца XVI – начала XVII в. М., 2004. С. 245–246; Акты суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1505–1608 гг. М., 1998. С. 385–389.

[16] *Колычева Е.И.* Аграрный строй России в XVI в. М., 1987. С. 150.

[17] *Каштанов С.М.* Финансы... С. 229.

[18] *Черкасова М.С.* Указ. соч. С. 248–252.

[19] *Павлов А.П.* К вопросу об отмене тарханов в 1584 г. // Россия в IX–XX веках: Проблемы истории, историографии и источниковедения. М., 1999. С. 322–324.

[20] *Черкасова М.С.* Указ. соч. С. 252–254; *Седов П.В.* Закат Московского царства. СПб., 2006. С. 303–311.

[21] *Черкасова М.С.* Указ. соч. С. 257.

[22] *Флоря Б.Н.* Эволюция иммунитета светских феодалов в период образования единых Польского и Русского государств // Польша и Русь: Черты общности и единообразия в историческом развитии. М., 1974. С. 327.

ной Европе, как и на Руси, не было одномоментным, пройдя в течение столетий периоды ограничения и нового расширения, однако светские землевладельцы утрачивали его синхронно монастырям. В конце XIII – начале XIV в. в период правления Генриха II иммунитеты в Англии ограничивались путём создания системы «общего права» и разработки правовой доктрины «сейзины». Изданием ассиза «novel disseisin» у баронских судов была отнята юрисдикция в отношении споров о земле[23]. Однако после 1330 г. в Англии началась реставрация иммунитетов, выразившаяся в создании так называемых палатинатов, обладавших, как отмечает Ю.И. Писарев, «всей полнотой иммунитетных прав, в частности собственными канцеляриями»[24]. Растягиваясь на столетия и переживая периоды активизации и отступления, процесс реформирования иммунитета в Западной Европе в равной мере касался светского и церковного землевладения.

В Русском же государстве влиятельные светские землевладельцы, как показали Б.Н. Флоря и С.М. Каштанов, сохраняли свои привилегии только до середины XVI в.[25] По жалованной грамоте от ноября 1547 г. дворецкий М.И. Кубенский получил полный податной и судебный иммунитет на свои сёла в Дмитровском уезде: «И тем его людем и христианом ненадобе моя царева великого князя дань, ни примет, ни посошной корм, ни посошная служба, ни иныя никоторыя пошлины, и коня моего не кормят, и тукового не дают, и сен моих не косят, ни подымного, ни мыта, ни перевозу не дают, и двора моего и наместнича не делают, и прудов моих не копают, и извести не жгут, и камени не возят, и города не делают, и корму в том его селе, и в деревнях, и в починках, и в пустошах к нашему приезду не берут, и подвод с них в нашу службу и на ям не емлют, и на дела на наши не наряжают».

Судебный иммунитет предоставлялся Кубенскому тоже в полном объёме, включая расследование по уголовным делам (душегубство, разбой, татьба с поличным), которые обычно выводились из подсудности грамотчика: «А наместницы наши дмитровские, и волостели, и их тивуни тех его людей и христиан не судят ни в чем, ни кормов своих на них не емлют и не всылают к ним ни по что, а праветчики и довотчики поборов своих на них не берут и не въезжают к ним ни по что: а ведает и судит тех своих людей и христиан князь Михайло Иванович сам во всем, или кому прикажет; а кому будет чего искати на княж Михайловых людех и на християнех, ино их сужу яз, царь и великий князь, или мой боярин введенный»[26]. Следовательно, в распоряжении дворецкого должна была находиться канцелярия, ведавшая «губные дела». Почему же ни преемники умершего в 1548 г. Кубенского дворецкие 1550–1560-х гг., ни конюший боярин И.П. Фёдоров-Челяднин не сохранили во второй половине XVI в., в отличие от монастырей, хотя бы частичных податных привилегий? Очевидно, что это было связано с масштабной перестройкой органов государственного управления и оформлением приказной системы, в

---

[23] *Берман Г.Дж.* Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 417–427.

[24] *Писарев Ю.И.* Магнаты и корона в Англии XIV в. // Средние века. Вып. 43. М., 1980. С. 96.

[25] *Флоря Б.Н.* Эволюция податного иммунитета светских феодалов России во второй половине XV – первой половине XVI в. // История СССР. 1972. № 1. С. 64–71; *Каштанов С.М.* Финансы... С. 242.

[26] Акты Археографической экспедиции. Т. 1. СПб., 1836. № 215. С. 205.

результате чего должности дворецких, казначеев, конюшенных бояр перестали быть определяющими в правящей иерархии[27].

Удивительная устойчивость иммунитетных привилегий, дарованных церковным институтам, и прежде всего монастырям, побуждает рассмотреть их место в структуре феодального общества, а также оценить динамику и итоги реформ церковно-государственных отношений. В результате деятельности митрополита Алексия церковная иерархия приобрела значительное влияние, проявившееся в факте заключения во второй половине XIV в. договора между великокняжеской властью и митрополичьей кафедрой. По уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана 1392 (1404) г. митрополичьи волости Лух и Сенеж получили податной и судебный иммунитет[28]. Монастырям в княжествах Северо-Восточной Руси податной иммунитет жаловался властью суверена, и рост монастырского землевладения и распространение иммунитетов на монастырские земли оформляли иерархию монастырей. А.П. Павлов реконструировал иерархическое положение монастырей по так называемым «лествицам» – перечням монастырей второй половины XVI – первой половины XVII в. Ему удалось показать руководящую роль Собора высших церковных иерархов и настоятелей крупнейших монастырей в решении важнейших вопросов государственной и церковной жизни, что позволило охарактеризовать этот Собор как «церковный институт»[29]. Очевидно, столь влиятельная структура была в состоянии лоббировать интересы своих монастырей, и далеко не случайно среди обителей, сохранивших элементы податного иммунитета, были монастыри, входившие в круг правящей церковной элиты и включённые в состав «лествиц».

Столь мощная иерархическая система как Церковь, увенчанная стоящим рядом с государем митрополитом, а с 1589 г. патриархом, не могла не обладать спектром привилегий, распространявшихся в виде иммунитетов на её экономическую деятельность. Именно вертикально отстроенная система институтов, начиная с прихода и заканчивая церковным Собором, даёт основание характеризовать Церковь как иерархию, попытки реформирования которой должны были наталкиваться на ожесточённое сопротивление. Следовательно, длительный процесс временного упразднения, восстановления, сохранения в реликтовом виде тарханов не должен интерпретироваться как реформа, ибо важнейшие качества реформы не свойственны этому процессу. Очевидно, что термин «реформа» может быть применён лишь к мероприятиям 1550–1551 гг.: упразднению тарханов в Судебнике и последовавшими затем пересмотром и утверждением жалованных грамот в 1551 г. В течение последующих 150 лет правительство пыталось адаптировать принципы этой реформы к реалиям социально-экономического устройства страны. Значит ли это, что в России XVI–XVII вв. реформы были возможны только в вышеописанном виде, т.е. могли осуществляться преимущественно путём исключений и отступлений от провозглашённых принципов?

---

[27] *Лисейцев Д.В.* Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М.; Тула, 2009. С. 155–235.

[28] Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси XIV – начала XVI в. (далее – АСЭИ). Т. 3. М., 1964. С. 18–19.

[29] *Павлов А.П.* Церковная иерархия в системе государственной власти в России XVI века // Religion und Integration in Moskauer Russland… P. 65–80.

Для ответа на этот вопрос обратимся к исследованию преобразований другого сегмента сферы финансов – системы налогообложения, которая в это же время подверглась интенсивному реформированию. Государство унаследовало от предшествующего периода архаичную систему налогообложения в виде сошного письма. Несмотря на очевидную этимологию слова «соха», сошное письмо до середины XVII в. не носило поземельного характера. Реально под одной сохой подразумевалось определённое количество дворов или селений, зависевшее от местных традиций и «посильности» налогов для местной экономики, однако единых норм сохи не существовало[30].

Большинство российских историков традиционно относили первую реформу сошного письма к началу 1550-х гг., но в работах Е.И. Колычевой ход реформы был заново изучен. Согласно её наблюдениям, впервые большая соха, состоявшая из 800 четвертей, появилась на дворцовых великокняжеских землях и зафиксирована в описаниях селений Суздальского и Тверского уездов в 1542–1544 гг. Это нововведение первоначально носило характер апробации, которая постепенно вводилась на землях, подконтрольных Большому и Тверскому дворцам. В середине 1550-х гг. большая соха была введена повсеместно. Столь же повсеместно, за исключением дворцовых владений, в качестве единицы измерения земли вводилась и четверть. Земли всех светских владельцев, как вотчинников, так и помещиков, а также дворцовые земли в центре страны, описывались сохой, в которую входили от 800 до 1200 четвертей земли в зависимости от качества последней. В то же время церковно-монастырские вотчины описывались сохой, включавшей от 600 до 800 четвертей земли, что увеличивало объём налогов, падавший на тяглую единицу. Однако тяжесть налогообложения для церковных земель компенсировалась тем, что церковные корпорации не несли военной службы и, как было показано выше, во второй половине XVI в. также продолжали получать иммунитетные привилегии[31].

Несмотря на внешне стройную систему поземельного налогообложения, сошное письмо не выдержало проверку Ливонской войной. Прогрессирующий рост налогов в 1560-х – начале 1580-х гг. обозначил вхождение государства в затяжной социально-экономический кризис, закончившийся гражданской войной начала XVII в. С.А. Нефёдов предположил, что этот кризис был вызван надломом прежнего экономического уклада и хозяйственным истощением районов старого освоения[32]. В рамках рассматриваемой проблематики наиболее интересен подход основоположника фискальной социологии Й. Шумпетера, указывавшего: «Когда существующие формы начинают отмирать или превращаться во что-то новое, они всегда влекут за собой кризис старых фискальных методов»[33]. Кризис налогового государства, продолжавшийся и после гражданской войны, стал причиной новой финансовой реформы.

В 1620-х гг. в Русском государстве осуществлялась реформа сошного письма, выразившаяся в появлении новой фискальной единицы – так называемой живущей четверти. Первый указ о введении «живущей четверти» появился в 1620 г., последний – в 1632 г. Смысл реформы состоял в том, что четверть,

---

[30] *Колычева Е.Н.* Указ. соч. С. 15–16.

[31] Там же. С. 21–24.

[32] *Нефёдов С.А.* Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. XV – начало XX в. Екатеринбург, 1996. С. 50–60.

[33] *Schumpeter J.* The Crisis of the Tax State // *Schumpeter J.* The Economics and Sociologi of Capitalism. Princeton, 1991. P. 101.

ранее измерявшаяся количеством обрабатываемой земли, стала определяться числом крестьянских и бобыльских дворов. Нормы «живущей четверти» были «плавающими» и включали от 2 крестьянских и 2 бобыльских до 12 крестьянских и 8 бобыльских дворов. Методом проб и ошибок к 1631 г. остались два разряда «живущей четверти», и реформа была завершена[34]. Реформа «живущей четверти» не предполагала перехода к подворному налогообложению; комбинации дворов по-прежнему входили в состав сох в традиционном объёме (от 600 до 1200 четвертей).

Несмотря на видимую нелогичность и сочетание противоречивых принципов, реформа доказала свою жизнеспособность и стала основой финансового восстановления государства. Т. Скочпол указывает на важность государственной способности собирать налоги для восстановления внутренней целостности державы[35]. Однако конец эпохи Средневековья в Европе повсеместно ознаменовался кризисом налогового государства, который Й. Шумпетер относил к времени после Тридцатилетней войны[36]. Россия, испытавшая монетный кризис 1650–1660-х гг., который вылился в «Медный бунт», не стала исключением и была вынуждена отвечать на этот вызов.

Если реформа «живущей четверти» смотрится как уникальное явление в правительственной политике 1620-х гг., характеризовавшейся судорожными усилиями власти по выходу из кризиса, то третья финансовая реформа приходится на время правления Фёдора Алексеевича. П.В. Седов утверждает, что в период царствования Фёдора, за исключением отмены местничества, не было реформ, «которые бы решительным образом изменили существовавшие принципы сбора податей, управления страной, организации армии, положения и роли Церкви». С тем, что при Фёдоре Алексеевиче не произошло существенных изменений в системе управления, военных и церковных делах по сравнению с порядками, установившимися при его отце, согласиться можно. Но тезис автора о почти полном отсутствии реформ, свидетельствующем об «отсталости и губительной изоляции» России, нуждается в коррекции[37].

К царствованию Фёдора Алексеевича относятся два нововведения, на десятилетия определившие констелляцию интересов правящих групп землевладельцев. Сказанное относится в первую очередь к финансовой реформе 1679–1681 гг., в ходе которой страна перешла к подворному налогообложению. Исследовавший фискальные преобразования в контексте борьбы придворных группировок за власть Седов считает, что результатом этой борьбы стали изменения в порядках взимания податей[38]. Однако «под воздействием придворной конъюнктуры» перекраивался не порядок взимания податей, а адресаты их поступления, приходные кассы приказов, действительно переходившие из рук в руки представителей правящей бюрократии. Подворный принцип взимания прямых налогов, несмотря на своё несовершенство, использовался еще 40 лет, вплоть до введения подушной подати.

Второе нововведение периода царствования Фёдора Алексеевича – начало описания 1681–1684 гг., которое, с одной стороны, продолжало принципы валового письма 1620–1630-х гг., а с другой стороны, – межеваний земель,

---

[34] *Веселовский С.Б.* Сошное письмо. Т. 2. М., 1916. С. 415.

[35] *Skocpol T.* States and Social Revolutions. Cambridge, 1979. P. 285.

[36] *Schumpeter J.* Op. cit. P. 102–108.

[37] *Седов П.В.* Указ соч. С. 555.

[38] Там же. С. 345.

оказавшееся в центре внимания правительства, роднят это описание с аналогичными мероприятиями XVIII в., продолжавшимися вплоть до Генерального межевания. Можно считать, что в 1680-х гг. было положено начало административной практике, непосредственно касавшейся почти каждого землевладельца и длившейся почти столетие. Как финансовые, так и писцово-межевые преобразования царя Фёдора обладали главным качеством реформы – продолжительностью действия или проявления их последствий.

Недостатки подворного принципа взимания прямых налогов приводили к замедлению разделов дворов, к сокрытию реального количества налогоплательщиков, но результатом стал резкий рост доходов и возможность содержать мощную армию. П.Н. Милюков показал на цифрах росписи доходов 1680 г., что подворная подать стала устойчивым источником налоговых поступлений для государства. Бюджет 1680 г. был сверстан с профицитом; из 2.5 млн руб. доходов на армию было потрачено не более 700 тыс. руб., и остаток перешёл в бюджет 1681 г.[39] Финансовая реформа 1679–1681 гг., видимо, впервые за столетие позволила государству создать аналог современного стабилизационного фонда. Строго придерживаясь принципа экономии («чтоб сборы за сборы заходили»), руководство финансовых приказов перечисляло количественно возраставшие остаточные суммы в бюджет следующего года.

Несмотря на повышенные расходы во время русско-турецких войн 1687–1689 и 1695–1696 гг., а также возраставшие расходы на строительство Азовского флота, переходивший в бюджет следующего года остаток за 20 лет вырос с 407 тыс. руб. в 1680 г. до 3.9 млн руб. в 1703 г. Милюков показал, что на протяжении 1704–1709 гг. – наиболее напряжённых лет Северной войны – государство покрывало дефицит бюджета исключительно за счет этого «стабилизационного фонда»[40]. Общеизвестно, что крайнее фискальное напряжение первого десятилетия XVIII в. привело к истощению платёжеспособных сил народа, и подворная подать не смогла предотвратить этого результата. Однако, как показал Й. Шумпетер, европейские налоговые государства раннего Нового времени могли разрешить свои геополитически обусловленные фискальные дилеммы лишь введением новых налогов или изменением фискальной системы[41]. Петровская реформа не могла не завершиться переходом к подушному обложению, милитаризовавшему бюджет и упростившему налоговую систему. Но введение подушного налогообложения отнюдь не свидетельствует об изначальной ущербности реформы 1679–1681 гг. Таким образом, второй тип реформ в России XVI–XVII вв. представляет собой осуществлявшиеся в течение нескольких лет мероприятия, изменявшие порядок системы налогообложения, который утверждался на 40–70 последующих лет, пока очередной финансовый кризис не вызывал к жизни новые преобразования.

Третий тип реформ рассмотрим на примере преобразований местного управления. В системе властных институтов помимо иерархий можно условно выделить сегменты или секторы, не находящиеся в строго иерархическом подчинении у вышестоящих властных структур. Именно таким сегментом института местного управления в Русском государстве XIV–XVI вв. была система кормлений. Представляя собой одновременно пожалование доходов и служебное поручение, кормление волостеля, наместника или получателя другой

---

[39] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 74–76.

[40] Там же. С. 176–179.

[41] *Schumpeter J.* Op. cit. P. 102–108.

должности не являлось элементом феодальной иерархии. Иерархия в виде княжеской власти, с одной стороны, и системы привилегированных светских и церковных вотчин, с другой, существовала рядом с институтом кормлений. Кормленщик чаще всего должен был считаться с действующей иерархией привилегированных вотчин («волостели и наместники наши кормов не емлют»), но в ряде случаев он имел право судить уголовные преступления, совершённые на территории вотчины («душегубство, разбой и татьба с поличным»), а в исключительных случаях осуществлял в отарханенных вотчинах всю полноту своей власти. Так, по жалованной кормлёной грамоте 1462–1485 гг. Иван III предоставил ростовскому боярину Илье Борисовичу право судить и взимать кормы с вотчин всех землевладельцев, у кого имелись великокняжеские тарханные грамоты («грамотников»)[42].

С.Б. Веселовский характеризовал систему кормлений как «нормальную форму управления» при помощи наместников и волостелей, которые были «универсальными органами княжеской власти». В кормление давались должности наместников, волостелей, а также разнообразные доходные статьи – право держать тиунство, правду, ключ, собирать ясельничее, бражное, бобровое и т.д.[43] Доходы наместников и волостелей фиксировались в двух видах документов: уставной грамоте наместничьего управления, которая выдавалась населению, и доходных списках, которые, применительно к первой половине XVI в., целесообразно именовать жалованными грамотами[44]. Изложенные в уставных грамотах принципы оставались неизменными до 1550-х гг. и предполагали взимание с населения въезжего и трех праздничных кормов, исчисленных в натуральном (иногда в денежном) выражении. Рассмотрим принципы кормления, отразившиеся в уставных грамотах и доходных списках. Порядок кормлений по ранним жалованным грамотам 1500–1509 гг. Осорьиным, князю Козловскому, Коробьину представлял собой периодическое (на Рождество, Пасху и день святых Петра и Павла) взимание натуральных поборов отдельно с частновладельческих и отдельно с черносошных земель[45]. В боярских и монастырских землях единицей обложения была соха, приравненная к шести деревням в черносошных землях. Грамоты предполагали возможность выплаты наместникам корма в денежном эквиваленте, если он им будет «не люб».

Несмотря на повсеместность описанной практики, единой системы взимания кормов в Русском государстве не сложилось. Выгоднейшими с доходной точки зрения кормлениями были волости и посады промысловой специализации, в особенности связанные с солеварением, развитым, например, в Старой Руссе и Мореве Новгородской земли, Соли Великой и Малой, Соли Галицкой Костромского уезда. Товарное производство соли давало возможность местным общинам выплачивать кормы в денежном эквиваленте. Согласно жалованной грамоте 1528 г. на Соль Малую, волостель Г.Д. Кобяков наделялся кормами, почти полностью пересчитанными на деньги (коммутированными): «Емлет в год на три праздники – на Рожество, на Велик день, на Петров день – по полу-

---

[42] Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII в. (далее – АСЗ). Т. 1. М., 1997. № 70. С. 58.

[43] *Веселовский С.Б.* Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. С. 114, 263–280.

[44] *Антонов А.В.* Из истории великокняжеской канцелярии // Русский дипломатарий. М., 1998. С. 99–100.

[45] АСЭИ. Т. 1. М.; Л., 1952. С. 150, 202; АСЗ. Т. 4. М., 2008. С. 171.

четверта рубля на празник»[46]. Новые принципы управления на местах успешно приживались там, где власть кормленщиков сохранялась в полном объёме. Праздничные кормы были пересчитаны на деньги в уставной грамоте Устьянским волостям 1539 г.: «И всего волостелю, и его тиуну, и доводчику корму, и праведчикова побору в год на три праздники со 119 деревень 1 485 бел, а деньгами 15 рублев без пяти алтын и без деньги». В дворцовых селах администрация осуществляла коммутацию кормов уже в 1540-х гг. Кормы великокняжескому посельскому села Андреевского Звенигородского уезда по уставной грамоте 1544 г. выплачивались исключительно в деньгах: по две деньги с выти[47].

Система кормлений по способу организации власти может быть охарактеризована как традиционное господство, типология которого была предметно описана М. Вебером. Оно характеризуется рекрутированием административного аппарата из числа рабов и «домашней прислуги, в особенности министериалов»[48]. Административный аппарат наместников и волостелей (тиуны, доводчики, праветчики), как правило, комплектовался из числа холопов. Будучи уполномоченными осуществлять судебные прерогативы, тиуны и другие администраторы получали специальные кормы, выплачивавшиеся им за выполнение «экстрапатримониальных» функций. Вебер выводил эти функции из «произвольного усмотрения господина», которое в дальнейшем «стереотипизируется с помощью традиции»[49]. Кормления были фундаментальным принципом обеспечения административного аппарата управления на Руси в XIV–XVI вв. и подходят под определение «пребенды» – доходов и имущества, предоставляемых за исполнение обязанностей, связанных с занимаемой должностью. Вебер считал возможным именовать такую систему пребендализмом, считая её крайней формой ленной системы вознаграждения за службу[50].

Таким образом, русские земли унаследовали от удельных времен сложную иерархическую систему местного управления, подвергшуюся структурным преобразованиям в 1550-х гг. Сущность преобразований состояла в замене кормов, выплачивавшихся населением непосредственно кормленщику, фиксированным откупом, который отправлялся в государственную казну и распределялся среди бывших кормленщиков в виде денежного жалованья. На первом этапе, в 1551–1552 гг., уставные грамоты, отменявшие власть кормленщиков и вводившие налоговое и судебное самоуправление, получили лишь отдельные волости и посады Замосковного края и черносошного Севера, в частности Плёс, Малая Пинега, Выя, Сура Поганая и Важская земля. Согласно земским уставным грамотам, пинежане должны были платить в казну 100-рублёвый, а важане – 1 500-рублёвый откуп, «приехав к Москве с тем оброком»[51]. Временная «отставка» реформы, вызванная успешным Казанским походом, осенью 1554 г. сменилась тянувшимся до начала 1556 г. переводом на откуп волостей и посадов в северо-западных и северных землях. В центральных уездах реформа в основном была проведена в 1555 г., когда большинство кормленщиков покинули свои присуды, добирая неполученные кормы в казне.

---

[46] АСЗ. Т. 4. № 212. С. 157–158.

[47] Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства. М., 1909. С. 25–31.

[48] *Вебер М.* Традиционное господство // Прогнозис. 2007. № 2. С. 152.

[49] Там же. С. 153.

[50] Там же. С. 159.

[51] Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 188–197; Наместничьи, губные и земские уставные грамоты. С. 103–113.

В «Приговоре о кормлениях и службах», изданном не позднее весны 1556 г., не было статьи о ликвидации кормлений. Из текста «Приговора» следует, что государство лишь заявляло о своём намерении стать посредником в отношениях между кормленщиками и тяглым населением с целью превратить кормление из «покоя» в службу. В разделе приговора «О повелении царском» суть реформы изложена лишь как распоряжение о наделении земских старост и целовальников полномочиями по борьбе с разбоями и сбору с посадов и волостей оброков (кормлёного окупа) для обеспечения служилого сословия: «И повеле царь во градех и в волостех расчинити старосты, и соцкие, и пятидесяцкие, и десяцкие, и страшным и грозным запрещением заповедь положити, чтоб им разсужати промеж разбои, и татьбы, и всякие дела, отнюдь бы никоторая вражда не именовалася, также ни мзда неправедная, ни лживое послушество. А кого промеже собою лиха найдут, таковых веле казнем предавати. А на грады и на волости положи оброки по их промыслом и по землям, и те оброки збирати к царским казнам самим дьяком. Бояр же, и вельмож, и всех воинов устроил кормлением, праведными уроки, ему же достоит по отечеству и по родству, а городовых в четвертый год, а иных в третей год, денежным жалованием»[52].

Невзирая на отсутствие в «Приговоре» распоряжения о ликвидации кормлений, две их разновидности в ходе реформы были отменены. Во-первых, практически повсеместно упразднялись волостели. 8 августа 1554 г. была выдана кормлёная грамота на волости Инобож и Вольга, после чего грамоты на кормления в волостях стали выдаваться лишь в порядке исключения, как, например, Е.Д. Бахметеву на волость Собакино в 1562 г. в качестве компенсации «за взятое вотцкое кормленье». Во-вторых, после 6 марта 1555 г., когда И.К. Садыков получил полавочное в Костроме, перестали выдаваться кормлёные грамоты на отдельные доходы[53]. В то же время институт наместников во многих городах сохранился или был восстановлен, что свидетельствует о трёх типах реформирования структур местного управления.

Первый тип системы местного управления сформировался в волостях и на посадах Северо-Запада Русского государства. С 1 сентября 1555 г. кормления в новгородских и псковских пригородах ликвидировались, а реформа самоуправления в них воплотилась в передаче власти выборным земским старостам, делившим судебные и административные полномочия с городовыми приказчиками. Земские преобразования 1550-х гг. в Новгороде и Пскове обладали определённой спецификой, выражавшейся в сохранении наместников и «больших старост», и не носили завершённого характера. Функции земского самоуправления среднего административного уровня (городские концы и уездные засады) в основном были сосредоточены в налогово-финансовой сфере. Исследование документов 1556–1579 гг. показало, что первоочередной задачей земских структур в Пскове стали разверстка и взимание государственных и земских повинностей, именно поэтому низшие должности в земских учреждениях заняли сотские в городе и «земле»[54].

Второй тип земских учреждений сформировался в большинстве административных центров и уездов Замосковного края: Вологде, Белоозере, Ярославле,

---

[52] Законодательные акты русского государства второй половины XVI – первой половины XVII в. Тексты. Л., 1986. № 11. С. 37–38.

[53] АСЗ. Т. 4. № 11. С. 11; № 20. С. 18; № 410. С. 302.

[54] *Аракчеев В.А.* Земская реформа XVI в.: общероссийские тенденции и региональные особенности // Отечественная история. 2006. № 4. С. 3–11.

Бежецком Верхе, Владимире, Суздале, Переяславле-Залесском, Рузе, Московском уезде, Галиче, Коломне, Кашине, Вязьме, Малоярославце, Медыни. Там институт наместников был упразднён и передан выборным старостам, но вскоре власть кормленщиков сменилась «приказными людьми», большей частью губными старостами. Третий вариант развития системы земского управления являет собой Поморье, где, в отличие от большей части территории страны, наместники были ликвидированы безвозвратно, и на протяжении второй половины XVI–XVII вв. функционировала разветвленная система уездных и волостных земских учреждений. Государство сохраняло свой контроль над земскими старостами и судьями Поморья, но поскольку население северных волостей и посадов имело одинаковый социальный состав, там оказалось возможно создать всеуездные земские организации, обладавшие значительными административными и фискальными полномочиями[55].

Значит ли это, что, согласно схеме земской реформы, предложенной Б. Дэвисом, система местного управления находилась в «переходном (промежуточном) состоянии, поразительно разнообразном и несистематизированном, с городовыми и уездными наместниками и другими кормленщиками, криминальной юстицией и выборными органами самоуправления, городовыми приказчиками и воеводами, осадными головами, дьяками, дворецкими, или комбинацией этих должностных лиц»[56]? Полагаю, что к земской реформе может быть приложена концепция инновационных усилий А. Левина, выделившего вариант развития, при котором создаются анклавы, когда реформированная единица действует более или менее изолированно в структуре более крупной организации[57]. Если понимать под земской реформой создание именно такой системы анклавов, следует признать её результативной и в определённой мере завершённой.

В ходе реформ 1550-х гг. процесс самоуправления в волостях и посадах был бюрократизирован и документирован, что свидетельствовало о начинавшемся переходе к современной системе управления. Однако преувеличивать степень модернизации системы местного управления не следует. Как известно из источников XVII в., земские избы функционировали на основе принципа коллективного контроля за доходами и раскладкой налогов со стороны корпуса равных. По М. Веберу, такой контроль свойственен традиционному авторитету[58]. К тому же административная практика XVI в. не перестраивала, а как бы надстраивала здание власти; изменения вводились посредством одной важной реформы и дополняющих её второстепенных мероприятий. Так, земской реформе 1550-х гг. сопутствовали регламентировавшее поместную систему «Уложение о службе» и проверка тарханов в 1551 г.

Исследованные в данной статье преобразования XVI–XVII вв. не могли осуществляться абсолютно спонтанно; у них должны были быть вдохновители и идеологи, а также кадры администраторов, воплощавших эти новации на практике. Метафору П.Н. Милюкова «реформа без реформатора», которой он

---

[55] *Аракчеев В.А.* Опричнина и земщина: к изучению административной практики в Русском государстве 1560–1570-х гг. // Российская история. 2010. № 1. С. 16–29.

[56] *Davies Brain L.* The Town Governors in the Reign of Ivan IV // Russian History. 1987. Vol. 14. № 1–4. P. 78.

[57] *Levine A.* Why Innovation Fails. N.Y., 1980.

[58] *Weber M.* Theory of Social and Economic Organization. N.Y., 1947. P. 392–407.

обозначил ход преобразований Петр I[59], можно распространить и на предшествующие столетия, но не в иносказательном, а прямом смысле: нам неизвестны имена разработчиков реформ XVI–XVII вв. Парадокс состоит в том, что программа реформ единственного известного нам «прожектёра» второй половины XVII в. А.Л. Ордина-Нащокина так и не была реализована на практике[60].

Проблему существования программы реформ наиболее плодотворно можно рассмотреть на материалах сочинений И. Пересветова и царских вопросов к Стоглавому Собору. Сочинения Пересветова дошли до нас в списках XVII в.; часть текстов, приписанных ему, была составлена позднее. Однако безусловно атрибутированы Пересветову две челобитных, одна из которых – «Большая челобитная» – содержит ряд идей, традиционно интерпретировавшихся как программа реформ[61]. Структурно «Большая челобитная» представляет собой запись «речей» волоского воеводы Петра на тему падения Византии и угроз для Русского государства, перечисленных в перечне «неодобряемых» реалий российской жизни. Одной из главных угроз, по мысли Петра и Пересветова, является система кормлений: «И того он не одобряет, когда впускают в царство свое усобицы, дают города и области в управление своим вельможам, а вельможи на слезах и крови рода христианского богатеют от бесчестных поборов, а как оставят кормление с волостей, то при несправедливостях решают споры полем, и тут на обе стороны много ложится греха». Существенный порок социальной системы Византии, которая проецируется на Россию, Пересветов усматривает в рабстве: «Если какая земля в порабощении, все зло творится в этой земле: воровство, разбой, притеснения, великое разоренье всему царству»[62].

Альтернативой русским порядкам, по мнению воеводы Петра, является система управления «царя турского Махмет-салтана», который «по всему царству своему разослал верных себе судей, обеспечив их из казны жалованьем, на какое можно прожить в течение года, суд же он устроил гласный, чтобы судить по всему царству без пошлины, а судебные сборы велел собирать в казну на свое имя, чтобы судьи не соблазнялись, не впадали в грех и Бога не гневили, а если наградит он какого вельможу за верную службу городом или областью, то пошлет к своим судьям и велит выплатить тому по доходной росписи единовременно из казны». На вопрос Петра и Пересветова о наличии «правды» в Московском царстве дан однозначный ответ: «Вера христианская добра, во всем совершенна, и красота церковная велика, а правды нет»[63]. Дилемма между верой и правдой христианской занимала умы историков еще в начале XX в., и тогда же В.Е. Вальденберг предпринял попытку разрешить эту проблему: «Правда для Пересветова не есть какое-нибудь отвлечённое понятие без определённого содержания; под правдой он разумеет христианский закон», которого царь обязан придерживаться в управлении государством[64].

А.А. Зимин предложил более широкое и неоднозначное толкование понятия «правда»: во-первых, под правдой он понимал мудрость правителя, а во-вторых, «совокупность общественных преобразований, направленных к созда-

---

[59] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 542–543.

[60] *Ключевский В.О.* Сочинения в 9 томах. Т. III. М., 1988. С. 314–330.

[61] *Зимин А.А.* И.С. Пересветов и его современники. М., 1958. С. 340–384.

[62] Сочинения Ивана Семёновича Пересветова / Подгот. текста М.Д. Каган-Тарковской, перевод А.А. Алексеева, коммент. Я.С. Лурье // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. СПб., 2006. С. 437, 447.

[63] Там же. С. 437–441.

[64] *Вальденберг В.Е.* Древнерусские учения о пределах царской власти. М., 2006. С. 271.

нию совершенного государственного строя, в котором найдут осуществление дворянские требования». Зимин, таким образом, полагал, что в религиозной форме публицист выражал вполне светские идеи[65]. А.Л. Юрганов не усматривает в сочинениях Пересветова не только программы преобразований, но и идеи торжества закона. Сопоставив представления Пересветова и М. Лютера, он предложил иную трактовку понятия «правда» и пришёл к выводу об эсхатологическом смысле понятия «правды», тождественной Христу, через которого только и возможно спасение христианина. Юрганов категорически отвергает представление о сочинениях Пересветова как о проектах реформ, выдвигая идею утопизма представлений их автора «об идеальном государстве, создающем православное общество»[66].

Характеристика сочинений Пересветова как утопии в корне противоречит сформировавшимся в европейской науке представлениям о сущности утопического типа мышления. Согласно типологии К. Манхейма, такой тип мышления характеризуется критическими по отношению к реальности символами и идеями. Утопия – это общество с идеальной организацией, контролирующей несовершенных людей, и отлаженным на века механизмом. Утопии Манхейм противопоставляет апологетическую по отношению к реальности идеологию[67]. Таким образом, согласно концепции Манхейма, государство и общество, изображенные у Пересветова, это не утопия, а теократия как разновидность идеологии. Теократия идеального правителя, добродетельного и справедливого, не может быть основана ни на чем другом, как на вере и правде.

Если считать идеи Пересветова идеологией, появляются основания сопоставить их с так называемыми царскими вопросами, приписываемыми Ивану IV и датируемыми февралем 1550 – февралем 1551 г.[68] М.М. Кром полагает, что и «речь» Ивана IV (преамбула к «царским вопросам»), и сами вопросы осмысляли любые изменения как возврат к законам, существовавшим при прежних государях, а также как приведение их в соответствие с апостольскими правилами и учением отцов Церкви. По мнению автора, в тексте «царских вопросов» отсутствуют замыслы радикальных реформ и тем более их систематическое изложение[69]. Ни речь царя, ни «царские вопросы», безусловно, не содержат постановки определённых целей, которые могли бы стать легитимирующей доктриной реформ. Разбросанные по тексту, слабо интегрированные и размытые совокупности идей не являются программой преобразований даже в сравнении с проектами реформ Петра I.

В то же время проявляющаяся в тексте «царских вопросов» идеология имеет явные признаки тождества с идеологией сочинений Пересветова. Так же, как и в «Большой челобитной», в царской речи акцент делается на идее компромисса, торжества закона и справедливости. Во-первых, Иван IV констатировал факт примирения между боярами, приказными людьми и кормленщиками и всеми христианами (всеми землями) «во всех делах». Очевидно, здесь имеются в виду затяжные судебные иски, не имевшие иных перспектив разрешения, кроме осуждённого Пересветовым судебного поединка («поля»). Во-вторых, царь отчитался о составлении и утверждении (возможно, на Земском Соборе)

---

[65] *Зимин А.А* Указ. соч. С. 340–384.

[66] *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 79, 104, 228.

[67] *Манхейм К.* Диагноз нашего времени. М., 2004. С. 164–219.

[68] Памятники русского права. Вып. IV. М., 1956. С. 576–580.

[69] *Кром М.М.* Религиозно-нравственное обоснование.... С. 54–57.

Судебника 1550 г., устранившего почву для коррупции («посулов») «во всяких делех». В-третьих, Иван IV говорил об устройстве в соответствии со статьями нового Судебника по всем административным единицам страны «старост и целовальников», обязанных присутствовать в суде волостелей и наместников в качестве присяжных заседателей. Судебник и уставные грамоты, утвержденные «по правилом святых апостол и святых отец», и должны были гарантировать правителю соблюдение чаемой Пересветовым «правды»[70].

«Царские вопросы», разумеется, не содержали программы реформ, однако нетрудно заметить, что они затрагивали такие проблемы повседневной жизни представителей служилого и городского населения, как обеспечение семей служилых людей землёй, условия продвижения по службе (проблема местничества), существование церковных слобод на посадах, корчем и таможенных пошлин[71]. Если усматривать в этих вопросах идеологию действий власти, разумеется, обоснованную отсылками к апостольским и святоотеческим текстам, то становится очевидным, что определённое осмысление своих действий правящий класс середины XVI в. осуществлял. Тот факт, что это осмысление велось не в рамках систематически разработанной парадигмы или программы, не отменяет представления о преобразованиях в России этого времени как о реформах.

Традиционное представление о реформах в России зиждется на противопоставлении «периодов реформ» и «периодов реакции». Так, 1550-е гг. в историографии осмысляются как время реформ, период опричнины – как откат к беззаконию и произволу, безвременье Смуты и восстановления государственности при царе Михаиле сменяются новым периодом реформ царя Алексея Михайловича, заложивших основу для преобразований Петра Великого. Однако три направления преобразований, изученные в данной работе, показывают, что эти новации не всегда увязывались современниками в единое целое, а сами принципы реформ зачастую реализовывались на практике на протяжении полутора столетий, как это было с отменой тарханов. В этом заключалась существенная особенность реформ XVI–XVII вв.

История реформ в России этого времени важна и как индикатор периодизации – отнесения этого периода к эпохе Средневековья или началу раннего Нового времени. Как известно, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский и многие российские историки XX в. отсчитывали «новый период» истории России с середины XVII в. П.В. Седов, подвергший детальному анализу административную практику последней трети XVII в., полагает, что этот период был «закатом» эпохи Средневековья в России[72]. Но, как показано выше, ряд нововведений царствования Фёдора Алексеевича, которые Седов отказывается считать «кардинальными реформами», видя в них «проекты», либо «косметические изменения», были несомненными реформами. Закладывая основы землевладения, податной политики, отношений внутри элиты, преобразования Фёдора Алексеевича, наряду с изменениями в политике Алексея Михайловича, обозначили начало нового этапа в истории России.

Реформа не всегда призвана упразднять архаичные структуры, но, как правило, нацелена на улучшение их функционирования. Реформа предполагает компромисс между противоборствующими интересами, и здесь прослеживает-

---

[70] Российское законодательство в 9 томах. Т. 2. С. 267.

[71] Памятники русского права. С. 576–580.

[72] *Седов П.В.* Указ. соч. С. 551.

ся явное отличие преобразований Фёдора Алексеевича и Петра I. Петровские преобразования навязывались силой, их целью был переворот в укладе жизни и сознания, и в этом смысле они сродни революции. Не обладая научной точностью, уподобление петровских реформ революции подчеркивает их уникальность в сравнении с предшествующими и последующими преобразованиями и, разумеется, ни в коей мере не означает, что петровские реформы среди них более «прогрессивные». Сопоставляя революции в науке и обществе, В. Гейзенберг указывал на опасность революций, поскольку «при этом возникает опасное стремление к произвольным изменениям даже там, где законы природы полностью исключают возможность изменений». В то же время реформаторы, которые стремятся изменить как можно меньше, закладывают фундамент для существенных изменений в обществе[73].

Сравнение П.В. Седовым правительственной политики Фёдора Алексеевича и Петра I в ряде случаев преувеличивает архаизм многих явлений последней трети XVII в. и модернизирует некоторые явления петровской эпохи. Это касается прежде всего представлений о системе власти, которую в последней четверти XVII в., по мнению Седова, «определяли не элементы централизации, бюрократизации, а прежняя средневековая практика личного приказа-поручения. Царские указы вершились "словом" влиятельных придворных, и зачастую у них на дому, а не в приказах»[74]. Однако и петровские реформы приобрели регулярный характер лишь во втором десятилетии XVIII в., с образованием коллегий и провинций. Управление же отдельными отраслями государственного хозяйства в начале XVIII в. осуществлялось именно личными приказами-поручениями и как раз на дому. Классический пример такой практики представляет собой Ижорская канцелярия, функционировавшая с 1704 г. на дворе князя Меншикова в Семёновском, служителями которой были приказчики «светлейшего», фактически его дворовые люди, собиравшие по его слову оброки с дворцовых земель и ясак в ведомстве Казанского дворца[75]. Где же здесь централизация и бюрократизация?

Нет уверенности, что такую административную практику следует трактовать как средневековую. Даже во Франции XVII–XVIII вв. система управления недалеко ушла от принципа личных поручений: в эпоху Людовика XIV четыре государственных секретаря объединяли в своих ведомствах такие разнородные объекты управления, как, например, налогообложение, средиземноморский флот и восемь провинций, которыми управлял один госсекретарь – Летелье. Должность третьего госсекретаря до 1663 г. была поделена между отцом и сыном Бриеннами[76]. Административные службы генерального контролёра в период министерства Тюрго в 1770-х гг. распределялись между шестью интендантами финансов, работавшими у себя на дому. Как писал Э. Фор, «каждый подчинённый устраивает в своём доме маленький кусочек министерства»[77]. Приказ-поручение монарха доверенному лицу может органично сочетаться с бюрократическим принципом выполнения этого приказа штатными чиновниками на жалованье, как это было и в России при Фёдоре Алексеевиче.

---

[73] *Гейзенберг В.* Избранные философские работы. СПб., 2006. С. 141–142.
[74] Там же.
[75] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 529.
[76] *Блюш Ф.* Людовик XIV. М., 1998. С. 111–112.
[77] *Фор Э.* Опала Тюрго. М., 1979. С. 82.

Изложенные соображения побуждают с должным вниманием отнестись к аргументации Р. Мартина, исследовавшего матримониальную политику русского царского и императорского дворов на протяжении XVI–XVIII вв. Вывод американского русиста об однородности брачной политики этого времени позволил ему охарактеризовать три столетия, с 1505 по 1797 г., как период «раннего Нового времени»[78]. Полагаю, что 1505 г. как дата смены монарха на троне не может служить границей эпох, но сам период первой половины XVI в., несомненно, демонстрирует новые черты в организации государственной и общественной жизни. Во всяком случае, проведённое мною исследование реформ в России убеждает в том, что начало этого периода следует отнести к середине XVI в., когда в недрах государственных институтов зародилась идеология исправления практики властвования и стали осуществляться первые преобразования.

Сказанное не означает, что до середины XVI в. реформы на Руси не проводились. В частности, республиканские институты Новгорода могут служить поучительным примером эффективности взаимодействия общества и государства: именно в Новгороде была осуществлена первая в истории Руси полноценная политическая реформа – преобразование посадничества по инициативе Онцифора Лукинича в 1350/51 г.[79] Однако практика реформирования властных институтов в вечевых республиках резко отличалась как от синхронной ей системы властвования в княжествах Северо-Восточной Руси, так и от позднейших практик, принятых в едином государстве, и нуждается в специальном исследовании.

[78] *Martin R* The Petrine Divide and the Periodization of Early Modern Russian History // Slavic Review. 2010. № 2. P. 410–425.

[79] *Янин В.Л.* Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. С. 222–234.

Земля, крестьянин и воля: Русский Север XVII века (О новой монографии Е.Н. Швейковской)

Ольга Новохатко

В последние два-три десятка лет в российской историографии изучение истории крестьянства явно отодвинулось на второй план в сравнении с изучением истории государственного аппарата, властных структур, особенно их высших слоёв. Отчасти это вполне объяснимо – в советский период «производительным силам» с их «производственными отношениями» было уделено чрезмерное внимание, накопилась некоторая усталость от темы. Однако и в советское время, и сейчас было ясно, что история русского крестьянства весьма далека от понимания, что в изучении этой темы остаётся ещё очень много лакун. При этом проявляется имевшаяся и ранее негативная особенность отечественной историографии, по крайней мере, что касается Средневековья и Нового времени – это разрыв в изучении государственных структур, с одной стороны, и жизни крестьян и посада – с другой, которые как будто существуют сами по себе, практически не взаимодействуя, не соприкасаясь друг с другом. Точнее

© 2014 г. О.В. Новохатко

сказать, рассматривались в основном только случаи их противостояния – в усилении налогового бремени, в городских восстаниях и крестьянских войнах.

Конечно, много фактов для осмысления и переосмысления проблем истории «народных масс» предоставили новые, опубликованные за последние годы источники. Но в первую очередь, если можно так сказать, недоосвоенность истории крестьянства происходит от специфики подхода к изучению указанной темы, т.е. от вопросов, задаваемых источникам, как давно известным, так и только что введённым в научный оборот.

В этом отношении совершенно новое, свежее и яркое явление представляет собой книга Е.Н. Швейковской[1]. Главное отличие данной работы от многих предыдущих, посвящённых той же проблеме, – это именно взгляд на исследуемый объект с новой точки зрения. Здесь мы видим, как земский мир жил в государстве – не как должен был бы жить по-писанному, а жил реально, каждый день, каждым крестьянином из глухой северной деревни. Собственно, об этом говорит автор во «Введении»: «Предпринимаемое исследование диктует свои требования к источниковой информации, которая добывается не путём увеличения её количества, а за счёт качественно иного, чем это практиковалось в историографии ранее, набора задаваемых источникам вопросов» (с. 11).

Работа построена по принципу расходящихся концентрических кругов. За центральную, отправную точку принята крестьянская семья с её местом обитания – двором, от которой нити взаимоотношений протягиваются сначала к ближайшему окружению – родственникам и соседям по деревне, затем шире – к волости, уезду, уездному городу с их мирскими и государственными административными структурами.

На страницах книги, практически как в документальном фильме, предстаёт реальная каждодневная жизнь русского крестьянина. При этом Е.Н. Швейковская не стремится ни к скрупулёзному бытописанию, ни к широким статистическим обобщениям. Всё её внимание уделено тончайшим, подчас едва уловимым механизмам жизнедеятельности семьи, родственной группы, общинных миров разных уровней, связям как внутри этих социумов, так и между ними (например, между семьёй и родственниками, семьёй и деревней, деревней и волостным или уездным миром, миром и воеводой и т.п.). Такой подход к теме оказался чрезвычайно плодотворным.

Прежде всего автору удалось, на мой взгляд, разрешить вопрос о величине, составе крестьянской семьи XVI – начала XVIII в. – была ли она малой (индивидуальной, нуклеарной) или большой (сложной, неразделённой, разветвлённого состава). Е.Н. Швейковская убедительно, на богатом источниковом материале показала, что крестьянская семья той эпохи (как, впрочем, любой другой), подчиняясь неумолимым законам как социальной психологии, так и экономики, постоянно «пульсировала» между индивидуализмом малой семьи, стремлением жить в разделе с родственниками – и необходимостью в тяжёлых жизненных условиях сплачиваться, объединять людские и материальные ресурсы рода.

Как на киноплёнке, перед читателем проходят этапы освоения крестьянами северорусских земель: медленное продвижение отдельных семей среди необъятных лесов, болот, вдоль рек и речушек, наступление на лес и прибрежные земли, отступление из-за их размыва половодьем и тяжести обработки неплодородных почв, затем вновь освоение покинутых участков. И результат – мно-

---

[1] *Швейковская Е.Н.* Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века. М.: Индрик, 2012. 368 с.

жество полос земли разной степени освоенности, многочисленные постройки крестьянских дворов, жилые и хозяйственные. Недаром в поземельных сделках крестьян с такой тщательностью и, как кажется, гордостью перечислены избы, клети, овины, сенницы, житницы, обязательно – бани, а также прочая недвижимость – свидетельство огромного вложенного труда, терпения, опыта, знаний и – успеха.

Представленные Е.Н. Швейковской материалы показывают, что многие хозяйственные постройки (кроме перечисленных выше также колодцы, мельницы и даже часовни) в деревне находились в совместной собственности родственников и соседей (с. 166, 167, 171, 174, 175). В условиях Русского Севера возможность окультурить земли, раскинувшиеся на сотни километров непроходимых лесов, выжить в суровых природных условиях основывалась только на совместном труде, на взаимопомощи; стремление к индивидуализму здесь было трудно осуществимо. В то же время бесчисленные починки, выселки, отделения взрослых детей от родителей и разделы братьев свидетельствуют о неуклонном стремлении к обособленности. Можно сказать, что природа, сдерживая частнособственнические устремления, постоянно удерживала баланс между общинным и частным векторами в жизни крестьян.

Что касается трудных времён, то сложно представить себе что-либо производящее на читателя большее воздействие, чем анализ влияния петровских мобилизаций в армию и в строящийся Санкт-Петербург на демографию крестьянства Русского Севера. Разумеется, приборы крестьян в стрельцы и в солдаты происходили и ранее, однако воздействие их на состав крестьянских семей «было качественно иным, нежели при рекрутских наборах первой четверти XVIII в.» (с. 56), что объяснялось масштабами, а также частотой последних. В допетровской России власть не ставила перед страной столь непосильных для неё внешнеполитических задач и осознавала, что перенапряжение народных сил может привести к их истощению и к разорению государственной казны. Воеводам, производившим набор стрельцов или солдат в уездах, разъяснялось, что новобранцев следует «имати от семьянистых людей», «чтоб у тех людей, у которых взяты будут в стрельцы, жеребьи их пашни в пусте не были бы». Петровские же неограниченные мобилизации в армию и на строительство новой столицы привели к существенному воздействию на структуру и численность крестьянских семей и, таким образом, на демографию в целом. Из семей изымали самых трудоспособных членов – мужчин, причём общины и землевладельцы старались отдавать неженатых, что, естественно, сказывалось на будущей демографической ситуации. Однако нередко мобилизовали и женатых мужчин, без которых женщины и дети, не имея сил прокормиться, покидали общину, «скитались в мире» и зачастую умирали (с. 88). Отмеченное исследователями изменение в структуре крестьянской семьи в начале XVIII в. в сторону усложнения и увеличения её состава за счёт неразделённости родительских и братских семей являлось ответной реакцией крестьян на ослабление хозяйственного потенциала семьи в результате мобилизаций.

Е.Н. Швейковская впервые установила, что в публично-правовом актовом материале XVI–XVII вв. (в отличие от повседневного бытования) отсутствует термин «семья». При необходимости зафиксировать сведения о крестьянской семье составители актов перечисляли членов семьи, называя степени родства между ними (отец, мать, сын, дочь, зять, брат и т.п.). Такой дифференцированный подход в восприятии семьи указывает на то, что принадлежность к

роду в целом, «племени» как непрерывной череде поколений (с указанием места каждого члена в этом роду), пусть только в данный, фиксируемый момент его существования, представлялась и государственным чиновникам, и крестьянам (возможно, на не рефлексируемом уровне) более значимой, чем принадлежность к малой, дробной, временной части рода – семье, упоминать которую уместно лишь в обыденной жизни (с. 98, 99). Следует, очевидно, иметь в виду и то, что слово это появилось в древнерусском языке, по историко-лингвистическим масштабам, не так давно от изучаемого времени, в XI–XII вв. и означало в первую очередь «челядь, рабов, домочадцев», т.е. зависимых членов рода[2].

Надо сказать, что неподготовленного читателя изучение книги Е.Н. Швейковской может, наверное, озадачить и даже привести в некоторое смятение. Крестьяне владеют деревнями, воспринимают деревни как свою собственность. Например, крестьянин заложил деревню «свою Павлищево... отца своего благословение»; вообще, «своя деревня» – типичный для крестьянских актов оборот. Крестьяне продают и покупают деревни, называют своей вотчиной: «та деревня... вотчина наша, деда и отца моего», «наша вотчина» (с. 97, 98, 100, 103, 109, 113, 192). Понятно, что такое положение дел объясняется спецификой Русского Севера, где большинство крестьян были черносошными, лично свободными. И хотя земля находилась в собственности государя, деревни действительно принадлежали крестьянам – они могли практически неограниченно ими распоряжаться: продавать, покупать, закладывать, передавать по наследству. И, разумеется, в высшем смысле именно крестьяне были истинными собственниками этих деревень – они их создавали тяжким трудом, поколение за поколением, полосу за полосой. Ведь слово «деревня» происходит от того же корня, что и слово «драть»; старшее его значение (с XIV в.) – это «земля, очищенная под пашню от зарослей, с выдранным лесом»[3]. Интересно отметить, что слово «деревня», обозначающее поселение – только русское понятие (в других славянских языках отсутствует), а также, что вплоть до XIX в. деревней называли поле, полосу, пашню или пустошь именно на Русском Севере, в Архангельской и Вологодской губерниях[4].

Тем не менее картина, представленная автором, производит впечатление и на специалиста. Недаром Е.Н. Швейковская построила своё исследование на анализе межличностных отношений, судеб отдельных крестьян или истории крестьянских семей. Из приведённых документов вырисовывается образ русского крестьянина, не изуродованного ни крепостным правом, ни разнообразными административными государственными экспериментами – человека с чувством собственного достоинства, самостоятельного, ответственного, трудолюбивого, умелого, предприимчивого, распорядительного хозяина, относящегося к обрабатываемой им земле как к родовой собственности и самой большой ценности в его жизни, и, главное, абсолютно самодостаточного. Нелишне отметить также грамотность значительного числа крестьян, на что указывают источники. Так, в 1597 г. два брата-тёзки Фёдор и «Федор же прозвище Сема Истомины дети Бобровского» совершили поземельную сделку, которую зафиксировал купчей грамотой «Федка Истомин сын Бобровского своею рукою», а удостоверил другой брат: «К сей купчей яз, Федорко, прозвище Сема деревню

---

[2] *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. II. М., 1993.

[3] Там же. Т. I. М., 1993. С. 242–243.

[4] *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1978. С. 429.

з братом Федором большим продал со всем без вывода и с пожнями и руку приложил яз, Сема». В 1626 г. крестьянин Ф. Поспелов засвидетельствовал копию с купчей: «В отца своего место... руку приложил» (с. 99, 100). О культурном уровне северорусских крестьян и их социальном самосознании говорит и то, что документы на землю хранились в крестьянских «архивах» с незапамятных времён и в течение весьма долгого периода: к примеру, при писцовом описании 1622–1623 гг. крестьянами Нагибиными была предъявлена купчая на их землю от 1507 г. Грамотность являлась также необходимым условием занятия выборных земских должностей, а их было немало (с. 200, 204, 280).

Удивительно наблюдать, как северорусский крестьянин XVI–XVII вв., прикупая мелкими участками и долями деревни, неуклонно приумножает свои владения ровно с такой же одержимостью, как его современники – помещики и вотчинники[5]. Точно так же, как служилые по отечеству, крестьяне старались не выпустить наследственную землю из рода, используя иногда, опять же, как и помещики, не слишком честные средства. Е.Н. Швейковской удалось установить (для XVI – начала XVIII в.), что деревня находилась в собственности крестьянского рода, например, в течение 60 лет (четыре поколения), почти столетия (с 1539 по 1641 г., или с начала XVII в. до начала XVIII в.) и даже более (упомянутые выше крестьяне Нагибины осуществляли сделки на свою землю и в 1644 г., причём с родственниками, т.е. земля находилась в собственности рода почти полтора века), не говоря о сроках в 30–50 лет (с. 104–110, 112, 113, 187, 189, 192, 194, 195, 198, 204, 205, 215–220).

Вообще же, при сопоставлении обобщённых портретов служилого человека по отечеству и северорусского черносошного крестьянина той эпохи видится гораздо больше сходства, нежели различия, о чём свидетельствует и лексика крестьянских актов: выражение «наша вотчина» или, например, «продали есмя мы, Михайло з братьею, ту полдеревни отца своего», продали «полюбовно свою деревню, батюшка своего благословение», части деревни, «отца и деда благословение, по своей купчей и духовной деда» или «отца благословение по купчей и деда своего Угрюма» (с. 99, 100, 182, 193). О том же свидетельствует и номенклатура актов (купчая, данная, меновная, закладная, духовная). Ещё больше сходства крестьянским и дворянским поземельным актам придаёт то, что у крестьян в собственности были не только дворы и пахотные земли, но и многочисленные угодья: поля и пожни, леса, охотничьи «путики», речки, «летовищи, и с перевесьи, и с озеры... чем отец наш Лука владел по купчим грамотам, да чем и мы владели после отца своего»; земля «и с лесы, и с пожнями, и с путики, и с поскотиною», а также то, что в приданое крестьянки входила и земля с двором (с. 102, 126, 213). Характерна в этом отношении и ещё одна деталь: и в писцовых, и в поземельных актах имена крестьян, за редким исключением, фиксируются не только в полной форме, а не полуименем (Данила, а не Данилка, Петр, а не Петрушка и т.п., как это всегда делалось в отношении крепостных крестьян), но и «с отечеством» («Захарьины дети Онтонова», «Павловы дети Кузнецова», «Ларион Алфимов же сын Челпанов») (с. 97, 100, 108).

Интересно, что купля-продажа северорусскими крестьянами деревень активно происходила и в самые тягостные для России времена: в годы опричнины, в шаткий и тёмный период между опричниной и Смутой, во время Смуты

---

[5] Ср.: *Новосельский А.А.* Вотчинник и его хозяйство в XVII в. М.; Л., 1929.

и в тяжёлые десятилетия после неё. Так, например, с начала опричнины вплоть до конца царствования Ивана Грозного (когда и прекратилось деление российской территории на земщину и опричнину, или двор), в северорусских областях, которые и вошли прежде всего в состав опричнины, состоялись сделки: в 1567 г. купля-продажа крестьянами двух жеребьев деревни Топорова; в 1569 г. Иван Мартынов сын Бобылев дал долг своим однодеревенцам братьям Востриковым под заклад их деревни Чигры; в 1572 г. крестьянской семьёй была приобретена деревня Павлищево; в том же году Томилка Михайлов сын Шишкин купил деревню Беляшкино; в 1584 г. была продана часть деревни с дворовым комплексом (с. 150, 155, 187, 192, 215).

Накануне Смуты и во время неё крестьяне Русского Севера также не прекращали земельных операций. Так, в 1588 г. продал своё хозяйство крестьянин деревни Офонасовской; в 1592 г. была продана в деревне Микулино половина двора с постройками, половина бани, половина пашенных земель и пожен, половина речки Езовицы, половина прислонов, половина поскотины, охотничьих путиков и перевесей; в 1600 г. был продан девятый жеребий деревни Мериново с соответствующей частью хозяйственных построек. Случаи купли-продажи крестьянами земельных угодий зафиксированы в 1604–1607 гг. С 1607 по 1611 г. в материалах крестьянских поземельных актов отмечается некоторый перерыв, что неудивительно, поскольку в это время крестьяне и посадские то поддерживали Лжедмитрия II (как, например, жители Вологды, Тотьмы, Соли Галицкой, Галича и их уездов), то сами организовывали центры сопротивления интервентам (население перечисленных городов с их округами, а также Устюжны, Белоозера и др.); их жители (устюжане, вологодские, поморские и онежские крестьяне) стали основой северорусского ополчения (с. 102, 104, 150, 156–157, 159, 163, 171–172, 207).

Любопытно, что интерес к приобретению земель, т.е. возвращение к прежней, привычной, стабильной жизни, у северорусских крестьян возрождается с 1611 г., с созданием и успешной деятельностью Первого, затем Второго ополчений, а не ранее. Эту перемену в народных настроениях, в ситуации в стране, несмотря на очевидную незавершённость самой Смуты (Москва вновь в руках поляков, шведы разоряют северные города, а до избрания первого царя новой династии и перемирия с Польшей остаётся ещё несколько лет), очевидно, безошибочно ощутили жители Русского Севера. И уже в мае 1611 г., например, Андрей Михайлов сын Тютнева продал своему дяде «половину деревни своей Скорняковские»; в 1614 г. братья Рыбины продали «деревню свою две трети Созутинские земли» братьям Поповым; в 1615 г. Иван Ортемьев купил деревню Мякинница. С 1617 г. подобные случаи имели место ежегодно, и с каждым последующим годом число сделок росло (с. 103, 108, 115, 155–156, 182, 186, 191, 207). Этот своеобразный народный «маркёр», как мне кажется, стоит принимать во внимание при исторической оценке периодизации Смуты.

Не менее значима и вторая часть работы Е.Н. Швейковской, где исследуется роль крестьянина в земском мире. Крестьянское мирское самоуправление осуществлялось именно теми людьми, характерные черты которых выявлены в первых главах монографии. По оценке Я.Е. Водарского, на рубеже XVII–XVIII вв. в Европейской России численность правящей группы населения (феодалы и армия) составляла от 0.3 до 0.5 млн человек, крепостного крестьянства – от 3.4 до 4.7 млн, а феодально-зависимых от государства, т.е. черносошных – от 1.1 до 1.6 млн человек (на 1678 и 1719 гг., соответственно).

На одном только Севере и Северо-Востоке страны численность черносошных крестьян составляла более 250 тыс. человек[6]. Можно пойти несколько дальше в обобщениях и привести такие цифры: по подсчётам Н.Ф. Демидовой, в 1698 г. служащих центральных учреждений было 2 648 человек, местных – 1918; всего 4 680 человек; население же России к концу века составляло 15–16 млн человек[7], т.е. на одного чиновника приходилось чуть меньше 3.5 тыс. человек. Естественно, что эта гигантская масса населения как-то должна была контролироваться столь скудным государственным аппаратом: с населения следовало собирать налоги, прибирать людей в армию, для ямской службы и других государственных нужд. Ситуация неизмеримо осложнялась тем, что население это не было тесно скучено, как в европейских странах (даже в той же Скандинавии, близкой нам по климатическим условиям), и, значит, легко контролируемо, а было рассеяно по непроходимым, бездорожным просторам бескрайней страны. Единственным способом как для самих жителей, так и для государственных властей не утратить народного и административного единства, не дать развалиться государству на отдельные автономные части, было создание народного местного самоуправления, а для центральной власти – закрепление легитимности последнего и встраивание его в государственные структуры. Ситуация складывалась в некотором роде парадоксальная. Государство вовсе не было столь человеколюбивым и демократичным, а русский народ вовсе не обладал неким имманентным стремлением подчиниться хоть какой-нибудь власти, впасть в рабство, но обстоятельства, как внутренние (выживание в трудных природных условиях), так и внешние, толкали население к созданию органов мирского самоуправления, а власти были вынуждены до поры мириться и сотрудничать с ними.

Как же, почему и на каких принципах строилось это самоуправление, какими способами оно взаимодействовало с государственными структурами? Следует отметить, что на столь конкретные вопросы необходимо было найти столь же конкретные, фактически точные, не обтекаемые ответы, требующие проникновения в самые тонкие механизмы работы крестьянских мирских органов, улавливания ускользающих связей людей и их групп между собой в осуществлении управленческой деятельности. Эти механизмы и связи лежат в самой основе такого явления, как земский мир, и раскрыть их можно только на микроуровне, что с блеском и было выполнено Е.Н. Швейковской впервые в современной историографии.

Какими же предстают перед нами крестьянские миры, их главные, характерные черты? Во-первых, это жёсткая, чёткая вертикальная структура – от волостных миров, на которые собирались представители от гнёзд малодворных деревень, через всеуездные, которые составляли или выборные волостные власти, или специальные уполномоченные «посылыцики», или и те, и другие, к мирам какой-либо земли (к примеру, Вятской), или собственно земским мирам (с. 253).

Во-вторых, это абсолютная самоуправляемость крестьянских административных органов, на современный взгляд – высшая форма демократии. На всех уровнях дела решал сход – деревенский, волостной и т.д. Естественно, сущест-

---

[6] *Водарский Я.Е.* Население России в конце XVII – начале XVIII века. М., 1977. Таблицы 9, 44.

[7] *Демидова Н.Ф.* Служилая бюрократия в России XVII в. и её роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 23, 31, 37; *Писарькова Л.Ф.* Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. М., 2007. С. 47; *Водарский Я.Е.* Указ. соч.; *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб., 2000.

вовал ценз – гендерный, социальный, в некотором отношении экономический. Правом на участие в сходе обладал крестьянин, владевший земельным участком в данной волости и плативший государственные и мирские налоги. Такие крестьяне решали насущные дела общины (и решение это было обязательным для всех её членов) и выбирали старосту, а также разного рода целовальников (по финансовым, земельным, тягловым делам), посыльщиков.

В-третьих. В современном понимании, определённом во многом художественными произведениями, мирской сход представляет собой род веча в худшем его воплощении – пришли все, кому ни лень или от скуки, горланят, дурачатся, орут. Возможно, что и сходы XVI–XVII вв. не были совсем уж свободны от таких проявлений. Однако документы, проанализированные Е.Н. Швейковской, представляют совсем другие собрания. Так, в ноябре 1638 г. на посадском сходе Сольвычегодска состоялось верстание тяглых земель. Сход составили «все» посадские «лучшие и середние и молодшие люди» во главе с четырьмя целовальниками. Но прежде чем приступить к процедуре развёрстки тягла, собрание сначала установило равные условия для участия в сходе посадских миров, постановив делегировать от каждого дворохозяйства только по одному человеку, а «незарегистрированных» «людей из избы вон высылати беспенно, для того чтоб в государстве в данном окладе мирским людем никому ни в чем никоторые порухи не было» (с. 284).

В-четвёртых. Выборные, как правило, оставались у дел в течение календарного года, в конце которого должны были отчитаться перед общиной (вернее, перед новым, например, целовальником и специально выбранными для этого крестьянами) в проделанной работе, за которую отвечали собственными средствами (с. 265). При этом община, со своей стороны, и сама отвечала за выборщиков и принимала ответственность за них перед государственной властью в лице воеводы. Такая сбалансированная система взаимных обязательств демонстрирует продуманность структуры самоуправления и долгий путь, пройденный ею до столь зрелых форм.

Здесь стоит вновь обратить внимание читателя на общий уровень культуры, в том числе юридической, северорусских крестьян и на великолепно развитую бюрократическую процедуру в деятельности выборных мирских администраторов (которую, казалось бы, трудно предположить в русской лесной глуши XVI–XVII вв.). Каждый шаг этих управленцев, начиная с выборов и заканчивая отчётом об отвезённых в уездный город или в Москву собранных деньгах, фиксировался письменно, каждый вид многочисленной номенклатуры документов имел строгий, отработанный во времени формуляр (обязательства, условия составления договора, подписи основных действующих лиц и свидетелей, обязательные расписки в получении денег со сборщиков и т.п.). При этом документы зачастую составлялись в двух экземплярах (матица и противень, т.е. оригинал и копия), с указанием имени писца и даты. Наиболее важные процедуры, такие как выборы, сопровождались принесением присяги (крестоцелованием) и тоже закреплялись «подкрестной» записью или «подкрестным» списком. Вообще же выборные лица имели свободу полномочий, делегированных им сходом, но в рамках, которые определялись «мирским советом» (с. 263, 269, 270, 273).

И, пожалуй, главная черта мирского самоуправления, основа, на которой держалось всё его здание, – самофинансирование, независимость в финансовом отношении от властей. На мирские деньги содержался двор с его аднинис-

трацией и необходимыми канцелярскими и хозяйственными принадлежностями; общинниками же оплачивались некоторые мирские службы. Например, служба выборного старосты оценивалась в 10 руб. в год «подможных», а всеуездному земскому старосте, который жил в своей деревне, для исполнения им общественных функций на общинные деньги в уездном городе нанимали жильё (с. 267–268).

Как уже отмечалось, выборные обязывались отчитаться перед общиной о своей работе и гарантировали выполнение порученного им дела своим имуществом, но и общинники принимали на себя обязательства оградить выборное лицо от покрытия общественных расходов. Например, ситуация в волости требовала незамедлительной выплаты большой денежной суммы, которой у старосты, целовальника или сотника не было. Под заклад своего имущества выборный мог взять взаймы требуемую сумму, но с совета мира, последний же в таком случае обязывался выкупить выборного из кабалы (с. 263).

Мирские администраторы, таким образом, не брали денег ни у воевод, ни у московских приказов, распоряжались средствами так, как считали нужным, и ни перед кем кроме своих же миров не отчитывались. Как это ни парадоксально, финансовая независимость (вкупе с выборностью местных управленцев) давала миру ту свободу, о которой не могли мечтать представители ни одного другого сословия России XVI–XVII вв. Конечно, на черносошных крестьян давил тяжкий груз государства (а на владельческих крестьян – и землевладельцев), требовавшего с них налоги, рекрутов, исполнения разнообразных повинностей. Но внутри своего мира, в котором они проводили почти всю свою жизнь, они сами каждый день жили по своему собственному, ими заведённому порядку, строили жизнь по-своему, и эта каждодневная, обыденная личная свобода формировала облик северорусского крестьянина XVI–XVII вв. и была основой возрождения России после Смуты и расцвета самобытного Русского государства в XVII в.

Что же давал крестьянам и государству в целом земский мир? Во-первых, невероятно тонко, филигранно отлаженный механизм экономического управления народным хозяйством (в масштабах всей страны, в том числе и у владельческих крестьян, в земельные разделы которых владелец чаще всего не вмешивался). Переделы земельных участков с их сложнейшей системой шкалирования ценности различных возделываемых земель и угодий, возможно, связывали инициативу наиболее предприимчивых хозяев, но, безусловно, предоставляли членам общины равные (не уравнительные, а справедливые) возможности для сельскохозяйственной деятельности и равные шансы на успех.

Во-вторых, мирское самоуправление давало столь же сложный, хрупкий, но реально действующий механизм поддержания социальной справедливости (в той форме, как её воспринимали крестьяне). «Разрубы» – «раскладки», «розмёты», развёрстывание государственных налогов и мирских платежей на каждое хозяйство волости – происходили несколько раз в год. И здесь ещё более скрупулёзно, чем при ежегодном разделе земель, учитывалась вся многомерность оценки крестьянского хозяйства (которое, действительно, могло сильно изменяться в течение года, хотя бы, например, из-за убыли кормильца или влияния стихийного бедствия): «Всякий живот, и деньги, и дворы, и лавки, и полянки, и пожни, и кузнь серебряная, и платье доброе и среднее, у кого что есть, и порядня медная, и железная, и деревянная добрая и средняя, что

мирскому приговору пригодится в счет положить», не говоря уже о численном и гендерном составе семьи, её обременённости долгами и займами. Нелишне отметить ещё одну «демократическую» черту «разрубов»: их производил не один целовальник или староста, а «коллегия» заседателей, в которую входили специально «кооптированные» из деревень крестьяне (с. 262, 282–285).

Ни одному государственному чиновнику, как бы близко он ни стоял к крестьянской общине, не было доступно столь глубокое проникновение в специфику земельных переделов с их многочисленными, далеко разбросанными полосками разнокачественной земли, семейных обстоятельств и личных и родственных взаимоотношений членов общины, как это происходило у самих крестьян. И, разумеется, ни одному стороннему человеку общинники не доверили бы оценку их налоговых возможностей и раздел тягла по дворохозяйствам. Повторимся также, что в XVI – начале XVIII в. государство и не обладало таким административным ресурсом, с помощью которого могло бы регулировать повседневную жизнь народа на самом нижнем уровне. Не стояло, собственно, и такой задачи: налоги выплачивались более или менее исправно, механизм их взимания был власти известен и не вызывал возражений. Государство не то что «не посягало на основы земской жизни», оно было кровно в них заинтересовано: переделы и «разрубы» регулировали землепользование и налогообложение, через него – экономическое состояние основных налогоплательщиков, а следовательно, и хозяйство всей страны (с. 290).

Разумеется, взаимодействие, причём очень плотное, между земским миром и государством имело место. И здесь Е.Н. Швейковская подметила ряд очень характерных черт этих взаимоотношений. Прежде всего земский мир, при всей его организационной и финансовой независимости, отделённости от государства, был, тем не менее, встроен в его структуру, причём встроен ненасильственно, непротиворечиво. Полноправным членом мирского схода являлся только крестьянин или посадский, дворохозяин, внесённый в окладные книги (что специально фиксировалось в приговоре схода), а значит, «промаркированный» государством, включённый в орбиту его деятельности. Крестоцелование земских управленцев при занятии ими должностей полностью вписывало их в мир служилых людей в широком смысле этого слова – как представителей государства, поскольку присягу (со специальными приписями для каждой должности) при вступлении в должность или при смене государя приносили должностные лица всей иерархической управленческой структуры, начиная с бояр. Наконец, вновь избранные и сдающие свои полномочия мирские люди обязаны были явиться к местным властям (черносошные – к воеводе, владельческие – к вотчинникам или вотчинным приказчикам). Этот визит не сопровождался какой-либо специальной церемонией введения в должность (например, присягой), но государство в лице воеводы (или вотчинник) как бы закрепляло легитимность земского мира, путём личного контакта сопрягая государственную (или владельческую) и земскую структуры управления (с. 229, 274–275).

Вся система культурно-правовых норм земского мира до последней чёрточки совпадала с административно-бюрократическими традициями государства. И трудно сказать, кто у кого заимствовал способы ведения дел, и заимствовал ли вообще. Скорее всего, единство процедур и терминологии по всей вертикали государства вело своё происхождение с незапамятных времён, нормы

были отшлифованы долгими годами практики и, в силу единой ментальности, однозначно воспринимались и правящими слоями, и народными низами. Так, например, неоднократно описанный бюрократизм, «крючкотворство» государственных администраторов, подьячих, был столь же привычен и обязателен в среде земских выборных. Как уже отмечалось, фиксировались процедура выборов, фактически – их протокол (и не в одном экземпляре), присяга-крестоцелование (крестоприводной и подкрестной записями), решения схода по тому или иному вопросу; целовальники обязательно выдавали крестьянам расписки в полученных платежах, равно как и всеуездный староста должен был «государевы данные и оброчные деньги собрав, отвезть к Москве, а к нам в мир привезть отпись полновая». В течение года старостами, земскими дьячками, целовальниками велись книги прихода и расхода, записей судебных тяжб, челобитных, отписей и росписей, заёмных кабал, черновые тетради, памятные записки и т.д. Таким образом, в земском мире существовало развитое, с выработанными формулярами делопроизводство, не уступающее государственному (с. 254–274, 281–287).

Кстати, в связи с приведёнными Е.Н. Швейковской данными о «мирской бюрократии» иначе воспринимается и такое ставшее нарицательным понятие, как «московская волокита». Автор анализирует историю многолетней борьбы двух крестьян за деревню, борьбы как физической, так и «бумажной». Среди прочего тяжущиеся стороны перечисляют убытки, понесённые в ходе этого противостояния, где в одном ряду с прочими стоит и «московская волокита»: убытки «в деревенской недопашке, и в сенной недоставке, и в усольской проесте, и в волоките нынешней московской»; «убытки в земляной недопашке, сенной потраве, в скотинном падежу, московских издержках», «кроме грабежу и увечья» (с. 218, 219). Таким образом, смысл употребляющегося ныне выражения значительно изменяется, возвращаясь к тому, как его воспринимали люди XVII в.: пребывание в далёкой Москве в судах (точно так же, как и в Усолье), естественно, требующее времени (везде и всегда), и, естественно, особенно затратное для иногороднего человека (за что, кстати, выигравшей стороне полагалась выплата проестей), почему московская «волокита» и выделена из всех прочих местных «волокит».

Как показывает исследование Е.Н. Швейковской, с государственной системой мирское самоуправление роднили также организация контроля за деятельностью управленцев и неразрывно связанная с ней смена администраторов – не важно, выборных или назначенных. Во-первых, управленцы в обеих системах занимали свои посты в большинстве случаев на довольно короткие сроки: городовые воеводы на два года, мирские старосты и целовальники – на год. Это не позволяло администраторам «насиживать» места, обзаводиться прочными связями с местным населением. При сдаче дел одним управленцем другому происходила скрупулёзная проверка принимаемого имущества и архива. Вновь назначенный воевода осматривал городские укрепления, артиллерию, пороховую казну, продовольственные запасы, документы приказной избы, делал смотр гарнизону, выявляя все недочёты и недостачи предшественника, чтобы не быть за них в ответе. Новый староста или целовальник также принимал хозяйство и архив земской избы у предшественника, который отчитывался, правда, не только перед преемником, но и перед всем миром, что абсолютно чётко прописывалось в выборных документах: «А ему, целовальнику, по своим приходным и расходным книгам и по отписем с нами,

крестьянами, честися вправду по государеву крестному целованью и прошлых целовальников земских» (с. 231, 265). Таким образом, и государственная, и земская системы держались на точно сбалансированных принципах доверия и контроля.

Что не менее показательно, и государственные, и земские власти использовали одинаковую терминологию. При перемене городовых воевод составлялся «росписной список» и воеводы «росписывались» друг с другом в передаче городового хозяйства. Это был устойчивый, конкретный термин. Точно так же крестьянский староста вологодской архиепископской домовой вотчины просил переменить его с должности, а новому старосте «домовые дела, и дворовое строение, и казенные семена и село Никольское с деревнями» у него «против росписных книг принять и во всем со мною росписаться» (с. 258). Городовые воеводы ежегодно по требованию Разрядного приказа составляли сметные списки, или сметные росписи, – подробное описание городовых укреплений, гарнизона, боевых и продовольственных запасов и, разумеется, городовой казны. Документы с таким же названием – сметные списки – фигурируют и при отчёте земских старост и целовальников о расходовании мирских средств; причём учитывались не только деньги, но и, например, необходимые для деятельности земской избы материалы: бумага, чернила, дрова для отопления, свечи (с. 287, 288).

Общим термином обозначалось в государственной и в земской практике и место, где заседали и решали дела власти. Если в московском приказе или городовой приказной избе подразделение всего учреждения называлось «столом», то помещение, являвшееся центром хозяйственного управления волостью, его делопроизводства, местом хранения мирской казны (зачастую это была трапезная волостной церкви) называлось «стольцем» – в понятном соотношении с «большим» столом государственных учреждений.

В работе Е.Н. Швейковской продемонстрирована ещё одна яркая черта, характеризовавшая русскую жизнь XVI–XVII вв., – государственный институт патроната, в данном случае применительно к земскому миру. Широко известны и давно описаны «столы», т.е. торжественные пиры, на которые царь или патриарх звали лишь приближённых им людей (практически всегда думных чинов) или тех, которым желали показать свою милость, пожаловать (например, к царскому столу могли пригласить служилого иноземца, воеводу, сеунщика, принесшего весть о победе)[8]. Столы устраивались по большим церковным праздникам или по случаю радостных событий в царской семье (именины, родины). Разумеется, смысл их был не в угощении как таковом, а в демонстрации расположения, особой милости со стороны государя, членов его семьи или патриарха к приглашённым, и – в демонстрации своей близости к власти, причастности к ней со стороны приглашённых, что поднимало их авторитет и в собственных глазах, и в обществе, служило своеобразным социальным маркёром. Точно такие же функции выполняло и жалование царём, царицей, реже – царевичами и царевнами – пирогами и «питиями».

Богатые и разнообразные материалы, приведённые Е.Н. Швейковской, показывают, как действовал тот же механизм на провинциальном уровне, когда «мирские должностные лица многократно в течение года приглашались во двор к воеводе “хлеба ясти”». Во-первых, воевода угощал новоизбранных

---

[8] *Новохатко О.В.* Записные книги Московского стола Разрядного приказа в XVII в. М., 2000. С. 197.

земских должностных лиц и мирских людей. Очевидно, это совпадало и с празднованием новолетия 1 сентября, когда в уездный город съезжались земские представители из ближних и дальних волостей. После того, как вновь избранные земские власти подносили воеводе угощение, «звал воевода хлеб есть всех мирских людей». Во-вторых, в воеводском доме угощали в дни именин членов царской семьи. Например, в марте 1667 г. мирские люди «хлеба ели» у воеводы Устюга в честь именин царевны Евдокии Алексеевны, а 19 сентября 1670 г. у воеводы того же города собирался «стол» «для имянинницы благоверные царевны и великие княжны Софьи Алексеевны». Царская церемония была скопирована городовыми воеводами и в отношении собственного семейства: в дни своих семейных праздников воевода угощал мирских людей. Так, в октябре 1675 г. на именины сначала сольвычегодского воеводы, а потом его жены были званы мирские люди «хлеба есть». Звали земских выборных и на новоселье, например, «в новой избе» воеводы Сольвычегодска староста «хлеб ел». Поводом мог послужить даже приезд или отъезд родственника воеводы: по прибытии воеводского зятя в Тотьму «звал воевода хлеба ести мирских людей», а сестра воеводы, подобно царевне, «выходила с чаркою»; при отъезде из Сольвычегодска пасынка воеводы «людям ево» (как, очевидно, и ему самому) староста на прощанье дал почесть деньгами (с. 229–231, 234, 300, 301, 309, 311, 319).

Е.Н. Швейковская приводит интересные данные о том, что мирских людей приглашали на семейные праздники и людей воеводы, его челядь, причём событие отмечалось на воеводском дворе. Так, в апреле 1674 г. женился «человек» сольвычегодского воеводы, и на торжество были званы староста с целовальниками и «с посыльщиком Петром», которые «у воеводы на свадьбе хлеба ели». В том же году староста был приглашён на родины и крестины дворецкого того же воеводы, а целовальники – также на родины и крестины воеводского человека. В 1691 г. женились дворовые люди тотемского воеводы, и на свадьбы во двор к воеводе были приглашены мирские люди (с. 320, 322). Значение челяди при любом должностном лице известно, эти люди были прочно встроены в иерархию воеводской администрации, поэтому угощение не только воеводой, но и челядью мирских людей и присутствие последних на «столах», устраиваемых воеводским окружением, совершенно вписывается в общенародную систему покровительства и «держальничества».

Исследование Е.Н. Швейковской позволяет также несколько скорректировать взгляд на такое «одиозное» явление, как кормление земским миром воевод и их административного аппарата. В историографии давно принято объяснять это архаичностью управленческой системы, рудиментом системы кормлений. Отчасти это, наверное, так, но никакая архаика не удержится без живой подпитки. Как ещё раз подтвердила в своей работе Швейковская, земский мир финансировал себя сам, т.е. община оплачивала работу выборных людей, фактически нанимая их, о чём свидетельствует и сама лексика выборных документов. В монографии приведены примеры подобных формул: «А найму ему, целовальнику, миром рядили во весь год шесть рублей денег, и те наемныя деньги ему, целовальнику, взять, и дьячку, и приставу из наших мирских денег»; «А подмоги ему, выборному нашему старосте, по нашему, мирских людей, приговору взять на год против прежнего из миру с стола десять рублев»; вотчинный староста Спасо-Прилуцкого монастыря взял «годовые своей работы подможных денег десять рублев». Так же из мирских средств оплачивалась

работа земского «канцеляриста»: земский дьячок получал «от мирских дел и от всеземских приходных и росходных книг от письма за работу» годовую плату в 10 руб. (с. 267).

Кстати, годовой оклад в 6–10 руб., который, судя по приведённым Е.Н. Швейковской материалам, был утверждён по неписанным правилам мира, для управленцев XVII в. являлся довольно большим. Например, годовой оклад в 10 руб. получали в одном из главных управленческих ведомств страны – Разрядном приказе – подьячие средней статьи, можно сказать, ведущие специалисты относительно высокого ранга. По расчётам, сделанным Н.В. Устюговым, в Зырянских усольях «прожиточный минимум одинокого работного человека составлял от 3 руб. 65 коп. до 4 руб. 63 коп. в год»[9] (в сумму входит и питание, и приобретение самой необходимой одежды). Но даже если выборный не получал вознаграждения собственно за работу, все условия его работы оплачивались миром обязательно (канцелярские принадлежности, освещение, отопление земской избы, наём жилья в уездном центре и дорога до него и т.п.).

Ровно так же население воспринимало государственных делопроизводителей и управленцев всех уровней, главным образом подьячих – площадных, городовой приказной избы, московского приказа, но и некоторых других чинов, например, приставов приказной избы (с. 237, 294). Все эти категории делопроизводителей и администраторов «кормились от дел», даже если им полагался денежный оклад. Такая ситуация в России XVII в. была обусловлена устройством всей государственной системы: при малочисленности управленческого аппарата, скудости наличных денежных средств в казне и бескрайности управляемых территорий государство вынужденно переложило содержание администрации на общество, причём не путём перераспределения средств через собранные налоги, а напрямую, оплатой «сдельной» работы чиновников. Учитывая практику содержания мирского самоуправления и построение общегосударственной административной системы, трудно удивляться тому, что местное население смотрело и на воевод как на ещё один «объект» кормления, с которым приходилось мириться, но что совершенно не воспринималось из ряда вон выходящим явлением. Разумеется, в данном случае не было столь прямолинейной зависимости от функций, исполняемых воеводой (например, судебных) и оплатой их миром, но общее понимание того, что управляющих надо содержать, работало и здесь.

Лучше всего об этом свидетельствуют замечательные источники, так полно и подробно проанализированные в монографии Е.Н. Швейковской – книги целовальников денежного сбора, расходные книги черносошных миров и вотчинных старост Спасо-Прилуцкого монастыря, в которых отдельной частью входили записи о расходах на воеводу «всякою харчью и деньгами к столам». Следует отметить, что подобные же книги расходов на «администраторов» в обязательном порядке велись монастырскими стряпчими и вотчинными приказчиками, которые занимались делами своих господ в приказах. «Издержечные» книги земских старост, исследованные Швейковской, характеризуют скрупулёзность, педантичную точность записей расходов на городовую администрацию. В них фиксировалась не только дата приношения, но и день недели, не говоря уже о точном исчислении принесённых воеводе денег и продуктов, а также сумм, уплаченных за приобретение последних (с. 230–236).

---

[9] *Устюгов Н.В.* Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в. М., 1957. С. 236.

Выше уже отмечалось, что не только родственники воеводы, но и воеводские дворовые люди были весомыми лицами в жизни уезда. Они выступали посредниками между воеводой и его подчинёнными, от их расположения зависела благосклонность воеводы, а значит, и решения по судебным делам или челобитьям мирских людей. Поэтому в расходных книгах столь же тщательно отмечались все подношения этим лицам. Автор приводит интересный факт, свидетельствующий о том, что для подарков окружению воеводы (как членам семьи, так и челяди) существовал установленный обычаем довольно твёрдый тариф, точно оценивавший социальный вес данного лица, его статус в иерархии воеводского двора: из членов семьи – жена, старшие и младшие сыновья, дочери, племянники; из слуг – держальники, дворецкий, конюший, «клюшник», жильцы, люди. В тех случаях, когда «тариф» нарушался, ответственный перед миром за каждую полушку целовальник или староста считал необходимым указать причину «сбоя». Так, устюжский воевода Я.А. Змеев «вытянул» у шемогодского целовальника праздничную почесть своей жене, равную той, что поднесли ему. По обычаю же подношение жене воеводы было, как минимум, вдвое меньшим, поэтому целовальник сделал к записи в расходной книге примечание: «Потому что он сам, стольник, взял на нее-челобитьем в доброту», недвусмысленно указывая на лицемерие воеводы (с. 298–302, 304, 314, 321–323).

Открытое, «официальное» ведение «издержечных» книг свидетельствует о легитимности «почестей» в сознании населения. Само название этого документа подтверждает это: «Книга расходная... нынешняго... году... что держано воеводе (имярек) и подьячему». Более того, в конце срока полномочий старосты или целовальника воевода сам ревизовал эти книги, чтобы выяснить, «нет ли к каким статьям приписок» (с. 233, 295). С одной стороны, приписки могли повредить земскому выборному, но с другой, и воевода был заинтересован в том, чтобы за ним не записали чего-нибудь лишнего. Не стоит забывать, что земский выборный отчитывался в расходах прежде всего перед общиной, и таким образом кормление воеводы жёстко контролировалось и сверху, и снизу.

Конечно, грань между «почестью» и «посулом», т.е. взяткой, была зыбкой, и практика прямого содержания администрации совершенно не исключала незаконных путей вознаграждения управленцев за более благосклонное отношение к управляемым – за решение в свою пользу конкретного дела и «впрок». Однако изложенные в работе Е.Н. Швейковской данные однозначно свидетельствуют о том, что кормление воеводы земским миром, во-первых, воспринималось обеими сторонами как абсолютно легитимное, во-вторых, что оно являлось неотъемлемой частью общегосударственной и общенародной системы управления, и, в-третьих, что такой способ прямого содержания управленческого аппарата имел свои положительные стороны: это был дифференцированный налог, при котором управляемые точно знали, кому, сколько и за что они платят. Население видело, во что обходится им администрация, как государственная, так и земская, а потому, испытывая уважение и, может быть, даже трепет перед ними, знало им цену в буквальном смысле этого слова.

В выстраивании власти на любом уровне – государственном или земском, в характере взаимодействия с нею народа присутствовала общая культурно-правовая традиция, выросшая из национальной почвы и воплощавшаяся людьми одного менталитета. Эти традиции устроения службы оказались сильнее кон-

кретных учреждений, сменявших друг друга в центре и на местах (как, например, воеводы сменили кормленщиков), и именно этим традициям во многом обязано государство своим возрождением после Смуты.

Завершая обзор монографии, нельзя не отметить новаторских методик Е.Н. Швейковской как в общем подходе к материалу, так и в работе с источниками. Своей задачей исследовательница поставила создание истории крестьян Русского Севера как составной части единого общества, «единого организма с взаимодействием всех его составляющих, находящихся в сложной системе разнонаправленных связей» (с. 8), а это прежде всего взаимоотношения конкретных людей в самых разных сферах частной и общественной жизни. Поставленная задача определила и один из главных подходов к изучению материала – исследование крестьянского мира на микроуровне, с анализом самых «тонких», межличностных связей внутри самого мира и мира с другими социальными стратами. Естественно, что подобный подход потребовал привлечения к исследованию методик и данных смежных дисциплин – исторической географии, языкознания, ономастики, топонимики, генеалогии. Чрезвычайно широк круг использованных автором источников – от законодательных актов XVI – начала XVIII в. до крестьянских челобитных. Очень эффективным оказалось сопоставление источников разных видовых групп, например, писцового делопроизводства с актами крестьянских поземельных сделок, а также тщательное, вдумчивое прочтение расходных книг земских миров. Только благодаря работе на стыке нескольких дисциплин, благодаря скрупулёзному сопоставлению данных из разных источников автору удавалось распутывать сложнейшие «клубки» историй взаимодействия земского мира с местными органами государственной власти, отдельных крестьянских династий, поселений, а через них проникнуть в логику землепользования, землевладения, выявить главные движущие силы крестьянской жизни. Поэтому перед нами не история повседневности в узком понимании этого слова, не бытописание, а системно и глубоко исследованная и столь же системно изложенная картина жизни одной из важных категорий русского населения XVII в. – северорусских, главным образом черносошных, а также монастырских крестьян. К сожалению, журнальные рамки не дают возможности рассказать о многих других сторонах бездонного и бескрайнего крестьянского мира Русского Севера, который представлен в книге Е.Н. Швейковской.

Многие, прочитавшие этот отзыв, со скептицизмом заметят, что уж слишком положительный образ русского крестьянина и его деятельности складывается после знакомства с рецензируемой книгой. Однако, во-первых, работа Е.Н. Швейковской вообще не богата оценочными суждениями (и в этом можно даже найти некоторый минус монографии): в ней только факты, огромное количество фактов, взятых из источников, опубликованных и вновь открытых автором в архивах, которые каждый сомневающийся может сам проверить по ссылкам. Поэтому выводы, к которым приходит читатель, складываются из материала, объективно и беспристрастно представленного в исследовании. Во-вторых, новаторские, яркие книги тем и отличаются от научной литературы средней руки, что, пусть в отдельной области, переворачивают наши знания об известном предмете, заставляют по-новому взглянуть на него. В-третьих, и дилетанту, и даже специалисту чрезвычайно вредит внедрившийся в сознание образ русского народа, пришибленного тяжёлой дланью государства, а пото-

му ни к чему не способного, ленивого, пьющего, инфантильно надеющегося в лучшем случае на царя, в худшем – на помещика («вот приедет барин, барин нас рассудит»). Перед читателем же является почти незнакомый мир. Это, разумеется, не рай на земле. Здесь, как и везде, трудно, тяжко добывается хлеб, далеко не просто складываются отношения с государством, точнее, с его аппаратом, и нет такого человека, который бы «любил государство». Однако реальная, воплощённая жизнь, предстающая на страницах книги Е.Н. Швейковской, поражает именно теми возможностями, о которых так много уже сказано и ещё больше говорится сейчас (в особенно модном тренде альтернативной истории) – о России, не тронутой крепостничеством, о крестьянине и посадском с собственной землёй и самоуправлением.

Выходит, необходимо расширять кругозор и включать в научные построения новые конструкции, корректирующие наше представление о прошлом, а следовательно, и настоящем.

Диссертации историков и законодательные нормы (1860–1920-е гг.)

Наталия Алеврас, Наталья Гришина

Российская диссертационная система никогда не была статичной. Её основные черты определялись на протяжении всего XIX в., кардинально менялись в первой трети и относительно стабилизировались во второй половине XX в., что было связано как с принятием регулирующих законодательных актов, так и с ценностными ориентирами научного сообщества. Не раз возникали проблемные и даже конфликтные ситуации, влиявшие на складывание специфической «диссертационной культуры»[1]. В настоящее время система присуждения учёных степеней вновь подвергается реформированию.

Уже к середине XIX в. в России сложилось представление о миссии университетов, призванных обеспечить выработку научного знания, образование юношества и подготовку специалистов, облечённых учёными степенями. Либеральный университетский устав 1863 г.[2] признавал безоговорочное право получения учёной степени за лицами всех социальных слоёв (ст. 114). «Положение об испытаниях на звание действительного студента и учёные степени», утверждённое 4 января 1864 г., разъясняло, что речь идёт о «подданных всех состояний», и предоставляло возможность «узаконенным порядком» получить «увольнение» из податных сословий[3]. При этом, несмотря на поступавшие предложения исключить считавшиеся архаичными звание действительного студента и степень кандидата[4], устав 1863 г. сохранял прежние учёные степени и устанавливал обязательную последовательную связь между ними (ст. 111–113).

Университетский устав 1884 г. сохранял начатую ещё с 1840-х гг. дифференциацию разрядов наук, по которым присуждались учёные степени, и одновременно упрощал процедуру их получения[5]. Так, в новом уставе остались 39 разрядов научных областей, введённых в 1863 г., но устанавливалась двух-

© 2014 г. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина

Исследование подготовлено при поддержке гранта Президента РФ (проект № МК-1810.2013.6).

[1] Подробнее см.: *Алеврас Н.Н., Гришина Н.В.* Российская диссертационная культура XIX – начала XX века в восприятии современников. К вопросу о национальных особенностях // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 36. М., 2011. С. 222.

[2] Общий устав императорских российских университетов, 18 июня 1863 г. // ПСЗ-II. Т. 38. Отд. 1. СПб., 1866. № 39752. С. 621–637.

[3] Журнал Министерства народного просвещения (далее – ЖМНП). 1864. Ч. CXXI. С. 96–110. П. 2, 11.

[4] См.: *Соболева Е.В.* Организация науки в пореформенной России. Л., 1983. С. 180–192.

[5] Эта тенденция заметна уже в «Положении о производстве в учёные степени» от 6 апреля 1844 г., сокращавшем время на процедуру «испытаний», упрощавшем и систематизировавшем объём экзаменационного материала (ЖМНП. 1844. Ч. XLII С. 179–190. П. 32–33, 40–42). Устав 1863 г. и разъяснявшее его в части «испытаний» на учёные степени Положение 1864 г. пошли дальше, отменив экзаменационные испытания для претендентов на получение докторской степени (ЖМНП. 1864. Ч. CXXI. С. 96–110. П. 22).

звенная структура – магистерская и докторская степени (ст. 85), что уменьшало различия между российской и европейской диссертационными практиками. Подтверждалась и осуществлённая в 1863–1864 гг. отмена экзаменов для «ищущего степени доктора» (ст. 87). Кроме того, устав 1884 г. позволял факультету при «выдающихся достоинствах» магистерской диссертации обращаться в совет университета с ходатайством о «возведении» магистранта сразу в степень доктора[6].

Преемственность в регулировании процесса присуждения учёных степеней проявлялась и в увеличении полномочий структурных подразделений университетов. Так, согласно Положению 1844 г., окончательное решение об утверждении в магистерской и докторской степенях принималось министром народного просвещения (ст. 36, 44). По уставу 1863 г. (ст. 110) и Положению 1864 г. (ст. 21, 23, 24, 28, 29) все организационно-процедурные вопросы, связанные с «испытаниями», защитой диссертаций и утверждением претендентов в учёной степени, полностью находились в компетенции факультетов и советов университетов. В 1884 г. полномочия факультетов и университетских советов в «удостоении учёных степеней» были подтверждены (ст. 27, § 1–2, ст. 30, 82). В компетенцию министерства входило рассмотрение ходатайств факультетов и факультетских собраний по этим вопросам только в случаях нестандартных ситуаций. В частности, устанавливалось право для «лиц, приобретших известность учёными трудами», и для «лиц, приобретших почётную известность своими научными трудами», удостаиваться учёными степенями особым порядком. Первых предполагалось выдвигать «прямо к соисканию степени доктора», вторых – «в степень доктора, без испытания на степень магистра и без предоставления диссертации» (ст. 30, § 3, п. 9–10). Эти положения, несколько корректировавшие нормы 1863 г. (примечание к ст. 113), расширяли круг претендентов на получение учёных степеней. Одними из первых ст. 113 устава 1863 г. воспользовались К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин. В 1865 г. в совете Петербургского университета рассматривалось ходатайство юридического факультета о «возведении» обоих в степень доктора. В ходе баллотирования 1 ноября Б.Н. Чичерин получил данное звание (15 шаров «за» и 11 «против»), а К.Д. Кавелину это не удалось (16 членов совета высказались «против» возведения его в степень доктора и только 11 – «за»)[7].

Таким образом, устав 1884 г. не менял основного смысла норм 1863–1864 гг. о подготовке научных кадров и присуждении учёных степеней. Устав 1863 г. и Положение 1864 г. фактически сохраняли приоритетное значение в университетской жизни до начала XX в.[8] Но возникла двусмысленная ситуация: нормативные документы 1860-х гг. были ориентированы на систему 3-х учёных степеней (не считая звания действительного студента), в то время как новый устав оставлял лишь две. Это, как замечено Е.В. Соболевой, не привнесло унифицированного порядка и провоцировало использование норм двух уставов[9]. Проблема лишь усугублялась тем, что в уставе 1884 г. говорилось о разработке новых «правил» предоставления учёных степеней, которые так и не были составлены. Тем не менее и в 1880-е гг. министерство не усомнилось в научной

---

[6] Общий устав императорских российских университетов, 23 августа 1884 г. // ПСЗ-III. Т. 4. СПб., 1887. № 2404. С. 456–474. Ст. 30, § 1, п. 3; ст. 88.

[7] ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 1, д. 6225, л. 1–7.

[8] См.: *Иванов А.Е.* Учёные степени в Российской империи. XVIII в.–1917 г. М., 1994. С. 38.

[9] *Соболева Е.В.* Указ. соч. С. 207–211.

компетентности университетского сообщества, в его способности выявлять и готовить претендентов на учёные степени, проводить защиты диссертаций и оценивать квалификацию их авторов. Этот «островок независимости» российских университетов от министерского диктата был сохранён.

В то же время нормативные документы, определявшие правила подготовки учёных и присуждения им степеней, не регламентировали многие процедурные стороны и не устанавливали стандарты и объём документации, возникавшей в процессе подготовки соискателя к диссертационному диспуту. К примеру, процедура защиты диссертаций не протоколировалась. В уставах и Положении об учёных степенях очерчивалась лишь процедурная схема движения соискателя от экзаменационных испытаний к защите диссертации. В них говорилось о необходимости заблаговременного представления факультету изданного текста диссертации, кратких тезисов её содержания, «письменного разбора» (отзыва) профессора, на кафедре которого она выполнялась, назначения не менее двух оппонентов, публичности защиты[10]. Университеты и факультеты брали на себя функцию освещения в печати хода и результатов событий, связанных с защитами диссертаций. Как от самих соискателей учёных степеней, так и от всех участников этого сложного и многостороннего процесса в достижении поставленной цели требовалось вложение большой интеллектуально-эмоциональной энергии, физического здоровья, временных затрат, творческого подхода и вдохновения. Конечным продуктом становилась диссертация, которую многие учёные-современники воспринимали как серьёзный, фундаментальный научный труд, ориентированный на открытие нового в науке. С 1805 по 1919 г. во всех российских университетах по разрядам исторических наук было защищено 275 диссертаций (в 1805–1859 гг. – 59, в 1860–1889 гг. – 93, в 1890–1919 – 123)[11]. Особое внимание в научной и общественной среде привлекали докторские диссертации и диспуты (таковых было 95).

В первой половине 1890-х гг. трое историков (Н.М. Бубнов, М.С. Корелин и Р.Ю. Виппер) воспользовались ст. 88 Устава 1884 г., предусматривавшей возможность возведения магистра прямо в степень доктора[12]. Существование подобной нормы во многом объяснялось недостатком докторов и профессоров в российских университетах и желанием правительства как можно скорее заполнить вакансии. Однако присуждение докторства, минуя магистерство, так и не стало обычной практикой университетской жизни. Подобные случаи встречали сопротивление и повышали уровень конфликтности в научной среде. Так, предоставление 19 мая 1891 г. докторской степени Н.М. Бубнову вызвало нарекания со стороны его коллег. В журнале заседания историко-филологического факультета 19 мая 1891 г. кратко зафиксированы итоги диспута Бубнова и принятое большинством голосов решение, учитывая «выдающиеся достоинства»

---

[10] ЖМНП. 1864. Ч. CXXI. С. 96–110. П. 21, 23–29.

[11] Подробнее см.: *Алеврас Н.Н., Гришина Н.В.* Указ. соч. С. 226–228, 243.

[12] Прецеденты получения докторства, минуя магистерство, встречались в университетской практике и раньше. Так, известен состоявшийся 13 мая 1868 г. диссертационный диспут К.Н. Бестужева-Рюмина, который после сдачи магистерского экзамена исполнял обязанности доцента кафедры русской истории Петербургского университета. По ходатайству историко-филологического факультета его первая диссертация была признана как «превосходное исследование», и совет университета баллотировал его сразу в степень доктора, что позволило провести утверждение его сначала экстраординарным, а потом и ординарным профессором (*Брачев В.С., Дворниченко А.Ю.* Кафедра русской истории Санкт-Петербургского университета. 1832–2004. СПб., 2004. С. 37–39).

диссертации, ходатайствовать перед советом университета о возведении её автора «прямо в степень доктора всеобщей истории»[13]. Но В.Г. Васильевскому, учителю Бубнова, пришлось возражать С.Ф. Платонову и М.И. Горчакову, сомневавшимся в целесообразности этого[14].

В Московском университете начало 1890-х гг. также ознаменовалось несколькими попытками ускоренно приобрести докторство, что породило некоторую напряжённость в жизни историко-филологического факультета. Первым магистрантом, удостоенным сразу докторской степени, стал 10 мая 1892 г. М.С. Корелин. Оставленный в 1880 г. В.И. Герье для подготовки к профессорскому званию, молодой историк уже в 1882 г. сосредоточился на изучении «истории духовной культуры», поскольку в ней «выражается век, многообразные явления исторической жизни». Стремясь «исчерпать» локальный предмет своего исследования «всесторонне и с совершенною полнотою», Корелин смело признавался, что «желал бы оказать посильную помощь при сооружении того здания, над которым работают историки всех стран и народов»[15]. На окончательную формулировку темы диссертации у Корелина ушло несколько лет. Очевидно, только после заграничной командировки 1885–1887 гг. и изучения рукописей и исследований западноевропейских историков в зарубежных библиотеках у него сложился план будущей работы. В ноябре 1886 г. Корелин изложил свои соображения Герье, тогда же он пришёл к мысли, что магистерская степень уже не цель, а только «перепутье». Летом 1887 г., ориентируясь на привычный порядок получения учёных степеней, Корелин сообщил учителю, что одновременно собирает материал для «второй» (докторской) диссертации[16]. Таким образом, в это время идея миновать магистерскую защиту ещё не возникала. Вероятно, к началу 1890-х гг. при активном участии Герье было принято решение соединить в одной работе все собранные материалы и ходатайствовать о праве претендовать на докторскую степень. К моменту диспута Корелину было уже 36 лет, и он, несомненно, считал жизненной необходимостью и делом чести как можно скорее подготовить основательное научное исследование, которое позволило бы ему повысить профессиональный статус. Его дневники и письма свидетельствуют о перенапряжении, с которым он работал над своим трудом, и о довольно серьёзных проблемах со здоровьем. Но это не помешало ему представить оригинальное исследование в двух выпусках, первый из которых насчитывал более 500, а второй – более 1 тыс. страниц[17]. Докторский диспут, как представлялось Корелину, прошёл блестяще. «Никогда не работал с такою интенсивностью, как в этом году, – отметил он в дневнике 31 мая 1892 г., – и никогда ещё не имел такого успеха. 15 апреля кончил диссертацию, 22-го – представил её в факультет, 29 – дали доктора[18] и 10 мая – диспут. Возражения Герье, Стороженко и Веселовского носили отеческий характер и произвели, по-видимому, благоприятное впечатление. Хорошие отзывы в га-

---

[13] См.: ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 27, д. 613, л. 168. Заметим, что в отличие от Московского университета, где вопрос о возможности присуждения докторства решался до диспута, в Петербургском подобное решение принималось факультетом сразу после диспута, по его итогам.

[14] ОР РНБ, ф. 585, оп. 1, д. 5691, л. 61–61 об.

[15] Цит. по: *Цыганков Д.А.* Профессор В.И. Герье и его ученики. М., 2010. С. 230, 231.

[16] Там же. С. 271, 272, 281.

[17] Через 20 лет его диссертация была переиздана. См.: *Корелин М.С.* Ранний итальянский гуманизм и его историография. Изд. 2. Т. 1–4. М., 1914.

[18] Имеется в виду удовлетворение факультетом ходатайства М.С. Корелина о выдвижении его труда на соискание докторской степени.

зетах. Много писем и телеграмм»[19]. После защиты докторской диссертации Корелин получил должность экстраординарного профессора по кафедре всеобщей истории.

Между тем впечатления некоторых сторонних наблюдателей о диспуте Корелина и его диссертации были весьма сдержанны. А.Е. Пресняков, приехавший в Москву для работы в архиве и присутствовавший на диспуте, обобщая критические замечания и разговоры московских историков, писал матери: «Работы в двух больших томах много, но воды и избитых общих мест тоже достаточно, а выводы его – все такого сорта». По словам Преснякова, «вытянул его Герье, который очень его любит»[20]. Сам Корелин также почувствовал неоднозначное отношение к получению им докторской степени. В ноябре 1892 г. в «длинном» разговоре с Р.Ю. Виппером он пытался выяснить «причины недовольства... историков», сетовавших на «легкомыслие» его «учёной и педагогической деятельности»[21]. Вероятно, в нём видели разрушителя десятилетиями складывавшихся традиций последовательного приобретения учёных степеней. Сказывалось и то, что он был известен тяжёлым характером и склонностью к нелицеприятной оценке коллег.

Напряжённая ситуация сложилась вокруг состоявшейся 14 мая 1894 г. защиты Р.Ю. Виппера. Ещё 27 апреля историко-филологический факультет по инициативе В.И. Герье и П.Г. Виноградова постановил присудить ему в случае успешной защиты степень доктора. «В глубине души я был против этого, но, может быть, по зависти, – откровенно признавался в дневнике Корелин, – но действовал за [из] солидарности и приличия»[22]. Тем не менее вскоре после диспута он констатировал, что отношения с Виппером «порваны», а «випперовский кружок» настроен к нему «враждебно»[23]. Ситуация усугублялась тем, что Виппер не мог остаться на кафедре всеобщей истории, так как должности её ординарного и экстраординарного профессоров были заняты Герье и Корелиным. Новоиспечённому доктору пришлось отправиться на службу в Новороссийский университет. Обращая внимание на соперничество среди учеников Герье, Т.Н. Иванова указывает, что после вынужденного отъезда из Москвы Виппер «до конца своей жизни таил глухую обиду на своего учителя»[24].

«Неудачная» диссертационная история П.Н. Милюкова также осложнила отношения между учителем и учеником. Его диспут состоялся через неделю после защиты М.С. Корелина, однако он не был рекомендован факультетом к докторской степени, прежде всего из-за того, что В.О. Ключевский считал в данном случае нецелесообразным применять ст. 88. Успех Корелина «на фоне неудачи Милюкова вызвал раздражение среди молодых московских историков, поскольку энергичный и жизнелюбивый Милюков к тому време-

---

[19] Центральный государственный архив города Москвы (Центр хранения документов до 1917 г.) (далее – ЦГА г. Москвы), ф. 2202, оп. 3, д. 1, л. 25.

[20] Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С. 35.

[21] *Макушин А.В., Трибунский П.А.* Дневниковые записи М.С. Корелина о П.Н. Милюкове // Археографический ежегодник за 2005 год. М., 2007. С. 496.

[22] Там же. С. 498.

[23] Там же.

[24] *Иванова Т.Н.* Научное наследие В.И. Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е гг. XIX – начало XX века). Чебоксары, 2010. С. 319.

ни уже пользовался большим авторитетом в их среде, Корелин же держался несколько особняком»[25].

Следует отметить, что при рассмотрении вопроса о возможности «возведения» П.Н. Милюкова, которому, как и М.С. Корелину, к моменту защиты диссертации было уже более 30 лет, сразу в степень доктора известное противодействие возникло вне связи с характером и уровнем представленной им к защите диссертации[26]. В её основательности и научной ценности, а также таланте самого диссертанта практически все были уверены. Сам историк, который, по собственному признанию, «готовил вклад в науку»[27], находился в расцвете интеллектуальных и физических сил. «Я не сомневался, что меня хватит на сколько угодно диссертаций», – вспоминал он[28]. Однако докторство обеспечивало стабильность дальнейшего карьерного роста, а при получении профессорства существенно повышало жалованье учёного[29]. Отказ Милюкову в докторстве опирался на укоренённый в университетской культуре предшествующими уставами принцип последовательного движения соискателя от низшей к высшей учёной степени. Ключевский, не раз выступавший против нарушения этой традиции, придерживался её, возможно, и из «воспитательных» соображений. Сыграли свою роль напряжённые личные отношения ученика и учителя, сложившиеся задолго до диспута[30]. Кроме того, перспектива карьерного скачка к профессорству ученика создавала ситуацию явного соперничества в сфере статусных взаимоотношений учителя-профессора и ученика, претендующего на эту должность[31], что провоцировало конфликт. И хотя схожая ситуация не стала препятствием для Корелина, проблемы с «трудоустройством» других защитившихся учеников Герье на долгие годы порождали трения внутри его научной школы.

Так или иначе, получив от «реакционного» устава возможность ускорить продвижение талантливой молодёжи к высшим учёным степеням и карьерному росту, научное сообщество оказалось неготовым к её реализации. По подсчётам Г.Г. Кричевского, из общего числа защищённых в России после устава 1884 г. диссертаций установленным в его 88-й статье правом воспользовалось «не более 30» человек[32]. Многие соискатели не рисковали идти на этот шаг. Сказывались и сложные взаимоотношения в научной среде, и личные амбиции, и несоответствие вызовам времени сети университетов и их «штатного расписания».

---

[25] *Макушин А.В., Трубинский П.А.* Дневниковые записи М.С. Корелина о П.Н. Милюкове. С. 495.

[26] См.: *Милюков П.Н.* Государственное хозяйство России в связи с реформой Петра Великого. М., 1892 (Изд. 2. СПб., 1905).

[27] *Милюков П.Н.* Воспоминания. М., 1991. С. 107.

[28] Там же. С. 106–107.

[29] К этому времени Милюков уже устал от «беготни по урокам» для пополнения семейного бюджета (Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков). Омск, 2003. С. 54).

[30] История их взаимоотношений и затяжного конфликта детально описана. См., например: *Макушин А.В., Трибунский П.А.* Павел Николаевич Милюков: труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001. С. 50–76.

[31] Любопытно, что, фиксируя «непреклонность» Ключевского в отстаивании своей позиции, Милюков резюмировал: «Члены факультета понимали, что речь идёт не о продвижении науки, а о продвижении в университетской карьере» (*Милюков П.Н.* Воспоминания. С. 107).

[32] *Кричевский Г.Г.* Учёные степени в университетах дореволюционной России // История СССР. 1985. № 2. С. 148.

Драматические истории получения докторской степени не могли не влиять на представителей младшего поколения историков, стоявших перед выбором профессионального пути. К примеру, петербуржец А.Е. Пресняков (тогда – студент, окончивший третий курс и взявшийся за подготовку конкурсного сочинения) писал матери: «Предполагается, что магистр пишет докторскую диссертацию. Но всё это учёные степени, скажешь ты, а профессура? Профессура даётся старшему доценту по вакансии. Так, после Замысловского стал профессором Платонов, и я надеюсь, что не доживу до того, чтобы в Петербургском университете был другой профессор русской истории, так как это значит, что Платонов скончался или ушёл»[33]. «Я на это дело так смотрю, – рассуждал он в 1899 г., выбирая между преподаванием в гимназии или университете, – наука, умственные интересы и т.д. – это одно, а учёная карьера – другое, которая должна сама к первому приложиться, а гнуть первое под второе – дело нежелательное... А иначе – не стоит». «Неужели ты, мамочка, – вопрошал Пресняков, – хотела бы видеть твоего Саню профессором, который пролез в это звание с трудами, написанными ради получения учёной степени, но посредственного достоинства?»[34].

Обязательная привязка докторской степени к профессорскому званию, закреплённая нормами пореформенных уставов[35], формировала в научном сообществе представление о повышенном статусе докторской диссертации. Законодательно вводившиеся самые общие требования к содержанию диссертаций касались именно докторских работ. Так, ещё в 1844 г. обращалось внимание на то, что докторская диссертация должна быть самостоятельным сочинением, не повторяя тему магистерской[36]. Положение 1864 г. также требовало самостоятельной разработки какого-либо научного вопроса, допуская в докторской работе «обширное исследование предмета магистерской диссертации», но не её повторение[37]. Фактически же научная общественность сама вырабатывала критерии состоятельности как магистерской, так и докторской диссертаций. При этом жёстких различий между ними не существовало. Вместе с тем проблемные или даже скандальные ситуации с защитой некоторых диссертаций вызывали полемику и порождали ряд суждений и предложений по совершенствованию системы присуждения учёной степени доктора и существующих традиций диссертационной культуры. Однако, поскольку когорты носителей учёных степеней были тогда вполне обозримы, низкий уровень диссертаций, в особенности докторских, являлся экстраординарным событием, а факультетский отзыв легко мог остановить претендента, представившего «слабую» работу.

Примером может служить отрицательный отзыв на докторскую диссертацию ученика К.Н. Бестужева-Рюмина А.И. Барбашева, посещавшего «Кружок русских историков», центральной фигурой которого, как известно, был С.Ф. Платонов. В 1886 г. (за два года до защиты Платоновым магистерской диссертации) Барбашев уже стал магистром русской истории, а в 1892 г. представил историко-филологическому факультету Петербургского университета сочинение «Очерки Литовско-русской истории XV в. Витовт, последние двадцать лет княжения», рассчитывая получить за него степень доктора. Платоно-

---

[33] Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники... С. 66.
[34] Там же. С. 305–306.
[35] ПСЗ-II. Т. 38. № 39752. ст. 68; ПСЗ,-III. Т. 4. № 2404. Ст. 99.
[36] ЖМНП. 1844. Ч. XLII. С. 179–190. П. 37, 38.
[37] Там же. 1864. Ч. CXXI. С. 96–110. П. 28.

ву, занимавшему с 1890 г. должность экстраординарного профессора, но ещё не защитившему докторской диссертации[38], факультет поручил дать отзыв. Сложилась довольно «пикантная» ситуация, так как появление нового доктора русской истории теоретически могло создать конкуренцию профессору без докторской степени. Платонов в то время усиленно работал над диссертацией, но её защита состоялась только в 1899 г.

Судя по черновику отзыва Платонова, сохранившемуся в его архивном фонде[39], претендент на докторство вряд ли мог составить конкуренцию талантливому профессору. В отзыве отмечалась тематическая связь магистерской диссертации и представленного Барбашевым исследования, однако его новый труд признавался самостоятельной монографией «по заглавию» и структуре, что формально соответствовало нормативным требованиям. При этом введение характеризовалось как «краткое» и «поверхностное», лишённое аналитического подхода при работе с источниками и самостоятельности суждений. Дав лаконичное описание восьми глав, содержание которых не привлекло его внимания, рецензент признал наиболее ценным лишь одно из приложений – «Летописные источники в истории Литвы в средние века». Бóльшая часть отзыва была посвящена доказательству отсутствия в диссертации какой-либо «теоретической постановки темы» и новизны её разработки. Автору, по мнению Платонова, удалось создать лишь «сводную летопись», «реестр» изучаемых событий, а его сочинение «не вводит читателя в новое научное разумение вопроса» и «представляется... отсталым в основных воззрениях на избранную им эпоху и на её изучение». Диссертация явно страдала описательностью («прагматическим изложением» материала). Барбашеву не удалось охарактеризовать эпоху в целом и предложить собственную интерпретацию литовско-русской истории времён Витовта. В упрёк ему ставились также «скудость научных результатов» и отсутствие «разбора взглядов других историков» (соискатель ограничился простым перечнем трудов своих предшественников в изучении темы, и это позволило рецензенту констатировать, что «историографического обзора... у него нет»). Приходя к заключению, что рецензируемое исследование «не даёт ничего нового и ценного», Платонов предоставлял факультету решать вопрос, «в какой мере труд г. Барбашева достоин высшей учёной степени». Однако характер отзыва не оставлял сомнений в том, какого мнения придерживался сам рецензент. Попытка В.Г. Васильевского убедить факультет дать А.И. Барбашеву «докторство *со снисхождением*» не увенчалась успехом[40].

Как содержание, так и структура отзыва С.Ф. Платонова, сделавшего акцент на методологических аспектах аргументации и проблемных местах рецензируемого исследования, раскрывают принципы и критерии, которыми руководствовались эксперты диссертационных трудов. Отражая культуру оппонирования конца XIX в., данный отзыв содержит ряд компонентов, которые вполне соответствуют и современной диссертационной практике.

---

[38] Профессорство С.Ф. Платонова – характерный пример обхода известных, отмеченных выше статей пореформенных уставов. Его назначение явилось результатом конкретных обстоятельств, связанных с уходом с должности профессора его предшественников (К.Н. Бестужева-Рюмина и Е.Е. Замысловского) и отсутствием на тот момент в университете доктора русской истории (*Брачев В.С., Дворниченко А.Ю.* Указ. соч. С. 91–109).

[39] ОР РНБ, ф. 585, оп. 1, д. 1458, л. 1–12.

[40] Там же, д. 5692, л. 1.

Учёные не раз отказывались принимать к защите «слабые» диссертации. Так, в 1915 г. в Петербургском университете было «провалено» исследование О.Ф. Вальдгауэра, посвящённое истории искусства. Оно изначально весьма низко оценивалось в отзыве Б.В. Фармаковского, но затем нашло неожиданную поддержку со стороны М.И. Ростовцева, утверждавшего, что ранее «факультет пропускал диссертации не более достойные, чем эта». В дневнике Н.Н. Платоновой подобная позиция Ростовцева объяснялась тем, что диссертант возглавлял в Эрмитаже отдел древностей, где работал его заступник[41]. Но несмотря на это, факультет так и не допустил Вальдгауэра к защите. По свидетельству С.А. Жебелёва, когда стало ясно, что «диссертация будет отклонена», он вместе с Ф.Ф. Зелинским и Ростовцевым убедил коллег не проводить голосование. Автору частным порядком рекомендовали, чтобы «он взял свою диссертацию обратно, как если бы он её не представлял»[42].

Неординарным событием стала защита в Петербургском университете диссертации Н.Д. Чечулина. В 1896 г. он представил в качестве докторского исследования свою книгу «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. 1762–1774» (СПб., 1896). Затронутые в ней сюжеты интересовали многих учёных, что привлекло к работе повышенное внимание. Диспут, который современники оценивали как скандальный и свидетельствующий о неэффективности правил подготовки соискателей к приобретению учёной степени[43], состоялся 8 декабря того же года. По результатам голосования («за» – 8, «против» – 2) Чечулин стал доктором[44].

Вскоре в печати развернулась дискуссия о необходимости реформирования диссертационной системы, продолжившаяся затем в официальных министерско-профессорских комиссиях 1902–1903 и 1906 гг.[45] Г.Ф. Шершеневич прямо поставил вопрос о целесообразности диссертационного диспута и подлогах при изготовлении научных трудов. Отмечая, что публичность защиты не «является единственною гарантиею подлинности» проведённого исследования, поскольку «за деньги» можно приобрести и вынести на обсуждение «чужую диссертацию», Шершеневич видел в диспутах «только формальность». По его словам, они не приносят «никакой пользы целям науки, являются только тяжёлым испытанием для начинающего учёного и даровым зрелищем, нередко очень весёлым, для праздных зрителей»[46].

В.А. Мякотин, напротив, решительно встал на защиту традиции, считая диспут «наиболее плодотворным элементом» «учёного спора» и связующим звеном между университетами и широкой общественностью. Он утверждал, что «публика... приходит на диспуты, конечно, не учиться, но и не наблюдать бой атлетов, а знакомиться с представителями университетской науки»[47]. Однако и он признавал формализацию диспутов. Для её преодоления Мякотин

---

[41] Там же, д. 5695, л. 56 об.–58.

[42] Из научного наследия: Записка о присуждении учёных степеней С.А. Жебелёва // Очерки истории отечественной археологии. Вып. III. М., 2007. С. 157.

[43] См.: *Шершеневич Г.Ф.* О порядке приобретения учёных степеней. Казань, 1897; *Мякотин В.А.* Диспут и учёная степень // Русское богатство. 1897. Июль. № 7. С. 1–34; *Сергеевич В.И.* О порядке приобретения учёных степеней // Северный вестник. 1897. № 10. С. 1–19.

[44] См.: ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 1, д. 8691, л. 6–85; *Брачев В.С., Дворниченко А.Ю.* Указ. соч. С. 83–86.

[45] См.: *Иванов А.Е.* Указ. соч. С. 47; *Алеврас Н.Н., Гришина Н.В.* Указ. соч. С. 228–237.

[46] *Шершеневич Г.Ф.* Указ. соч. С. 14–15, 17.

[47] *Мякотин В.А.* Указ. соч. С. 8–9.

рекомендовал расширить практику выступлений неофициальных (частных) оппонентов и строже относиться к тем официальным оппонентам, которые пытались скрыть явные недостатки диссертации. В частности, он резко критиковал выступление С.Ф. Платонова на диспуте Н.Д. Чечулина[48]. Вместе с тем Мякотин указывал и на случаи, когда отрицательный отзыв оппонента препятствовал защите «серьёзного научного труда», как это произошло в 1895 г. с диссертацией В.Ф. Дерюжинского[49].

Ректор Петербургского университета В.И. Сергеевич также поддерживал идею «гласности» диспутов, считая, что они не только раскрывают особенности отдельных диссертаций, но и демонстрируют научные подходы различных «учёных школ». «Спор научных школ, – полагал он, – из залы диспута переносится в печать и решается историей»[50]. Ставя вопрос о том, «существуют ли какие-либо объективные признаки, при наличности которых сочинение должно быть одобрено или забраковано», Сергеевич не давал на него ответа из-за «неопределённости требований», содержавшихся в нормативных актах[51]. В результате, решая судьбу той или иной диссертации, факультет, по мнению профессора, исполнял роль «человеческого суда», со всеми его недостатками и слабостями. Тем не менее Сергеевич занял примиряющую позицию в этом вопросе, он не склонен был драматизировать ситуацию с выработкой чётких критериев оценки трудов соискателей. «Практика университетов, – отмечал он, – скорее склоняется к одобрению слабых трудов, чем к непризнанию действительных учёных заслуг. И это – правильно: нет никакого вреда от лишнего магистра или доктора, а недостаток их может быть вреден»[52]. Мякотин относился к появлению диссертаций с низким профессиональным уровнем менее миролюбиво и открыто возмущался позицией факультета, оставившего без внимания критику диссертации Чечулина со стороны неофициальных оппонентов и превратившего диспут в «пустую комедию».

Факультетская экспертиза диссертации часто проводилась с нарушением законодательных норм, согласно которым текст должен был рассматриваться «всеми членами факультета порознь», а его письменный анализ осуществлял «профессор или занимающий кафедру доцент, к предмету которого принадлежит сочинение»[53]. Однако, как писал Шершеневич, «на самом деле диссертации читаются только лицами, которым поручается отзыв», и лишь в редких случаях, когда исследование «имеет общий для всех научный вопрос» или «почему-либо затрагивает личные вопросы», с ним знакомятся «многие члены факультета»[54]. Неудивительно, что при таком отношении судьба работы «будет решаться единолично под прикрытием коллективного начала»[55]. Шершеневича заботило и то, что даже если диссертация не принималась на одном факультете, она могла быть защищена в другом университете. С учётом всех этих обстоятельств лишь риторически можно было спрашивать: «Существует ли ка-

---

[48] Там же. С. 12, 22–27. Отзыв С.Ф. Платонова, поддержавшего своего коллегу и друга, см.: ЖМНП. 1897. Январь. Ч. CCCIX. С. 170–175.

[49] См.: *Мякотин В.А.* Указ. соч. С. 6.

[50] *Сергеевич В.И.* Указ. соч. С. 15, 16.

[51] Там же. С. 7.

[52] Там же. С. 8.

[53] ЖМНП. 1864. Ч. CXXI. С. 96–110. П. 21.

[54] *Шершеневич Г.Ф.* Указ. соч. С. 18–19.

[55] Там же. С. 19–20.

кой-либо общий критерий научной ценности труда? Имеется ли общее мерило научной требовательности?»[56].

Не находя ответа ни в законодательстве, ни в традициях университетского сообщества, Шершеневич настаивал на необходимости реформирования существовавшего «порядка получения учёных степеней» и создания некоего «центрального учреждения» в составе Министерства народного просвещения, которое, не завися от особенностей научных традиций и психологического климата факультетов, координировало бы процесс рассмотрения диссертаций. В частности, данное «центральное учреждение» рассылало бы их экземпляры в различные университеты, собирало отзывы, которые публиковались бы в одном из журналов, и на основании мнений экспертов принимало бы окончательное решение о научной ценности работы и квалификации её автора[57]. Это исключало как процедуру диспута, так и участие факультета и университета в присуждении соискателю учёной степени. Устраняя субъективные факторы, «центральное учреждение», по мнению Шершеневича, должно было гарантировать «беспристрастность» оценки диссертационных исследований.

Ни Мякотин, ни Сергеевич не поддержали эти предложения. Первый раскритиковал «механическое» сведение мнений разных факультетов о диссертации и «замену живого дела бесплодною канцелярщиною»[58], а второй, высмеяв бюрократизм разработанного Шершеневичем порядка рассмотрения отзывов, напомнил, что «учёные силы» не создаются какими-либо формальными процедурами: «Для этого нужна любовь к наукам и отсутствие правил, мешающих их процветанию»[59]. В то же время Сергеевич соглашался с тем, что следует публиковать отзывы на диссертации, особенно отрицательные, дабы исключить корыстные соображения рецензента и избежать «келейности» заседаний факультетов[60]. Эта «полезная» и вносящая «бóльшую гласность в дело приобретения учёных степеней» мера полностью одобрялась и Мякотиным[61].

Начавшееся в 1890-е гг. обсуждение вопроса об организации процесса присуждения учёных степеней приобрело в новом столетии ещё бóльшие масштабы. Даже в тревожном 1917 г. шли споры о проекте отмены магистерских экзаменов и о возможности получения звания приват-доцента на основании представления факультету сочинения pro venia legendi[62]. В канун октябрьских событий вокруг этого проекта, вызванного «нуждой провинциальных университетов в преподавателях»[63], на заседании совета историко-филологического факультета Московского университета развернулась острая дискуссия. Учёные опасались, что в результате принятия данной меры произойдёт, по словам декана А.А. Грушки, «девальвация научного ценза». А.А. Кизеветтер прямо указывал на желание министерства «получить преподавателей числом поболее, учёностью пожиже». Однако на

---

[56] Там же. С. 23.
[57] Там же. С. 25–27.
[58] *Мякотин В.А.* Указ. соч. С. 33.
[59] *Сергеевич В.И.* Указ. соч. С. 12.
[60] Там же. С. 7.
[61] *Мякотин В.А.* Указ. соч. С. 32.
[62] ЦГА г. Москвы, ф. 418, оп. 476, д. 423, л. 63–66. В декабре 1917 г. свои заключения по данному проекту составили факультеты Петроградского университета (ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 27, д. 62, л. 69).
[63] ЦГА г. Москвы, ф. 418, оп. 476, д. 423, л. 63–64 об.

факультете преобладало мнение о необходимости сохранения устоявшихся «повышенных требований»[64].

Перманентное обсуждение на протяжении двух десятилетий вопроса о присуждении учёных степеней свидетельствовало о том, что в российской диссертационной системе назрели перемены. Однако в конце 1910-х гг. вполне ожидаемая её трансформация была осуществлена в настолько радикальной форме[65], что многие оказались к этому не готовы. Одной из последних защит, организованных в рамках прежних правил, стал докторский диспут В.И. Пичеты, состоявшийся 21 апреля 1918 г. По воспоминаниям присутствовавшего на нём И.Ф. Рыбакова, официальный оппонент М.К. Любавский позволил себе отклониться от формальной процедуры оценки диссертации, заявив, что «диспут его друга и ученика – возможно, последний – "анахронизм наших печальных дней", так как "кучка политических авантюристов, захвативших власть, поставила науку под сомнение и намерена её вовсе уничтожить"»[66].

Тем не менее инерция применения «старых» норм сохранялась до 1919 г., когда в Харьковском университете был организован магистерский диспут П.П. Смирнова и прошла защита докторской диссертации Е.Д. Сташевского, которого московские и харьковские коллеги обвиняли в краже из архивов ряда документов. В более спокойное время ему вряд ли бы удалось защититься[67].

Однако отмена учёных степеней не привела к уничтожению традиций диссертационной культуры, многие формы которой сохранялись на неофициальном уровне. В частности, на протяжении 1920-х гг. продолжали организовываться научные диспуты для получения научной «квалификации». Фактически учёная корпорация оставила за собой право своеобразной проверки на профессиональную компетентность. Свидетельства о «квалификационных» диспутах крайне скудны, но то, что они проходили как в «старых», так и в недавно появившихся университетских центрах, указывает на распространённость этой процедуры. В 1921 г. в Пермском университете прошёл диспут Н.П. Оттокара, по-видимому, не успевшего организовать защиту ранее[68]. В том же году в Воронежском университете защитил своё исследование о воцарении Михаила Романова Г.А. Замятин (рукопись которого ещё в 1918 г. была принята в качестве магистерской диссертации Юрьевским университетом, но там защита так и не состоялась)[69]. С.А. Жебелёв вспоминал о диспутах О.М. Фрейденберг в 1924 г. (на котором он был одним из официальных оппонентов) и В.В. Струве в 1928 г. Несмотря на соблюдение всех формальных процедур, они носили почти «до-

---

[64] Там же, л. 64–65 об.

[65] 1 октября 1918 г. все учёные степени и звания были отменены декретом СНК РСФСР «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учёных и высших учебных заведений Российской республики» (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1918. № 72). См. также: *Корзун В.П., Сидорякина Т.А.* К проблеме трансформации «профессорской культуры» // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2009. № 1. С. 70–75.

[66] НИОР РГБ, ф. 714, к. 2, д. 1, л. 12.

[67] *Михальченко С.И.* Дело профессора Е.Д. Сташевского // Вопросы истории. 1998. № 4. С. 122–128.

[68] *Клюев А.И.* Из истории одной книги: Н.П. Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2011. № 34. С. 252–253. Известно о черновых набросках отзывов на диссертацию Н.П. Оттокара, сделанных в 1919 г. И.М. Гревсом и О.А. Добиаш-Рождественской. См.: Санкт-Петербургский филиал архива РАН, ф. 726, оп.1, д. 166, л. 1–1 об.; ОР РНБ, ф. 254, оп. 1, д. 223, л. 1–61.

[69] ОР РНБ, ф. 585, оп. 1, д. 2935, л. 4.

машний характер»: «Диссертации представлялись не в напечатанном виде, а несколько экземпляров их отстукивалось на машинке, и один из них выставлялся для обозрения и использования в университетской библиотеке. Сомнительно, чтобы кто-нибудь их читал, кроме самого диспутанта и его оппонентов»[70]. Практически все подобные диспуты устраивались для защиты диссертаций, соответствовавших тем, которые в дореволюционное время давали соискателю степень магистра. И хотя они не играли решающей роли при получении должности и права преподавания, молодые учёные видели в них способ укрепления своего авторитета в академическом сообществе.

Приобретение более высокого научного статуса стало регламентироваться с начала 1920-х гг. Так, в Украинской ССР уже в 1922 г. был принят Кодекс по народному просвещению, в п. 619 которого говорилось, что «для лиц высшей учёной квалификации устанавливается высшая учёная степень доктора»[71]. Официально получение степени доктора не давало никаких привилегий, тем не менее находились желающие подвергнуться публичному диспуту. Вероятно, их мотивация, как и у А.Е. Преснякова, лежала не в плоскости карьерных соображений, а была обусловлена желанием получить право на научную компетенцию и закрепить первенство своей научной концепции.

В мае 1926 г. на заседании Центрального совета Секции научных работников В.П. Волгин в докладе обосновал необходимость введения учёной степени доктора наук и унификации порядка её присуждения на всей территории страны, что должно было способствовать «упорядочению и уточнению дела квалификации научных работников» при занятии тех или иных должностей[72]. При этом Волгин ссылался на «инциденты почти комического свойства» – поездки на Украину и в Азербайджан для приобретения учёной степени[73]. По сути, эти случаи свидетельствовали о сохранении ценности докторского статуса в учёной среде.

При обсуждении вопроса о том, кому следует предоставлять докторскую степень, мнения разделились. В Государственном Учёном совете считали возможным присуждать её аспирантам, прошедшим трёхлетний стаж, защитившим выпускное сочинение и подвергшимся коллоквиуму, а Центральное бюро Секции научных работников, которое представлял Волгин, напротив, полагало, что аспирант – не более, чем «в старое время приватдоцент» (так в тексте. – *Н.А., Н.Г.*), тогда как степень доктора «соответствует более высокой научной квалификации... достаточной и необходимой для занятия профессорской кафедры»[74].

Симптоматично, что участники этой дискуссии вынуждены были опираться на нормы и негласные правила, выработанные в рамках дореволюционной диссертационной системы. В проекте Государственного Учёного совета предусматривалось восстановление таких процедур, как публичный диспут, назначение официальных оппонентов, право присутствующих на защите выступать со своими замечаниями. Решение о присвоении учёной степени совет факультета

---

[70] Из научного наследия: Записка о присуждении учёных степеней С.А. Жебелёва. С. 161.

[71] ГА РФ, ф. А-2307, оп. 2, д. 6, л. 278.

[72] *Волгин В.П.* Об установлении единой учёной степени // Научный работник. 1926. № 7–8. С. 23.

[73] Там же. С. 22–23.

[74] Там же. С. 24. По словам О.Ю. Шмидта, докторская степень должна указывать на то, что «лицо принадлежит к группе высококомпетентных работников в своей специальности».

должен был принимать квалифицированным большинством. Не подвергая сомнению принцип публичности, Центральное бюро Секции научных работников предлагало, чтобы степень присуждалась особым органом, в состав которого, помимо представителей деканата и предметных комиссий, входили бы все профессора и преподаватели[75]. Фактически речь шла о создании специальных диссертационных советов. Кроме того, в тезисах «О введении учёной степени доктора» О.Ю. Шмидт вновь поставил вопрос о необходимости предоставления научным учреждениям и «третьим лицам» права инициировать присуждение степени без защиты, «если имеется в виду учёный, квалификация которого общеизвестна и в публичной проверке не нуждается»[76].

Постепенный процесс восстановления диссертационной системы в общих чертах завершился в первой половине 1930-х гг., когда нормативно были закреплены две учёные степени и создана Высшая аттестационная комиссия. В известной мере это означало вынужденное возвращение к прежним квалификационным требованиям, что позволяет говорить о частичном сохранении «старой» традиции.

---

[75] Там же. С. 30.

[76] Цит. по: *Волгин В.П.* Указ. соч. С. 29.

По линии наибольшего сопротивления (Памяти Л.В. Даниловой)

Александр Журавель

Людмила Валериановна Данилова занимает особое место в истории исторической науки второй половины XX в. Она не искала в науке лёгких путей – трудности сами находили её, и Людмила Валериановна старалась в меру сил их побороть или, по крайней мере, так или иначе противостоять им. Её место в отечественной исторической науке не оценено по достоинству. Исследователи постсоветского времени знают о Л.В. Даниловой в лучшем случае лишь как об авторе двух монографий по социальной истории средневековой Руси. О том, что она была одним из лидеров историков-шестидесятников, ведших самоотверженную борьбу за право учёных на свободное научное творчество, современные историки в массе своей не осведомлены. Не знакомы они и с Л.В. Даниловой как с крупным марксистским теоретиком. Между тем в нынешнюю эпоху «методологической шизофрении», как метко заметил Е.В. Анисимов[1], обращение к теоретическим трудам Л.В. Даниловой было бы крайне полезно.

Людмила Валериановна ушла из жизни 21 сентября 2012 г. на 89-м году жизни. Данный очерк является первой попыткой отразить её творческий и жиз-

---

© 2014 г. А.В. Журавель

[1] Так известный исследователь истории России XVIII в. выразился по поводу ситуации с современной учебной литературой по истории, которая в свою очередь является внешним отражением теоретической каши, царящей в головах многих историков новейшей эпохи. См.: Кто матери-истории ценен? (комментарий от 27 февраля 2013 г.) (URL: http://www.lgz.ru/article/20975. Дата обращения – 15 марта 2013 г.).

ненный путь. Её архив остается не изученным в должной мере, а потому предлагаемые заметки следует считать предварительными[2]. В будущем они наверняка потребуют известной корректировки.

Людмила Валериановна Данилова родилась 7 ноября 1923 г. в селе Спас-Волжино Смоленской губернии. Её отец, Валериан Васильевич Авдуевский, выходец из духовного сословия, в полной мере ощутил, каково в условиях советской власти быть «социально чуждым элементом». Поработав в годы революции объездчиком в Хмелитском лесничестве, он уехал в Москву, стал студентом Московской консерватории, но вскоре был арестован и сослан в Казахстан. Его следы окончательно затерялись на фронтах Великой Отечественной войны. Жена его, Мария Ивановна, оказавшись с двумя маленькими детьми на руках, очень боялась, что их постигнет участь детей репрессированных, и уехала на несколько лет в Таджикистан (якобы «на борьбу с басмачеством»), оставив детей на попечение бабушки. Позже она вышла замуж во второй раз, а первое замужество тщательно скрывала. Людмила долгое время считала себя Власовой по фамилии бабушки и дедушки и, получая паспорт, была поражена, узнав, что она – Авдуевская.

Людмила окончила школу перед началом Великой Отечественной войны. Семью, в которой были двое малышей (от второго брака матери), эвакуировали из Москвы, но по пути на восток поезд попал под бомбёжку. В 1942 г. во время долгих мытарств по Воронежской и Тамбовской областям Людмиле пришлось рыть окопы, работать в совхозе, а также служить телефонисткой на почтамте... Весной 1943 г. им удалось добраться до родственников во Владимирской обл., и Людмила смогла вернуться в Москву, где поступила на химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Но вскоре по состоянию здоровья она вынуждена была оставить занятия химией. Новым выбором, и уже на всю жизнь, стала история.

В 1948 г., закончив с отличием исторический факультет МГУ, она была зачислена в аспирантуру Института истории АН СССР, а затем с начала 1952 г. стала сотрудницей института. Во время учёбы в университете её особенно увлекали лекции и семинар С.В. Бахрушина, однако, вопреки желанию Людмилы Валериановны, в качестве научного руководителя в аспирантуре ей назначили члена-корреспондента АН СССР (в будущем академика) М.Н. Тихомирова. Специализировалась Л.В. Данилова по социально-экономической истории Новгородской земли в XIV–XV вв. Плодом её целеустремлённых трудов явилась кандидатская диссертация, защищённая в 1952 г. В 1955 г. это исследование было в сокращении издано под названием «Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XIV–XV веках».

Рассматриваемые в этой книге сюжеты начали изучаться ещё в дореволюционное время, но Людмила Валериановна взглянула на источники – прежде всего на актовый материал и писцовые книги – под иным, марксистским углом зрения. В центре её внимания находились не сугубо усреднённые, как прежде, показатели хозяйственной жизни Новгородской земли, а контрасты, характеризующие углубление социального неравенства, – стяжание земель новгородскими монастырями, боярами и житьими людьми, усиление ложившегося на плечи

[2] Выражаю глубокую благодарность Елене Викторовне Даниловой, сообщившей немало ценной информации о жизни и творческой деятельности Людмилы Валериановны и позволившей познакомиться с материалами её личного архива. Благодарю также И.Н. Слепнёва, сделавшего в ходе подготовки статьи ряд полезных замечаний.

крестьянства феодального и податного гнёта. Впоследствии это направление исследований получило в советской историографии значительное развитие, выразившееся, в частности, в подготовке многотомной коллективной «Аграрной истории Северо-Запада России»[3]. Для 1940–1950-х гг. исследование Л.В. Даниловой наряду с работами А.П. Шурыгиной, М.Г. Копачевой, В.Н. Бернадского являлось пионерским. Тема крестьянства с той поры оставалась в центре её внимания на протяжении всей творческой деятельности, но особый интерес Людмилы Валериановны вызывала проблема общины. Её Л.В. Данилова воспринимала как явление не только и не столько социально-экономической, сколько социальной истории. Община в глазах исследовательницы не сводилась к функциям регулятора поземельных отношений и посредника между крестьянами и представителями центральной власти, а представлялась социальным организмом, возникшим ещё в первобытную эпоху и на протяжении тысячелетней истории претерпевшим сложную эволюцию.

Несомненно, на становление воззрений Людмилы Валериановны повлиял обмен идеями с Виктором Петровичем Даниловым, аспирантом Института истории АН СССР, специализировавшимся на истории советского крестьянства накануне коллективизации, т.е. исследовавшим период, когда крестьянская община в России доживала свои последние дни. Их творческий союз, возникший в первый год аспирантуры и закреплённый 4 декабря 1951 г., когда Людмила Авдуевская стала Людмилой Даниловой, длился более полувека. Для них обоих он являлся источником вдохновения и опорой, помогавшим с честью пережить щедро выпавшие на их долю трудности и бедствия.

В Москву из Оренбурга В.П. Данилов приехал убеждённым противником Сталина и в этом отношении серьёзно повлиял на мировоззрение жены. XX же съезд КПСС придал научной и общественной деятельности Даниловых мощный импульс. Молодые учёные, искренне верившие в коммунистические идеалы, увидели в происшедшем отправную точку для возвращения на рельсы подлинного социализма, искажённого Сталиным. Им казалось, что необходимо обратиться к первоисточникам марксизма-ленинизма и, выяснив истинную точку зрения К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина по ключевым вопросам истории, попытаться применить разработанный ими диалектический метод в практике исторических исследований и тем самым повлиять на общественную жизнь СССР в целом. История, особенно отечественная и уж тем более её новейший период, являлась в тех условиях важным «полем сражения» между защитниками Сталина и теми, кто стремился написать новую, объективную историю своей страны и сделать невозможным возвращение к прошлому. Историки Даниловы не просто приняли активнейшее участие в борьбе шестидесятников за демократизацию, они, по сути, стали лидерами движения тех историков, кто желал добиться на научном поприще реальных перемен.

Дело не ограничилось лишь собственно научными изысканиями: в 1966 г. В.П. Данилов и К.Н. Тарновский, фронтовики, талантливые, нестандартно мыслившие учёные, встали во главе парткома Института истории и в течение двух лет упорно боролись за право историков вести исследовательскую рабо-

---

[3] Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV – начало XVI в. Л., 1971; Аграрная история Северо-Запада России XVI века: Новгородские пятины. Л., 1974; Аграрная история Северо-Запада России XVI века: Север, Псков. Общие итоги развития Северо-Запада. Л., 1978; Аграрная история Северо-Запада России XVII века: Население, землевладение, землепользование. Л., 1989.

ту свободно, без оглядки на цензуру. Тем самым они открыто противостояли перемене партийного курса, последовавшей после смещения Н.С. Хрущёва с высших государственных и партийных постов. Мужественная борьба учёных, стремившихся добиться в рамках Института полной выборности всех органов власти и виртуозно защищавшихся от нападок вышестоящих инстанций благодаря прекрасному знанию работ классиков марксизма-ленинизма и решений партийных съездов, в конечном счёте завершилась их поражением. Чтобы расколоть сплочённый партком Института истории, власти в 1968 г. разделили это академическое учреждение на две части. Новым главой парткома стал П.В. Волобуев. На этом политическая деятельность учёных-историков завершилась[4]. В итоге были окончательно похоронены надежды на то, что двухтомная «Коллективизация сельского хозяйства в СССР», подготовленная Даниловым и его коллегами-аграрниками в первой половине 1960-х гг., увидит свет в обозримом будущем. Бунтари В.П. Данилов и К.Н. Тарновский[5] долгое время не могли в полной мере работать по интересующим их темам, а тем более защитить докторские диссертации... Мало того: существовала реальная угроза их исключения из партии, увольнения и даже ареста.

Можно только догадываться, что довелось пережить жёнам этих выдающихся учёных в годы их противостояния властям. Но у Людмилы Валериановны была ещё и своя «линия фронта», которую она защищала с не меньшим упорством. Л.В. Данилова выступила в роли координатора дискуссии об азиатском способе производства, развернувшейся в 1960-х гг., причём в момент, когда партийные кураторы исторической науки приняли решение эту дискуссию прекратить. При этом она оказалась единственной из числа многочисленных историков русского средневековья, кто активно участвовал в этих жарких теоретических спорах[6]: прочие предпочли от такого рода вопросов уклониться.

Судя по всему, именно руководство Института истории, заметив склонность молодой исследовательницы к теории, во второй половине 1950-х гг. поручило ей заняться современной историографией, причём не только отечественной, но и зарубежной. Критикой новейших западных исследований в области феодальной Руси Людмила Валериановна занималась без энтузиазма, поскольку по известным причинам не могла высказать всего того, что думала по этому поводу: историографам дозволялось указывать на методологические, с точки зрения марксизма, и фактологические слабости англо-американской исторической науки, но говорить о её сильных сторонах было нельзя. Участие Л.В. Даниловой в борьбе с «буржуазными фальсификаторами» ограничилось несколькими статьями[7], но полузапретный для советских историков опыт знакомства с работа-

---

[4] Окончательно с поборниками «нового направления» власти «разобрались» в 1973 г., когда с поста директора Института истории СССР был снят П.В. Волобуев, наиболее осторожный из учеников А.Л. Сидорова (см.: *Поликарпов В.В.* «Новое направление» 50–70-х гг.: последняя дискуссия советских историков // Советская историография. М., 1996).

[5] См.: *Емец В.А., Шелохаев В.В.* Константин Николаевич Тарновский (1921–1987) // Историки России: Послевоенное поколение. М., 2000; Константин Николаевич Тарновский. Историк и его время. СПб., 2002.

[6] Первой её публикацией по теме была обзорная статья: *Данилова Л.В.* Дискуссия по важной проблеме // Вопросы философии. 1965. № 12.

[7] *Данилова Л.В., Данилов В.П.* Рец. на: Rewriting Russian history. Soviet interpretations of Russia's past. New York, 1957 // История СССР. 1959. № 6; *Данилова Л.В.* Русское средневековье в современной историографии США // Вопросы истории. 1961. № 3. С. 63–91; *она же.* Русское централизованное государство в освещении буржуазных историков США // Критика буржуазных концепций истории России эпохи феодализма. М., 1962. С. 234–279.

ми «идеологических противников» не прошёл для неё даром: он потребовал углубления в марксистскую теорию. Впрочем, потребность не замыкаться в рамках «Краткого курса истории ВКП(б)», а разобраться с тем, как классики марксизма-ленинизма понимали развитие докапиталистических обществ, была важной и для развития самой исторической науки.

В ту пору это был в высшей степени скользкий путь, не суливший решившимся вступить на него учёным спокойной жизни. Во-первых, изучение трудов Маркса и Энгельса вполне могло привести к нетривиальным результатам, противоречащим официозному марксизму-ленинизму. Историографический подход требовал обратиться к изучению теоретических дискуссий 1920–1930-х гг., а значит, затронуть работы не реабилитированных после XX съезда КПСС «троцкистов» и «бухаринцев» (в кавычках и без). Многие из них высказывали весьма интересные и содержательные мысли, но даже нейтральное их цитирование при изменении политической конъюнктуры могло стать основанием для идеологического погрома и зачисления историографа в «антисоветчики» со всеми вытекающими оттуда последствиями. Историки Даниловы – каждый в своей области – выбрали наиболее оптимальный в тогдашних условиях путь: чтобы не уходить в «подполье», не писать «в стол», а публиковаться, надо было действовать на грани возможного и для этого повиноваться внутреннему цензору, по возможности избегая столкновений с цензурой внешней. Впрочем, последнее им не слишком удавалось: чтобы расширить границы дозволенного, приходилось эти границы время от времени нарушать.

Во-вторых, серьёзное историографическое исследование неизбежно должно было «задеть» теоретические приоритеты весьма влиятельных в то время учёных. В условиях 1950-х – начала 1960-х гг. в качестве «единственно верного учения» полуофициально выступала концепция феодализма, изложенная в трудах академика Б.Д. Грекова. Сомневаться в ней и тем более показывать её внутренние слабости в те годы не было принято. Между тем грековский подход к проблеме становления и развития феодализма на Руси имел серьёзную альтернативу: ему реально оппонировали большинство историков, сформировавшихся как учёные в дореволюционное время, а также ряд их учеников. Среди них были такие крупные фигуры, как С.В. Бахрушин, С.В. Юшков, Б.А. Романов, В.В. Мавродин. Л.В. Данилова, познакомившаяся с Бахрушиным ещё до поступления в университет, входила в число его научных последователей. Но между ней и многими её сверстниками, к примеру, А.А. Зиминым, также учеником Бахрушина, имелось существенное различие: бóльшая часть тогдашней исторической молодёжи, на практике отходя от концепции Грекова, попросту не придавала серьёзного значения теоретическим вопросам. Молодые историки обычно ограничиваясь «нужными» ритуальными ссылками, нащупывали иной, негрековский, подход, но делали это интуитивно.

Л.В. Данилова, взявшаяся за подготовку докторской диссертации на тему «Теоретические проблемы феодализма в советской историографии», вступила на этот путь вполне сознательно, хотя выражалась поначалу очень аккуратно. Её первая крупная публикация такого рода в задуманном молодыми историками, но процеженном сквозь мелкое идеологическое «сито» сборнике «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС»[8] в этом отношении весьма

[8] *Данилова Л.В.* К итогам изучения основных проблем раннего и развитого феодализма в России // Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС. История СССР. М., 1962. С. 37–90.

показательна: Данилова даёт полноценный историографический анализ основной литературы по истории феодализма в России, вышедшей после 1956 г., не обходя острых углов, но избегая крайностей. Так, она приводит казавшуюся в 1950-х гг. смелой точку зрения Л.В. Черепнина на древнерусских смердов, согласно которой те находились в зависимости от феодального государства в целом, так что исчезновение упоминаний о них в более поздних источниках косвенно говорит о становлении частновладельческой зависимости только в период развитого феодализма. Такую трактовку, относящую возникновение системы государственного феодализма к IX–XI вв., Данилова не разделяла, но не могла о ней умолчать, тем более что она объективно противостояла подходу Грекова[9].

Характерна и реакция Л.В. Даниловой на серию статей И.И. Смирнова, в 1963 г. собранных в монографию[10]. Ученик Грекова, Смирнов пошёл по стопам Б.А. Романова, автора самого «идеологически не выдержанного» исследования послевоенного времени[11]. Данилова, отметив, что «существование феодализма как общественно-экономической формации немыслимо при отсутствии класса феодально-зависимого крестьянства», ставит все точки над «i», но при этом Смирнова не осуждает: «Если принять точку зрения И.И. Смирнова, отрицающего экономическую и политическую зависимость крестьянских общин от крупной вотчины вплоть до XI–XIII вв., то придётся либо признать второстепенную роль вотчины в экономике и социальной жизни Киевской Руси в IX–XI вв. и вернуться к отвергнутому в нашей литературе положению о существовании в этот период “вассалитета без ленов”, когда масса сельского населения эксплуатируется путём централизованной феодальной ренты в виде государственных податей, либо пересмотреть вопрос о характере того классового строя, который породил Киевское государство»[12]. В том же ключе она говорит и о другом «еретическом» для того времени выводе И.И. Смирнова о возрастании роли холопства в XII–XIII вв.[13], ставя в связи с этим риторические вопросы, но не давая на них отрицательных ответов: «Но чем же являлось холопство в XI в. и в предшествующие два столетия существования объединенного восточнославянского государства? Каков был характер социально-экономических отношений в то время?»[14]. Конечно, наличие «но» вносит в эти вопросы оттенок критики, однако самое главное заключалось в том, что проблемы были поставлены и поставлены без какого-либо упрощения. Забегая вперёд, следует сказать, что в будущем советская историография пошла как раз по двум указанным Л.В. Даниловой направлениям: к идущему от Л.В. Черепнина представлению о государственном феодализме в Древней Руси и развивавшемуся впоследствии И.Я. Фрояновым и самой Л.В. Даниловой взгляду на древнерусское общество как на общество дофеодальное.

В середине 1960-х гг. Л.В. Данилова надеялась опубликовать два крупных раздела своей докторской диссертации, но в 1965 г. вышел в свет лишь

---

[9] Там же. С. 45; *Черепнин Л.В.* Из истории класса феодально-зависимого крестьянства на Руси // Исторические записки. Т. 56. М., 1956.

[10] *Смирнов И.И.* Очерки социально-экономических отношений Руси XII–XIII веков. М.; Л., 1963.

[11] *Романов Б.А.* Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947.

[12] *Данилова Л.В.* К итогам изучения основных проблем... С. 46.

[13] По Б.Д. Грекову, рабство на Руси уже в древнерусский период якобы обнаружило «явную тенденцию к исчезновению» (*Греков Б.Д.* Киевская Русь. М, 1953. С. 12).

[14] *Данилова Л.В.* К итогам изучения основных проблем... С. 46.

один[15]. В обширной статье она проанализировала становление марксистского направления в советской историографии эпохи феодализма, т.е. период с 1917 до середины 1930-х гг. Для V тома «Очерков истории исторической науки в СССР» исследовательница подготовила её продолжение, где дала разбор последующей, вплоть до середины 1960-х гг., историографии. К сожалению, эта книга была издана лишь в 1985 г.[16], а потому очень опоздала и осталась почти не прочитанной. Вопрос о причинах фактического запрещения книги по новейшей историографии – отдельная тема для исследования, но «неправильно» написанная третья глава этой книги[17], посвящённая изучению средневековой истории России, несомненно, являлась одной из существенных причин, заставившая цензоров отложить издание работы на неопределённое время[18].

В целом, все работы по историографии можно разделить на три категории – расширенную библиографию, общий обзор и научный анализ. Применительно к фактам новейшей историографии в советской исторической науке почти абсолютно преобладали первые два жанра, которые были удобны тем, что позволяли практически полностью скрыть авторскую позицию. Все острые углы в таких работах обычно попросту обходились. Исследования же Л.В. Даниловой имеют ярко выраженный аналитический характер. Имея по ключевым вопросам свою собственную позицию, Людмила Валериановна в силу вынужденной и практически неизбежной в ту эпоху самоцензуры, на первый взгляд, просто излагала факты и авторские подходы, но сама подача материала не «усыпляла» читателей, как обычные «библиографии», а будила их мысль. На меня, на рубеже 1970–1980-х гг. провинциального студента, пытавшегося понять, что такое настоящий марксизм, знакомство со статьями Л.В. Даниловой 1960-х гг. произвело почти ошеломляющее впечатление. Готовя эту статью, я перечитал их заново и почти не обнаружил того, что следует считать «данью времени». Основная фактура сохраняет свою полную силу и разве что нуждается, с современной точки зрения, в дополнении и уточнении: в некоторые сюжеты углубляться в ту эпоху было нельзя, так как это прямо или косвенно задевало бы действовавших в тот момент историков.

Тем не менее Людмила Валериановна осмелилась ходить по «склизким камешкам» современной ей историографии: совсем уж «умолчать о том, что близко», у неё не получалось. Исследовательница «задевала» тень Сталина, цитаты из трудов которого влияли на формирование научных концепций[19]; обстоятельно и с сочувствием излагала концепцию С.Б. Веселовского[20], отмечая лишь в

---

[15] *Данилова Л.В.* Становление марксистского направления в советской историографии эпохи феодализма // Исторические записки. Т. 76. М., 1965. С. 62–119.

[16] В подавляющем большинстве разделов книги обзоры литературы останавливаются на 1964–1966 гг. Данилова же ссылается и на работы 1970-х гг. Значит, она в отличие от других авторов дополняла и правила первоначальный текст.

[17] Подраздел о позднем периоде феодализма был написан в соавторстве с Ю.Р. Клокманом. Среди авторов этого тома значатся и другие «неблагонадёжные» историки, в том числе В.П. Данилов и К.Н. Тарновский.

[18] Пятый том «Истории» в выводах комиссии Московского горкома значился в числе «упущений» мятежного парткома. Об этом прямо говорится в первоначальном варианте статьи Л.В. Даниловой 2007 г., сокращённой при редактировании. Ср.: Партийная организация Института истории АН СССР в идейном противостоянии с партийными инстанциями. 1966–1968 гг. / Публ.: Л.В. Данилова // Вопросы истории. 2007. № 12.

[19] *Данилова Л.В.* Становление марксистского направления в советской историографии эпохи феодализма. С. 114–118.

[20] Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 129–132.

сноске, что она ещё в 1940-х гг. считалась «буржуазной»[21]. Но, пожалуй, самое существенное: подробно изложив взгляд Б.Д. Грекова на становление феодализма в России, Данилова не менее чётко и ясно показала, в чём состояла суть позиции С.В. Юшкова и С.В. Бахрушина, и недвусмысленно дала понять, что именно их подход более точно отражает древнерусские реалии. Более того, она дала фактически критическую рецензию на вышедшую в 1965 г. книгу «Древнерусское государство и его международное значение», ключевые разделы которой были написаны влиятельными в ту пору Л.В. Черепниным и В.Т. Пашуто. Данилова, по сути, показала внутреннюю противоречивость изложенной ими концепции становления Древнерусского государства и особенно подчеркнула, приведя соответствующие цитаты, эклектичность воззрений Черепнина на генезис феодализма в Древней Руси и на неизбежную в подобных случаях подмену фактов допущениями, вытекающими из общетеоретических представлений автора о должном. Выдвинутая Черепниным в 1950-х гг. концепция верховной феодальной собственности на землю призвана была заменить концепцию Грекова: на Руси IX–XI вв. крупного частного землевладения как основы феодального строя, опираясь на существующие источники, обнаружить просто невозможно. Л.В. Данилова, соглашаясь с Черепниным в том, что становление феодализма происходило «через введение системы кормлений, передачу князьями своим вассалам права на сбор полюдья, дани и прочих налогов», настаивала на длительности этого процесса. С её точки зрения, для IX–XI вв. говорить о государственной собственности на общинные земли не приходится[22].

Не формулируя прямо, Л.В. Данилова фактически показывала, что представления многих современных ей историков о марксизме были весьма приблизительными: очень часто они сводили Марксово понятие производственных отношений к собственности, фактически рассматривая её либо как юридическую, либо как хозяйственную категорию[23]. В конечном счёте это вело к модернизации истории – к «моделированию классов феодального общества по типу общества капиталистического, где главной формой эксплуататорской собственности является собственность на овеществленный труд»[24]. Этот намёк о недопонимании марксизма касался весьма влиятельных в советской науке фигур и косвенно – марксизма-ленинизма как такового.

В современных условиях, когда марксизм не в чести, многие могут увидеть в этом не слабость, а достоинство оппонентов Л.В. Даниловой. Но для тех, кто понимает значение теории как инструмента познания, стремление исследовательницы к точным формулировкам и её бескомпромиссность в таких поисках не могут не вызывать уважения. Настоящий же марксизм – не суррогатный, преподававшийся в советских вузах, марксизм-ленинизм – является очень мощным инструментом познания, нисколько не утратившим своего значения. Беда в том, что знатоков его почти не осталось...

Практически единственный во второй половине XX в. марксистский теоретик русской средневековой истории, Данилова не замыкалась, как боль-

---

[21] Там же. С. 131.

[22] Там же. С. 155.

[23] Такие упрощённые представления восходили к изданной в 1929 г. популярной ленинской лекции о государстве и к «Краткому курсу», о чём Л.В. Данилова деликатно умалчивала, воспроизводя, впрочем, в качестве примера известную сталинскую формулу о различии между рабом и крепостным.

[24] Там же. С. 186.

шинство её коллег, в рамках своей специализации, а была крупным знатоком всеобщей истории – как древней, так и средневековой. Не случайно в 1964 г., когда в Институте истории был создан сектор методологии истории и руководивший им М.Я. Гефтер стал собирать единомышленников, прежде всего философов истории и тех, кого ныне именуют культурологами[25], в работе сектора активное участие приняла и Л.В. Данилова. В её ве́дение, поскольку историей докапиталистических обществ сам Гефтер не занимался[26], перешли проблемы, связанные с теорией общественно-экономических формаций, т.е. огромная по охвату область исторического знания. Данилова выступила в роли координатора и фактического организатора готовившейся под эгидой сектора методологии истории серии сборников «Проблемы истории докапиталистических обществ». Она энергично взялась за дело, и уже в 1965 г. первый том был в основном готов. Достаточно быстро был определён состав и второго, ещё более объёмного (более тысячи страниц!) тома, и началась работа над третьим.

Сейчас можно лишь гадать, какие последствия для советской исторической науки имел бы выход в свет всех намеченных сборников. В ту пору историки надеялись, что эти сборники обеспечат качественный прорыв и позволят избавиться от одномерного восприятия официозной теории формаций. Увы, силы оказались неравными: нестандартно мыслившие историки-марксисты оказались не в состоянии противостоять административному нажиму властей. Первый сборник, в 1968 г. с большим трудом прошедший через цензуру, оказался и последним. По свидетельству индолога Л.Б. Алаева, последовательного оппонента Людмилы Валериановны, она «боролась, как лев», но пробить второй сборник, который «все ожидали в большом волнении»[27], не смогла. Здесь сказалось прежде всего общее изменение идеологического курса КПСС, которому упрямые историки не хотели следовать. Отсюда – бесконечные придирки к текстам, поиски «методологических ошибок» и вытекавшая из этого необходимость вновь и вновь редактировать статьи, чтобы, поступившись малым, сохранить главное. Всё это требовало от Даниловой как ответственного редактора недюжинного мастерства и выдержки: убедить авторов пойти на «вивисекцию» (Людмила Валериановна вспоминала в связи с этим неуступчивого М.А. Виткина) было делом нелёгким. Некоторые тексты (в основном из второго, неопубликованного сборника) приходилось серьёзно перерабатывать по чисто литературным соображениям, так что фактически Людмила Валериановна могла бы претендовать на их соавторство.

Для первого сборника Л.В. Данилова написала обзорную статью «Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ», в которой комментировала помещённые в нём статьи, указывала на другие важные публикации теоретического плана, анализировала высказывания Маркса и Энгельса. В её работе важны были именно постановки спорных проблем. Сейчас, особенно не зная контекста дискуссии об азиатском способе производства, это легко и не уловить.

---

[25] См.: *Неретина С.С.* История с методологией, или Конец истории // Аутсайдер. Человек вопроса. Век XX и мир. 1996. № 1. С. 120161 (URL: http://gefter.ru/archive/2188. Дата обращения – 23 марта 2013 г.).

[26] Он специализировался на «огнеопасных» тогда темах социальной революции и русского капитализма.

[27] Л.Б. Алаев: община в его жизни. История нескольких научных идей в документах и материалах. М., 2000. С. 152.

Нельзя не признать, однако, что статья Л.В. Даниловой в немалой степени играла роль прикрытия: для того чтобы провести через цензуру ту или иную «спорную» работу, её нелишне было бы заранее слегка покритиковать. Например, такой участи подверглась статья Н.Б. Тер-Акопяна, фактически показавшего, что официозная пятичленная теория формаций является марксистко-ленинской лишь по названию: по работам Маркса восстанавливается совершенно иная схема[28]. Как оказалось, Маркс выделял только три большие формации – первичную (первобытную), вторичную экономическую и гипотетическую коммунистическую. Их внутреннее членение оставалось ему не вполне ясным, и Маркс намечал лишь общие штрихи.

Нетрудно заметить, что такой подход предоставлял исследователям гораздо более широкие возможности для анализа, нежели стандартная пятичленная схема. Но именно поэтому он казался опасным для правоверных марксистов-ленинцев! Из явно «дипломатических» соображений Л.В. Данилова во вступительной статье отмечала, что сделанный Н.Б. Тер-Акопяном упор на производстве самого человека как определяющем признаке первичной формации делает незаметной «грань между первобытным стадом и сформировавшимся человеческим обществом», поскольку «будучи закономерной реакцией на абсолютизирование экономического фактора, столь длительное время присущее нашему обществоведению, изложенная концепция по существу сводит на нет роль этого фактора в развитии доклассового общества»[29]. Как бы критикуя трактовку Тер-Акопяна, Л.В. Данилова выводила из-под удара оппонентов подход Маркса как таковой[30]. Это приходилось делать в стране, где марксизм-ленинизм был официальной идеологией!

Надо сказать, что в роли ответственного редактора Л.В. Данилова долгое время выступала неофициально, т.е. эта её работа не оплачивалась. Сектор методологии истории выглядел в глазах начальства неблагонадёжным, и М.Я. Гефтер имевшиеся в его распоряжении ограниченные средства пускал на обеспечение главных, с его точки зрения, проектов. Поэтому работа затягивалась: не хватало технических работников, в частности, машинисток, из-за чего подряжались совершенно случайные люди, выполнявшие порученное им недобросовестно. Эмоциональный отчёт Л.В. Даниловой о том, как и почему рукописи «покрываются пылью», сохранился в её домашнем архиве.

Задерживало работу над второй книгой «Проблем истории докапиталистических обществ» желание то ли руководства Института истории, то ли самого Гефтера включить в состав этого сборника статьи зарубежных учёных-марксистов (М. Годелье, Ж. Сюрэ-Каналя (Франция), Ф. Тёкеи (Венгрия), Т. Покоры

---

[28] *Тер-Акопян Н.Б.* К. Маркс и Ф. Энгельс о характере первичной общественной формации // Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968. С. 67–88.

[29] *Данилова Л.В.* Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ // Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. С. 38.

[30] Спустя десятилетие Л.В. Данилова эзоповым языком уже не пользовалась, а прямо указывала на особое место работ Н.Б. Тер-Акопяна, показавшего «значение, которое основоположники придавали воспроизводству человека в его социальной сущности и соотношению этого вида материального производства с производством средств к жизни» *(Данилова Л.В., Данилов В.П.* Проблемы теории и истории общины // Община в Африке. Проблемы типологии. М., 1978. С. 21). Наивно было бы думать, что Людмила Валериановна не понимала этого раньше! Но в горячие 1960-е гг. близкую по тематике статью М.А. Виткина («Проблема перехода от первичной формации ко вторичной») она предпочла «спрятать» в середину тома, между статьями А.Я. Гуревича о западноевропейских варварах и Л.С. Васильева о древнем Китае.

(Чехословакия)), в своё время первыми поставивших вопрос о роли азиатского способа производства. Точка зрения этих учёных к тому времени была хорошо знакома отечественным историкам, а потому ничего принципиально нового от них ожидать не приходилось. По мнению Л.В. Даниловой, было бы полезнее привлечь к участию в сборнике новых отечественных авторов, но, подчиняясь требованию начальства, ей приходилось вести с иностранцами переписку, ожидать прибытия статей, организовывать их перевод, редактировать. Это, отнимая драгоценное время и силы, задерживало выход сборника. Неудивительно, что часть учёных, видя, что издание их статей затягивается, искали иные пути для их публикации. «Ротация» авторского состава и работа с вновь прибывшими авторами вела к новым задержкам.

В конечном счёте второй сборник не был опубликован. Но Людмила Валериановна сумела договориться, чтобы традиционный симпозиум по аграрной истории Восточной Европы, проводившийся в сентябре 1972 г. в Минске и Гродно, был, помимо прочего, посвящён эволюции общины в докапиталистических обществах. В Белоруссию приехали учёные, занимавшиеся разными вопросами всеобщей истории: Ю.В. и С.А. Маретины, С.Д. Зак, А.Р. Корсунский, Ю.М. Кобищанов. Особо следует отметить Л.Б. Алаева, который придерживался прямо противоположных, нежели Данилова, взглядов на общину. Разделяя ключевые положения осуждённой марксистской историографией «государственной школы», он делал упор на то, что хорошо известная учёным по источникам поздняя поземельная община с её переделами, принудительным севооборотом и т.д. не имела преемственной связи с общиной первобытной[31]. Полемика Алаева и Даниловой, в устной и письменной форме продолжавшаяся более 30 лет, тем не менее не стала поводом для личной вражды[32]. В Гродно Алаев выступил со своим «еретическим» докладом именно по персональному приглашению Людмилы Валериановны.

В этой связи показателен ещё один факт: среди авторов второго сборника значился и А.А. Зимин. Учёный, в 1964 г. заявивший о позднем происхождении «Слова о полку Игореве» и подвергшийся за это почти всеобщему осуждению, оказался во второй половине 1960-х гг. в научной изоляции. И Данилова, придерживавшаяся традиционной точки зрения на «Слово», в этой обстановке предложила Зимину написать для «Проблем истории докапиталистических обществ» статью о русском холопстве[33].

В 1970–1980-х гг. Л.В. Данилова находилась в Институте истории СССР фактически на положении изгоя. Её многократные попытки опубликовать давно написанную монографию «Теоретические проблемы феодализма в советской историографии» неизменно наталкивались на противодействие руководства, как институтского, так и непосредственного (сектора феодализма). Так, первоначально ответственным редактором её книги был назначен академик (с 1972 г.) Л.В. Черепнин, который категорически не желал поддерживать Данилову, критиковавшую его взгляды на становление феодализма в Древней Руси

---

[31] Л.Б. Алаев: община в его жизни. С. 15–201.

[32] В комментариях к сборнику своих статей Алаев отзывается о Даниловой с предельным уважением (Там же. С. 154–155).

[33] Статья в свет не вышла, но работа над ней наверняка помогла А.А. Зимину подготовить по этой теме целую монографию: *Зимин А.А.* Холопы на Руси (с древнейших времён до конца XV в.). М., 1973.

и, разумеется, написал о её диссертации отрицательный отзыв[34]. Не помогли ни помощь академика М.А. Коростовцева, взявшегося стать ответственным редактором её работы вместо Черепнина, ни поддержка академика С.Д. Сказкина, ни сугубо положительные отзывы академических Институтов философии и экономики. В домашнем архиве Людмилы Валериановны имеется несколько текстов этого исследования, на обложке которого менялись лишь даты – 1975, 1980. В конце 1980-х гг. её книга появилась в плане издательства «Наука», но в свет так и не вышла.

В этом отношении творческая судьба Людмилы Валерьевны оказалась сходной с судьбой её мужа и соратника В.П. Данилова с той разницей, что тому в конце 1982 г. всё же позволили защитить в качестве докторской диссертации двухтомную монографию о советской доколхозной деревне[35]. Не имея возможности публиковаться под грифом «родного» Института, Людмила Валериановна наладила сотрудничество с Институтом философии и под его эгидой выпустила ряд работ «истматовского» характера, построенных главным образом на трудах Маркса и Энгельса. Примером тому может служить написанный ею раздел об общественно-экономических формациях в «фундаментальном» издании Института философии «Марксистко-ленинская теория исторического процесса»[36], по её словам, при публикации сильно заредактированный. Особым положением Даниловых в Институте истории СССР объясняется и экзотичное на первый взгляд появление их совместной статьи в книге «Община в Африке»[37]. Без сомнения, это случилось благодаря Ю.М. Кобищанову, видному африканисту, активному участнику дискуссии об азиатском способе производства. То же самое можно сказать ещё об одной совместной статье, появившейся в востоковедческом сборнике[38]. Но всё это были лишь арьергардные бои. В условиях 1970–1980-х гг. противники традиционной «пятичленки» могли публиковать статьи и даже книги по отдельным вопросам, но были лишены возможности координировать свою исследовательскую работу. Обобщающие монографии по итогам дискуссии о теории формаций позволялось публиковать лишь сторонникам традиционного подхода[39].

Итоги своей творческой деятельности Л.В. Данилова подвела в 1994 г. в книге «Сельская община в средневековой Руси»[40]. Это была лишь вторая вышедшая в свет монография 70-летнего историка! К сожалению, книга эта опоздала с выходом примерно на 20 лет. В 1970-х гг. появление подобного исследования могло бы существенно повлиять на историографическую ситуацию в области изучения русского средневековья, но в 1990-х гг., когда всё внимание истори-

---

[34] По мнению Л.В. Даниловой, главным побудительным мотивом Л.В. Черепнина, отбывшего некогда три года по «академическому делу», был страх: тяжело больной в ту пору историк боялся выпуском монографии навлечь на сектор гнев вышестоящих инстанций.

[35] *Данилов В.П.* Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977; *он же.* Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные отношения. М., 1979.

[36] Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: целостность, единство и многообразие, формационные ступени. М., 1983. С. 334–378, 402–412.

[37] *Данилова Л.В., Данилов В.П.* Указ. соч. Основная часть статьи написана Людмилой Валериановной.

[38] *Данилов В.П., Данилова Л.В., Растянников В.Г.* Основные этапы развития крестьянского хозяйства // Аграрные структуры Востока. М., 1977.

[39] *Качановский Ю.В.* Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? М., 1971; *Никифоров В.Н.* Восток и всемирная история. М., 1975, 1977.

[40] *Данилова Л.В.* Сельская община в средневековой Руси. М., 1994.

ческой общественности было обращено на советскую историю, а историки в большинстве своём поспешно отрекались от марксизма, даниловская «Сельская община» оказывалась гласом вопиющего в пустыне: прочитали и оценили её, увы, немногие. Бывшие «ревизионисты» Даниловы и не думали отказываться от идеалов социализма, и, разумеется, книга Людмилы Валериановны была написана марксистским языком. Это обстоятельство, а также общий тон изложения, теоретичный и местами слишком специализированный, делают эту книгу весьма трудным чтением для людей неподготовленных: Данилова зачастую не цитирует тексты, а просто излагает факты, ограничиваясь лишь ссылками на источники и тем самым предполагая, что читатель с ними хорошо знаком. Сама Людмила Валериановна осталась своей книгой не слишком довольна, но сил подробно и более популярно всё «расписывать» у неё уже не оставалось.

В рамках этой обзорной статьи нет возможности анализировать историческую концепцию Л.В. Даниловой, но всякий, кто решится всерьёз разбираться в современном историографическом хаосе, не сможет не признать её важной роли в формировании новой общей теории исторического процесса[41].

Как бы то ни было, зримой «отдачи» от своих многолетних трудов над ключевыми вопросами отечественной и всеобщей истории Людмила Валериановна не получила. Однако она в меру сил пыталась работать. Последним крупным проектом (в рамках уже Института российской истории), в котором Л.В. Данилова участвовала как автор и как ответственный редактор (наряду с А.К. Соколовым), был «Традиционный опыт природопользования в России»[42]. 5 января 1999 г. Людмила Валериановна формально ушла на «заслуженный отдых», однако продолжала живо интересоваться происходящими в стране политическими процессами, которые наводили на неё печаль. Историки Даниловы очень рано – ещё в пору «гласности» – распознали, что вдохновлявшие миллионы наших сограждан вроде бы демократические процессы выродятся именно в то, чем они являются ныне, что под видом демонтажа «тоталитарной системы» будет происходить разрушение страны как таковой.

Людмила Валериановна высказывала в этом отношении более жёсткие оценки, нежели Виктор Петрович. Её горячее осуждение вызывали и непрекращающиеся попытки реабилитации Сталина. Не принимая политику властей, она выражалась остро и порой пристрастно, но никогда не ссылалась ни на какие «заговоры», никогда не осуждала знакомых ей историков, по тем или иным причинам покинувших Родину в советское или послесоветское время. Она не верила в искренность А.И. Солженицына, но в то же время любила ранние стихи Н. Коржавина, особенно его «По ком звонит колокол».

2000-е гг. стали для Людмилы Валериановны временем тяжёлого испытания и вместе с тем временем её величайшей стойкости. 16 апреля 2004 г. скончался В.П. Данилов, и Людмила Валериановна поставила перед собой задачу издать труды мужа. Последний период жизни В.П. Данилова был очень плодотворным: после 1991 г. открылись архивы, и Виктор Петрович, опасавшийся, что столь благодатная для историков пора продлится недолго, взял на себя

---

[41] См.: *Журавель А.В.* С.В. Юшков – наш современник // Сборник РИО. Т. 6(154). М., 2003. С. 333–336; *он же.* О школе И.Я. Фроянова: размышления о будущем // Сборник РИО. Т. 11(159). М., 2011. С. 345–347, 356.

[42] Традиционный опыт природопользования в России. М., 1998. В сборнике Л.В. Даниловой принадлежит введение и статья «Крестьянский опыт природопользования в историческом центре средневековой России».

задачу издать как можно больше ранее засекреченных документов по истории советской эпохи. Встав во главе дружного коллектива архивистов и историков, он сделал за полтора десятилетия невероятно много, но не думал об издании собственных работ. Весь огромный труд по подготовке внушительного по размеру двухтомника фактически в одиночку[43] осуществила его жена, которой к тому времени было уже за 80[44]. Она не только тщательнейшим образом пересмотрела доступную ей часть архива Виктора Петровича, но и изучила архивные материалы, стремясь в собрании его трудов и в отдельных публикациях о парткомах Института истории как можно полнее представить ход былого противоборства историков-шестидесятников с партийным начальством[45].

Касаясь во время работы проблем истории пореформенной России и советского периода, Людмила Валериановна сетовала: я, мол, неспециалист... При этом она оказала существенную и не только сугубо информационную помощь авторам вступительной статьи к избранным трудам В.П. Данилова[46]. Побольше бы таких столь разносторонне образованных «неспециалистов»!

Волею обстоятельств Л.В. Данилова оказалась в тени как более известных ныне её современников (например, В.Т. Пашуто, А.А. Зимина, В.Л. Янина), так и своего мужа. В 1960–1970-х гг., углубившись в методологические проблемы исторического знания, она не считала возможным сбросить с себя эту «ношу» и заняться тем, что «попроще». Нежелание «изгибаться вслед за генеральной линией» лишало её возможности свободно заниматься тем, чем хотелось бы, а значит, не позволяло реализовать имевшийся у неё огромный потенциал – никак не меньший, чем у любого из вышеназванных историков[47]. Но, будучи заботливой матерью и любящей женой, Людмила Валериановна всегда оставалась опорой своим близким и стремилась прежде всего помогать своему мужу. Нет никаких сомнений в том, что Виктор Петрович без её поддержки не сумел бы в 1990-х гг. сделать так много. После его смерти Людмила Валериановна видела свой долг в издании неопубликованных или разбросанных по журналам и малодоступным сборникам трудов мужа. Её громадные усилия позволили ей выполнить задуманное, хотя, к сожалению, и не в полной мере. Работа Л.В. Даниловой над изданием трудов своего мужа стала её лебединой песней и лучшим памятником великим русским историкам второй половины XX в.

---

[43] Действенную помощь оказал лишь РГНФ, предоставивший гранты как на подготовку, так и на издание двухтомника.

[44] *Данилов В.П.* История крестьянства России в XX веке. Избранные труды. Ч. 1–2. М., 2011.

[45] Партийная организация Института истории АН СССР в идейном противостоянии с партийными инстанциями. 1966–1968 гг. / Публ.: Л.В. Данилова // Вопросы истории. 2007. № 12. С. 44–80; 2008. № 1. С. 61–95; 2008. № 2. С. 44–83; *Вылцан М.А., Данилова Л.В.* Из истории Института истории АН СССР // На фронте истории Гражданской войны. Памяти В.Д. Поликарпова. М., 2009.

[46] *Вылцан М.А., Емец В.А., Слепнёв И.Н.* Виктор Петрович Данилов – фронтовик, гражданин, учёный, борец за демократию и свободу // *Данилов В.П.* История крестьянства России... Ч. 1. С. 16–68.

[47] Любопытно, что в последней публикации Л.В. Даниловой в «Вопросах истории» её называют доктором исторических наук, хотя этой степени она не имела, а в последние десятилетия и не стремилась её получить.

Разгром «вольных стрелков»: дело о «меньшевистской вредительской организации в Госбанке СССР» (1930–1931 гг.)

Михаил Николаев

Одной из самых громких политических кампаний в СССР рубежа 1920-х–1930-х гг. стала борьба с «вредительством», охватившим, по версии её инициаторов, якобы все отрасли народного хозяйства. Дело о «контрреволюционной организации» в Государственном банке СССР было связано с процессом «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» (1931 г.). Его, как и ранее состоявшиеся процессы («Шахтинский» и «Промпартии»), организовало сталинское руководство, чтобы переложить ответственность за разразившийся в стране острейший социально-экономический и политический кризис на «буржуазных специалистов» и стоявших за ними зарубежных вдохновителей-«интервенционистов». По процессу «Союзного бюро» проходили 14 человек, из них двое – Б.М. Берлацкий и В.В. Шер – фигурировали как члены правления Госбанка СССР. Хотя на открытом судебном процессе 1–9 марта 1931 г. были осуждены только 14 обвиняемых, однако в общей сложности, по подсчётам исследователей, судебному преследованию по этому делу были подвергнуты 122 человека[1].

Необходимо отметить, что жертвы фальсифицированных дел «Союзного бюро», «Госбанка» и др. зачастую арестовывались ещё до того, как следствие определялось с версиями предъявляемых обвинений. Только в процессе «следственных действий» и получаемых ориентировок «сверху», прописывался окончательный обвинительный сценарий, на основе которого арестованных распределяли по «группам»[2]. После утверждения общей схемы, дифференциа-

© 2014 г. М.Г. Николаев

[1] Меньшевистский процесс 1931 года. Сборник документов. В 2 кн. Кн. 1. М., 1999. С. 6 (далее – Меньшевистский процесс). См. также: *Богданова Н.Б.* Мой отец – меньшевик. СПб., 1994. С. 140 (книга посвящена Б.О. Богданову, известному члену партии меньшевиков); *она же.* Судебный процесс «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)» в 1931 году // Отечественная история. 2001. № 2. С. 44. Отмечу, что 26 человек, привлечённых по «госбанковскому делу», равно как и лица, осуждённые по делам региональных отделений Госбанка, в это число не вошли. Известно, например, что согласно донесению полномочного представительства ОГПУ по Нижневолжскому краю (февраль 1931 г.), в Саратове в декабре 1930 г. была раскрыта «контрреволюционная меньшевистская организация, охватившая своими... ячейками банковские и прочие основные краевые хозяйственные учреждения». В число арестованных попали 50 бухгалтеров и экономистов-хозяйственников. В обвинении фигурировала и «связь с Шером». Прошли аресты в Астраханском отделении Госбанка, Нижегородской конторе и др. (Меньшевистский процесс. Кн. 1. С. 35). В январе 1931 г. в Новосибирске начались следственные действия по делу «О контрреволюционной вредительской организации в Сибпотребкооперации и Государственном банке», к которому был привлечён 21 человек, включая пятерых госбанковцев (См.: *Николаев А.А.* Кадры дореволюцинных кооперативных союзов в советской системе кооперативного управления Сибири в 1920-х – начале 1930-х гг. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 5–6).

[2] Характерно, что, например П.П. Маслову, арестованному 1 сентября 1930 г., приписывалась принадлежность к «крестьянской партии», а с 16 апреля 1931 г. – к меньшевикам (Меньшевистский процесс. Кн. 2. 1999. С. 417).

ции первых партий арестованных и формирования «ядра» будущих групповых дел шли дополнительные аресты. При этом часто процедура следствия в отношении вновь арестованных (при уже имеющихся «признательных» показаниях) предельно упрощалась.

Репрессии, связанные с «Меньшевистским процессом» и делом «Трудовой крестьянской партии», затронули прежде всего советские наркоматы и ведомства экономического блока. В их число входил и Госбанк СССР, деятельность которого с определённого момента стала вызывать недовольство И.В. Сталина. Одной из причин этого, безусловно, мог стать политический скандал, связанный с решением главы Госбанка А.Л. Шейнмана остаться за границей (апрель 1929 г.). Но если факт разрыва высокопоставленного советского чиновника со сталинским политическим режимом от широкой общественности скрыли[3], то начавшийся в СССР экономический кризис утаить было невозможно.

19 июля 1930 г. Г.Л. Пятаков[4], с 20 апреля 1929 г. сменивший на посту председателя правления Госбанка Шейнмана, направил на имя Сталина письмо, в котором дал развёрнутую оценку состояния денежного обращения в стране и наметил программу мероприятий по выходу из кризисной ситуации[5] (при этом автор хотя и писал о правильности «генеральной линии», фактически предложил меры, направленные к её изменению и совпавшие со взглядами лидеров «правого уклона»)[6]. Характерно, что из всех перечисленных Пятаковым проблем внимание вождя привлёк прежде всего кризис разменной монеты. Ликвидировать его Сталин предложил привычными репрессивными мерами, включая расстрелы. В написанном не ранее 6 августа 1930 г. письме В.М. Молотову он констатировал: «Результаты борьбы с голодом разменной монеты почти что ничтожны... Дело не только в кассирах. Дело в Пятакове, в Брюханове[7] и их окружении... Теперь ясно даже для слепых, что мероприятиями НКФ руководил Юровский[8] (а не Брюханов), а "политикой" Госбанка – вредительские эле-

---

[3] Фрагмент выступления А.И. Рыкова 20 апреля 1929 г. перед участниками Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) с информацией о решении А.Л. Шейнмана остаться за границей был изъят из стенограммы по решению высшего партийного руководства. 24 апреля по предложению И.В. Сталина Политбюро создало специальную комиссию по делу Шейнмана (Подробнее см.: *Генис В.Л.* Неверные слуги режима: первые советские невозвращенцы (1920–1933). М., 2009).

[4] Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890–1937), в октябре 1928 г. заместитель председателя, с апреля 1929 г. председатель правления Госбанка СССР; с 1930 г. член президиума, затем заместитель председателя ВСНХ СССР, в 1932–1936 гг. заместитель наркома тяжёлой промышленности; в сентябре 1936 г. арестован по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра» и приговорён к высшей мере наказания; 1 февраля 1937 г. расстрелян, реабилитирован посмертно.

[5] Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. / Сост. А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, О.В. Хлевнюк. М., 1999. С. 117–129.

[6] Письма И.В. Сталина В.М. Молотову 1925–1936 гг. Сборник документов. М., 1995. С. 180.

[7] Брюханов Николай Павлович (1878–1938), в 1926–1930 гг. нарком финансов и член СТО СССР; после «чистки» советских учреждений от сторонников «правого уклона» занимал менее ответственные посты в ряде советских и хозяйственных ведомств; последняя должность на момент ареста (февраль 1938 г.) – заместитель председателя Центральной комиссии по определению урожайности при СНК СССР; обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации; 1 сентября 1938 г. приговорён к расстрелу и в этот же день расстрелян; реабилитирован в апреле 1956 г.

[8] Юровский Леонид Наумович (1884–1938), с апреля 1930 г. член совета Госбанка; 26 июля 1930 г. арестован и 26 января 1932 г. Коллегией ОГПУ осуждён по делу «Трудовой крестьянской партии», приговорён к 8 годам заключения; в декабре 1934 г. освобождён в связи с болезнью с запрещением проживания в 15 крупных городах; в конце 1936 г. вернулся в Москву; 27 декабря 1937 г. вновь арестован, обвинён во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной

менты из аппарата Госбанка (а не Пятаков), вдохновляемые "правительством" Кондратьева[9]–Громана[10]. Дело, стало быть, в том, чтобы: а) основательно прочистить аппарат НКФ и Госбанка, *несмотря на вопли сомнительных коммунистов типа Брюханова – Пятакова, б) обязательно расстрелять десятка два–три вредителей из этих аппаратов* (здесь и далее выделено мной. – *М.Н.*)»[11]. Эти установки вождя в качестве руководства к действию и приняло ОГПУ.

Негативные последствия кредитной реформы[12] стали ещё одним поводом для дальнейшей атаки на руководство Госбанка СССР. Проведение им этой реформы Политбюро ЦК ВКП(б) 30 августа 1930 г. признало неудовлетворительным. Судьба Пятакова была предрешена – ещё до вынесения соответствующего решения Политбюро в письме Молотову от 24 августа Сталин писал о необходимости его замены[13]. 2 сентября последовало продолжение: «Очень хорошо, что взяли, наконец, в работу "вольных стрелков" из Госбанка и прогнившего насквозь Наркомфина... Придётся, по-моему, обновить верхушку Госбанка и Наркомфина за счёт ОГПУ и РКП после того, как эти последние органы проведут там проверочно-мордобойную работу»[14].

Таким образом, период 6 августа – 2 сентября 1930 г. стал в создании «госбанковского дела» начальным этапом, открывшимся сталинскими указаниями и закончившимся первыми арестами «вредителей»[15]. Для того чтобы понять, каким образом отбирались действующие лица будущего криминального сце-

---

террористической группе; приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян; реабилитирован 1 июня 1963 г.

[9] Кондратьев Николай Дмитриевич (1892–1938), учёный-экономист, в октябре 1920 г. – июне 1928 г. организатор и заведующий созданного на базе лаборатории Института по изучению народнохозяйственных конъюнктур (Конъюнктурного института) Наркомфина и Наркомзема РСФСР; в июне 1930 г. был арестован по делу «Трудовой крестьянской партии» и осуждён на 8 лет тюрёмного заключения; после «пересмотра» последнего дела (сентябрь 1938 г.) приговорён к высшей мере наказания; 17 сентября 1938 г. расстрелян; реабилитирован посмертно.

[10] Громан Владимир Густавович (1874–1940), экономист, статистик, в 1920-х гг. член президиума Госплана и член коллегии ЦСУ СССР; в 1929 г. отстранён от работы, осуждён по процессу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м) на 10 лет лишения свободы; находился в Верхнеуральском, затем в Суздальском политизоляторах; умер в заключении 11 марта 1940 г.; реабилитирован посмертно.

[11] Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. С. 193–194. В сводке, направленной в ЦК об операциях ОГПУ по изъятию разменной монеты по состоянию на 12 сентября 1930 г., отмечалось, что всего по СССР было произведено 429 932 обыска, 9 187 арестов, и в итоге удалось отобрать разменной монеты на сумму 2 035 974 руб. (Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Янв. 1922 – дек. 1936. М., 2003. С. 800–803). Следственный аппарат в работе с арестованными «вредителями» оперативно реагировал на запросы партийно-государственного руководства. Примечательно, что в протоколе допроса П.В. Микеладзе (1 сентября 1930 г.), проходившего по делу о вредительстве в НКФ СССР, строки, в которых содержится упоминание о причинах затруднений «в области разменной монеты летом 1930», подчёркнуты вертикальными чертами на полях и снабжены начальственной резолюцией: «Разработать» (Центральный архив Федеральной службы безопасности России (далее – ЦА ФСБ России), д. Р-27952, т. 3, л. 251).

[12] С этой реформой до сегодняшнего дня продолжают связывать причины репрессий и кадровых перестановок. См., например: *Гиндин С.И.* Первый круг судьбы Иосифа Фроловича Гиндина // *Гиндин И.Ф.* Банки и экономическая политика в России (XIX – начало XX в.). Избранное. Очерки истории и типологии русских банков. М., 1997. С. 34. Подробнее о реформе см.: История Банка России 1860–2010. В 2 т. Т. II. М., 2010. С. 179–198.

[13] Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. С. 202–203.

[14] Там же. С. 211–212.

[15] А.И. Лежнёв – 16 августа, С.К. Бельгард – 22 августа (ср. с датами арестов фигурантов процесса «Союзного бюро»: В.В. Шер – в первой половине сентября, а Б.М. Берлацкий – только 2 декабря (Меньшевистский процесс. Кн. 1. С. 72; Кн. 2. С. 185).

нария и какие материалы служили следователям инструментом для давления на арестованных, необходимо затронуть ещё один важный сюжет, связанный с кампанией по «чистке» советского государственного аппарата 1929–1932 гг. В Госбанке комиссия по «чистке» работала в январе–апреле 1930 г. под руководством кандидата в члены Президиума ЦКК ВКП(б) В.А. Радус-Зеньковича. Из общего числа проверенных 2 554 сотрудников было «вычищено» 8.3%, а 92 человека получили дисциплинарные взыскания[16]. Многих из «вычищенных» позже привлекли к «госбанковскому делу», а материалы, «добытые» в ходе «чистки», следствие использовало в своих интересах.

* * *

О деле «вредительской» организации в Госбанке СССР есть только два кратких упоминания: в биографическом очерке, предваряющем публикацию научного наследия И.Ф. Гиндина[17], и в воспоминаниях дочери Н.А. Сканави[18] М.Н. Сканави-Строевой[19]. В то же время литература, связанная с процессом «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)», довольно обширна[20]. Советская историографическая традиция некритично воспроизводила официальную трактовку событий, несмотря на то что опубликованные к тому времени документы позволяли поставить под сомнение материалы обвинения и обоснованность судебного приговора. Даже после хрущёвских разоблачений сталинских преступлений, пусть и в смягчённом виде, продолжало сохраняться утверждение о «вредительском» характере деятельности многих «буржуазных специалистов»[21]. О фальсификации судебных процессов рубежа 1920–1930-х гг. в начале 1970-х гг.

---

[16] Чистка советского аппарата. К XVI съезду ВКП(б). М., 1930. С. 22–23.

[17] Гиндин Иосиф Фролович (1900–1980), до октября 1928 г. работал в Промбанке, затем – в Госбанке СССР (консультант Планово-экономического управления). Подробнее см.: *Гиндин С.И.* Указ. соч. С. 12–38.

[18] Сканави Николай Александрович (1882–1964), в Госбанке РСФСР с 1922 г., в Отделе промышленных ссуд (позже отделе кредита); последняя должность – консультант кредитной группы «А» (промышленность) Кредитно-планового управления; уволен в ходе «чистки» советского государственного аппарата; с мая 1930 г. работал на Люберецком заводе сельскохозяйственного машиностроения; арестован 16 декабря 1930 г.; виновным себя признал; приговорён к 10 годам ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ (Алма-Ата); 15 мая 1931 г. приговор в части конфискации имущества и высылки семьи был отменён; отбывал наказание в Карлаге и Бамлаге; с 1936 г. работал вольнонаёмным в г. Свободном, позже переехал в г. Семёнов (Горьковская обл.), начальник плановой группы Семёновского чугунолитейного завода; 5 февраля 1938 г. арестован по подозрению в шпионаже и вредительстве; за недоказанностью обвинения освобождён из заключения 2 февраля 1939 г.; работал плановиком в Тамбове, позже в Гурьеве, с 1945 г. в Краснодаре и вновь в Тамбове, после реабилитации 3 октября 1957 г. вернулся в Москву.

[19] *Строева М.Н.* Мой отец. Публикация и примечания А.Ф. Строева // Театр. 2006. № 4. С. 143–158; см также: *она же.* Чехов и другие. М., 2009.

[20] Официальная пропагандистская литература, разоблачающая «меньшевизм», появилась сразу после судебного процесса: *Зиновьев Г.Е.* Война, революция и меньшевизм. М.; Л., 1931; *Лепешинский П.* Меньшевики. М., 1931; *Радек К.* Мировой меньшевизм и интервенция против СССР. М.; Л., 1931; *Минц И.И.* Меньшевики в интервенции. М.; Л., 1931; Меньшевики-интервенты. М.; Л., 1931; Меньшевистская контрреволюция и церковь. М., 1931; *Чарный М.* Суд исторический и неизбежный. М., 1931; и др. Этой печатной продукции противостояла зарубежная меньшевистская историографическая традиция (*Богданова Н.Б.* Судебный процесс «Союзного бюро...». С. 51; см. также: *Аронсон Г.* Судьба В.Г. Громана, И.И. Рубина и Н.Н. Суханова // Социалистический вестник. 1956. № 7–8; *Абрамович Р.* Меньшевистский процесс 1931 г. // Там же. 1961. № 2–3.

[21] *Федюкин С.А.* Советская власть и буржуазные специалисты. М., 1965. С. 210.

писали Р.А. Медведев и А.И. Солженицын, а также экономист русского происхождения Н. Ясный[22]. Уже тогда исследователи располагали весомыми доказательствами фальсификации «меньшевистского процесса»[23]. Важнейшим из них было свидетельство М.П. Якубовича[24] – одного из 14 осуждённых по делу «Союзного бюро», который описал процедуру обработки подсудимых и подготовки их к участию в судебном «спектакле»[25]. В конце 1980-х – начале 1990-х гг., на новом витке переосмысления советского прошлого, появились первые в СССР «разоблачительные» публикации[26]. Важнейшим источником стала изданная в середине 1990-х гг. переписка Сталина с Молотовым и В.Р. Менжинским, позже – письма Сталина М. Горькому[27]. В сборнике «Меньшевики в Советской России» приводятся свидетельства осуждённого по делу «Союзного бюро» видного деятеля меньшевистской партии Ф.А. Череванина[28].

В последующем в научный оборот были введены типологически родственные документы – письма в различные инстанции осуждённых по делам, связанным с «меньшевистским процессом». Отбывая наказание, но освободившись из-под контроля следственных органов, они пытались объяснить происхождение своих ранее сделанных признательных показаний[29]. Удивительным обра-

---

[22] *Медведев Р.А.* О Сталине и сталинизме. М., 1990. С. 243–253; *Солженицын А.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Т. 1. М., 1990. С. 272–273; *Ясный Н.* Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти. М., 2012. С. 138–141.

[23] См.: *Ciliga A.* Di sans derrier le Rideau de fer. Au Pays du mensonge deconcertant. Paris, 1950; *Ясный Н.* Указ. соч. С. 144–145.

[24] Якубович Михаил Петрович (1891–1980), в 1920-х гг. занимал различные руководящие должности в советском государственном аппарате, последняя должность перед арестом – начальник управления промтоваров Наркомторга СССР; в марте 1931 г. осуждён на 10 лет по фальсифицированному делу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)»; с 1931 по 1939 г. содержался в Верхнеуральском политизоляторе, с 1939 г. – в Орловской тюрьме, затем – в Унжлаге; после освобождения – вольнонаёмный; позже вновь арестован и приговорён ОСО НКВД к 10 годам ИТЛ; в 1950 г. переведён в Песчлаг (Караганда); освобождён в 1953 г. и направлен в Тихоновский инвалидный дом (Караганда), где до 1955 г. находился на положении ссыльного; с 1966 г. персональный пенсионер.

[25] Письмо М.П. Якубовича Генеральному прокурору СССР, датированное 5 мая 1967 г., с конца 1960-х гг. распространялось в самиздате и было известно Медведеву и Солженицыну. Среди других свидетельств – воспоминания Б.И. Желтенковой (сестры одного из участников судебного процесса И.И. Рубина) и советского разведчика-невозвращенца А. Орлова (см.: *Медведев Р.А.* Указ. соч. С. 250–253; *Орлов А.* Тайная история сталинских преступлений. М., 1991. С. 85).

[26] *Елфимов Е., Щетинов Ю.* Три процесса над старой интеллигенцией (1928–1931) // Политическое образование. 1989. № 16; *Старков Б.А.* Переход к «политике разгрома» («Шахтинское дело») // Историки отвечают на вопросы. Вып. 2. М., 1990; *Кислицын С.А.* Шахтинское дело. Начало сталинских репрессий против научно-технической интеллигенции в СССР. Ростов н/Д, 1993; Как придумали партию (процесс Промпартии) // Родина. 1990. № 5. С. 58–62; Инквизитор: Сталинский прокурор Вышинский. М., 1992; *Худяков Г.* Трагедия Рамзина // Огонек. 1989. № 12. С. 28–29; *Викторов Б.А.* Без грифа «секретно»: «Показания» А.В. Ливеровского // Вопросы истории. 1988. № 7; *Куманёв В.А.* 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991; и др.

[27] См.: Письма И.В. Сталина В.М. Молотову; «Жму вашу руку, дорогой товарищ»: Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина // Новый мир. 1997. № 9.

[28] Меньшевики в Советской России: Сборник документов. Казань, 1998. С. 118–119, 122, 125, 127–129. Важно, что ещё в 1936 г. «Социалистический вестник» опубликовал (в пересказе) заявления Н.Н. Суханова в различные органы власти, в которых тот описывал обстоятельства фабрикации процесса (Меньшевистский процесс. Кн. 1. С. 8).

[29] Меньшевистский процесс. Кн. 1. С. 304–307. Письмо Л.Н. Юровского в коллегию ОГПУ СССР из Суздальского политизолятора ОГПУ СССР 4 июля 1932 года // *Юровский Л.Н.* Денежная политика Советской власти (1917–1927). Избранные статьи. М., 2008. С. 575–584; Письмо

зом сохранился и текст дневника, который вёл в Суздальском политизоляторе М.А. Броунштейн-Валерианов[30], описавший попытку привлечь его к процессу «Союзного бюро»[31].

Среди публикаций последних десятилетий, безусловно, особенного внимания заслуживает документальный двухтомник с материалами «Меньшевистского процесса», включивший в себя подборку протоколов допросов арестованных (прежде всего Б.М. Берлацкого[32] и В.В. Шера[33]). Опубликованные документы следствия (при всей спорности источниковедческой ценности этого массива фальсификата[34]) содержат материалы, в которых фигурирует «госбанковская вредительская ячейка». Несколько лет спустя, с учётом новых подходов была подготовлена статья, специально посвящённая процессу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)»[35].

Работа с документами процесса «Союзного бюро» продолжается в рамках проекта издания сборника документов «Меньшевики и Политбюро (1919–1938)» (в серии «Архивы Кремля»)»[36]. Исследователям темы необходимо учитывать и публикации архивных материалов, отражающих деятельность органов ОГПУ[37].

Н.Д. Кондратьева председателю ОГПУ В.Р. Менжинскому 17 ноября 1932 г. // *Кондратьев Н.Д.* Суздальские письма. М., 2004. С. 99–134.

[30] Броунштейн-Валерианов Михаил Адамович (1886–1937), член партии меньшевиков с 1903 г.; входил в состав ЦК РСДРП(м); в 1922 г. за активную партийную деятельность был выслан на Урал, позднее за границу; в 1922–1929 гг. проживал за рубежом; в 1929 г. нелегально с паспортом на имя Я.Н. Левина прибыл в СССР; в июне 1929 г. был арестован и в октябре осуждён на пять лет лишения свободы; в августе 1931 г. приговор был пересмотрен, срок заключения увеличен до 10 лет; содержался в Суздальском политизоляторе; в сентябре 1934 г. направлен в ссылку в пос. Колпашево Нарымского края; вновь арестован в 1937 г., расстрелян; реабилитирован в 1993 г.

[31] См.: *Уйманов В.Н.* Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и судьба меньшевика М.А. Валерианова-Броунштейна // Вестник Томского государственного университета. 2012. Февраль. № 355.

[32] Берлацкий Борис Маркович (1889–1937), по назначению правительства ДВР с марта 1922 г. по октябрь 1924 г. председатель правления Дальневосточного банка; с октября 1924 по декабрь 1930 г. член правления Госбанка СССР; арестован 2 декабря 1930 г., 9 марта 1931 г. по фальсифицированному органами ОГПУ делу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» приговорён к восьми годам лишения свободы; находился в заключении в Верхнеуральском политизоляторе, Балашовской тюрьме Ленинградской обл., где и умер 3 декабря 1937 г.; реабилитирован 13 марта 1991 г.

[33] Шер Василий Владимирович (1883–1940), член правления Госбанка СССР до декабря 1929 г.; в 1930 г. заместитель заведующего архивом института К. Маркса и Ф. Энгельса; в мае 1930 г. уволен по первой категории в ходе «чистки» советского госаппарата, которую проходил как бывший сотрудник Госбанка; апелляция в Центральную комиссию по «чистке» была отклонена; арестован в начале сентября 1930 г.; 9 марта 1931 г. по фальсифицированному органами ОГПУ делу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» приговорён Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР к 10 годам лишения свободы; отбывал заключение в Верхнеуральском политизоляторе; в 1940 г. заключение заменено ссылкой в Чкаловскую обл., позже в г. Хотин; умер в заключении; по приговорам 1937 и 1940 гг. реабилитирован 4 декабря 1955 г.

[34] О проблемах, связанных с публикацией этого корпуса источников см.: *Урилов И.Х.* Меньшевики в советской России. К истории изучения // Вопросы истории. 2009. № 8. С. 123.

[35] *Богданова Н.Б.* Судебный процесс «Союзного бюро...»; *она же.* Мой отец – меньшевик.

[36] *Морозова А.Ю.* Протоколы допросов предварительного следствия по делу «Союзного бюро РСДРП» 1931 года: источниковедческие и методологические проблемы // Запад–Россия–Восток в исторической науке XXI века: Материалы международной конференции в честь 100-летия СГУ (Саратов, 14–16 мая 2009 г.): В 2 ч. / Под общ. ред. Ю.В. Варфоломеева и Л.Н. Черновой. Ч. 1. Саратов, 2010.

[37] Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД...; «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 8. 1930 г. Ч. 1. М., 2008.

* * *

Дело о «контрреволюционной меньшевистской вредительской организации в Государственном банке СССР» хранится в Центральном архиве Федеральной службы безопасности России и состоит из пяти томов[38]. Материалы этого дела представляют большой интерес для исследователей, изучающих историю Государственного банка СССР. Они позволяют проследить судьбы людей, немало сделавших для налаживания его работы и проявивших себя в других сферах деятельности. В материалах следствия содержатся любопытные детали, разъясняющие различные аспекты банковской работы, внутренние механизмы принятия тех или иных решений, неизвестные нюансы личных отношений. Для историков крайне ценны представленные здесь мнения ответственных сотрудников Госбанка по различным проблемам, их обобщения, расстановка акцентов в описании служебных дел и обстановки того периода. Протоколы показаний, полученных в том числе и от лиц, занимавших руководящие и ответственные посты, зачастую содержат любопытную для современного исследователя фактическую основу.

Всего по делу были привлечены 26 человек, из них – два члена правления Госбанка: известный учёный-экономист З.С. Канценеленбаум[39] и участник революционного движения, член ВЦИК второго и третьего созывов А.А. Блюм[40]; два директора правления – В.С. Коробков[41]

---

[38] ЦА ФСБ России, д. Р-27952.

[39] Каценеленбаум Захарий Соломонович (Залман Шлиомович) (1885–1960), с октября 1921 г. член правления Госбанка РСФСР, активный участник проведения денежной реформы 1922–1924 гг.; арестован 17 сентября 1930 г.; виновным себя не признал; осуждён на пять лет ИТЛ; для отбытия наказания был направлен в Вишлаг ОГПУ; после пересмотра приговора в декабре 1931 г. срок сокращён на один год; 2 сентября 1932 г. заключение в ИТЛ заменено высылкой на оставшийся срок в Западную Сибирь, куда он и был перенаправлен после снятия с этапа, следующего в Дальлаг; в 1933 г. переведён на работу в Москву (заместитель начальника финансового отдела Московского управления Дальстроя); в 1939–1946 гг. профессор Института цветных металлов и золота, Всесоюзного заочного финансового института; с 1945 г. сотрудник Научно-исследовательского финансового института при НКФ СССР и профессор Московского финансового института; в период кампании борьбы с «космополитизмом» (1948) уволен; с 1955 г. профессор Московского государственного экономического института; реабилитирован 3 октября 1957 г.

[40] Блюм Артур Адамович (1877–1938), с июля 1924 г. член правления Госбанка СССР, арестован 16 декабря 1930 г.; виновным себя не признал, осуждён на пять лет ИТЛ; 15 июня 1931 г. лишение свободы заменено высылкой на Урал; вторично арестован 15 февраля 1938 г. и осуждён 9 августа 1938 г. (по другим данным, 20 сентября) Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания; от признаний вины, данных на следствии, в судебном заседании отказался; реабилитирован 22 июня 1963 г. (Подробнее см.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 5. Вып. 1. М., 1931. Стб. 357–359).

[41] Коробков Виталий Славович (1887–1952), с 1922 по 1925 г. директор Банка внешней торговли СССР на правах члена правления, одновременно – представитель Государственного банка в США; последняя должность – директор правления Госбанка СССР; принимал активное участие в установлении деловых связей с зарубежными банками, участвовал в работе «Американской комиссии Политбюро ЦК ВКП(б)»; в 1926–1927 гг. входил в Центральный совет Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся евреев; арестован в ночь с 17 на 18 сентября 1930 г.; виновным себя не признал; приговорён к расстрелу с заменой наказания на 10 лет ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ; 13 июня 1935 г. освобождён из Бамлага по зачёту рабочих дней и за сокращением срока отбытия наказания; работал в финансовых органах системы ГУЛАГа: заместителем начальника финансового отдела УЖДС ГУЛАГ НКВД на Дальнем Востоке (г. Свободный), начальником отделения финотдела ГУЛЖДС НКВД СССР (Москва), заместителем начальника финотдела Ухтижмлага (пос. Ухта, Коми АССР), начальником финотдела Севжелдорлага НКВД СССР (пос. Железнодорожный, Коми АССР); с 1 июня 1944 г.

и С.К. Бельгард[42], много сделавшие для развития международных связей банка; лица, занимавшие должности главного бухгалтера Госбанка, – В.А. Лепёшкин (его подпись стояла на первых советских червонцах)[43] и Л.И. Инжир[44]. Среди других фигурантов – В.А. Виноградов[45], бывший депутат Государственной думы, член ЦК конституционно-демократической партии, товарищ министра путей сообщения во Временном правительстве, член Уфимской директории; И.Ф. Гиндин, ставший впоследствии видным советским историком, внёсшим заметный вклад в написание истории Государственного банка дореволюционной России; И.А. Лев[46], совмещавший работу в банке с увлечением зоопсихологией, ближайший помощник знаменитого дрессировщика и циркового деятеля,

---

начальник финотдела Центральных ремонтных мастерских ГУЛЖДС НКВД СССР; награждён медалью «За трудовую доблесть»; в неоднократных просьбах о снятии судимости отказано; реабилитирован 3 октября 1957 г. (Подробнее см.: *Николаев М.Г.* Неизвестные судьбы госбанковцев 1920-х: директор иностранного отдела Госбанка СССР В.С. Коробков// Деньги и кредит. 2013. № 7, 8).

[42] Бельгард Сергей Константинович (1891–1931), с осени 1922 г. до июня 1929 г. помощник заведующего иностранным отделом Госбанка, с февраля 1926 г. по март 1929 г. исполнял обязанности представителя Госбанка в Лондоне; на момент ареста – директор правления Госбанка; арестован в ночь с 22 на 23 августа 1930 г.; виновным себя признал частично; приговорён к расстрелу; расстрелян 29 апреля 1931 г.; реабилитирован 10 октября 1961 г.

[43] Лепёшкин Василий Арсеньевич (1878–1958), в 1921–1929 гг. занимал должности помощника главного бухгалтера и главного бухгалтера Госбанка; с декабря 1929 г. перешёл на службу в НКЗ СССР; «вычищен» комиссией по «чистке» госаппарата; последнее место работы – НКЗ СССР, главный бухгалтер; арестован 2 декабря 1930 г.; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ; 15 мая 1931 г. приговор в части высылки семьи и конфискации имущества был отменён; реабилитирован 10 апреля 1958 г.

[44] Инжир Лев Ильич (1892–1952), с 1922 г. по апрель 1929 г. сотрудник Промбанка, последняя должность – главный бухгалтер; по выдвижению ЦК Союза совторгслужащих и Центрального бюро работников учёта был направлен в Госбанк СССР на должность главного бухгалтера, арестован 16 декабря 1930 г.; виновным себя не признал; осуждён на 10 лет ИТЛ; для отбытия наказания направлен в Соловецкий лагерь ОГПУ; 28 июня 1931 г. судебное решение о высылке семьи отменено; главный бухгалтер Беломорканалстроя(?), главный бухгалтер Центральной бухгалтерии Финансово-планового отдела ГУЛАГа (с 27 ноября 1936 г. по совместительству главный бухгалтер Мосволгоканалстроя). Согласно воспоминаниям И. Бергера, выдвинулся на высшие финансовые должности в гулаговской системе, входя в группу специалистов, сменивших выдвиженцев смещённого Г.Г. Ягоды. После назначения главы НКВД Н.И. Ежова по совместительству наркомом водного транспорта принял его предложение встать во главе бухгалтерии этого наркомата и вскоре был арестован; 16 апреля 1939 г. военным трибуналом Московского военного округа приговорён к 15 годам ИТЛ (определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 31 марта 1956 г. дело о нём прекращено за отсутствием состава преступления); в 1948 г. отбывал наказание в Норильлаге, Александровском централе; в начале 1950-х гг. переведён в лагерный пункт № 033 Озерлага МВД (Тайшет, Иркутская обл.); арестован в лагере 4 февраля 1952 г. и 26 марта приговорён по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР к пяти годам ИТЛ (реабилитирован 24 января 1958 г.); умер в заключении; реабилитирован по «госбанковскому делу» 22 июня 1963 г.

[45] Виноградов Владимир Александрович (1974–1934), с ноября 1924 г. по ноябрь 1926 г. – в Инспекции правления Госбанка, заведующий кредитным отделом, консультант; с апреля 1929 г. консультант в различных учреждениях Москвы; с ноября 1930 г. – на временной работе в экономическом отделе Гипроверфи; в 1930 г. Краснопресненским народным судом приговорён к общественному порицанию за небрежное отношение к служебным обязанностям; арестован 2 декабря 1930 г.; приговорён к пяти годам ИТЛ; 20 мая 1931 г. приговор в части высылки семьи и конфискации имущества отменён; реабилитирован 22 июня 1963 г.

[46] Лев Исаак Аронович (1884–?), в Госбанке с ноября 1921 г. по 1929 г., на момент ареста экономист по налоговом вопросам Металлоцентра ВСНХ, экономист по налоговым вопросам; арестован 2 декабря 1930 г.; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания направлен в Сиблаг ОГПУ; 14 марта 1932 г. освобождён условно-досрочно; реабилитирован 22 июня 1963 г.

заслуженного артиста Республики В.Л. Дурова; А.Я. Горнштейн[47], активный участник создания первых социал-демократических партийных ячеек в Одессе, товарищ министра в коалиционном правительстве Забайкалья. Два человека, проходивших по «госбанковскому делу», имели отношение к Цекомбанку, в их числе П.П. Кутлер[48] – племянник Н.Н. Кутлера, бывшего члена министерского кабинета С.Ю. Витте, затем видного кадета, позже одного из руководителей возрождённого в 1921 г. Госбанка. Некоторые из обвиняемых (10 человек) к моменту своего ареста в Госбанке уже не служили, другие успели проработать там весьма недолго[49]. В числе приобщённых к делу показаний имеются копии протоколов допросов Громана, Юровского, Берлацкого и Шера[50].

Аресты привлечённых к делу лиц, многие из которых компактно проживали в «доме Госбанка» (Ленинградское шоссе, д. 20), проходили с 16 августа 1930 г. по 24 февраля 1931 г., а наиболее активно, как и по делу «Союзного бюро», в декабре 1930 г.[51] Самая большая группа (11 человек) была арестована в ночь с 16 на 17 декабря. Так начался третий, последний, этап создания «госбанковского дела» (второй можно отсчитывать от первых «признательных» показаний Шера 30 ноября 1930 г.). Если летом–осенью о «госбанковской вредительской организации» речь ещё не шла (о чём свидетельствуют некоторые формулировки постановлений об избрании меры пресечения)[52], то арестованным в ночь с 16 на 17 декабря уже на первом допросе предъявляли обвинения в членстве в «контрреволюционной меньшевистской организации»[53].

Действия следователей летом–осенью 1930 г. отражают запросы высшего руководства страны, связанные с лицами, фигурирующими в письмах Сталина. Так, на проходившем 18 августа допросе А.И. Лежнёва просили дать показания относительно знакомства с Садыриным[54], Громаном и Кондратьевым[55]. Другая традиционная тема следовательского интереса – контакты с подозрительными иностранцами. Так, от арестованного в ночь с 22 на 23 августа Бельгарда на

---

[47] Горнштейн Абрам Яковлевич (1881–?), с декабря 1924 г. до апреля 1929 г. работал в Госбанке СССР; с 1 августа 1930 г. до момента ареста заведующий финансово-плановым отделом Московской конторы Акционерного сахарного общества; арестован 2 декабря 1930 г. Виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ; 10 мая 1931 г. приговор в части конфискации имущества и высылки семьи отменён, вторично осуждён 3 октября 1941 г. ОСО при НКВД к пяти годам ИТЛ; реабилитирован 22 июня 1963 г.

[48] Кутлер Павел Павлович (1898–1950), с октября 1928 г. старший экономист, позже старший инспектор КПО Цекомбанка; арестован 30 ноября 1930 г.; виновным себя признал частично; осуждён на пять лет лишения свободы; направлен в Соловецкий лагерь ОГПУ; согласно воспоминаниям Л.В. Успенского, в заключении работал экономистом на строительстве Беломорканала и канала Москва–Волга; умер во время инспекционной поездки на одну из среднеазиатских ГЭС в 1950 г.; реабилитирован 3 октября 1957 г.

[49] Например, С.Л. Фридман – только с июля 1929 г. (ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 299).

[50] Отмечу, что некоторые из протоколов допросов, весьма значимые для нашего сюжета (например, допрос Шера от 11 декабря 1930 г.), в сборнике «Меньшевистский процесс» отсутствуют.

[51] Меньшевистский процесс. Кн. 1. С. 6.

[52] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 71, 235, 288 и др.

[53] См., например, постановление о мере пресечения и привлечении в качестве обвиняемого Фридмана (Там же, л. 305).

[54] Садырин Павел Александрович (1877–1938), в 1920-х гг. член правления Госбанка СССР; в 1930–1932 гг. проходил по делу «Трудовой крестьянской партии»; был повторно арестован 2 января 1938 г.; расстрелян 16 сентября 1938 г.

[55] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 1, л. 6–7.

первых же допросах потребовали рассказать о двух иностранных гражданах, с которыми он поддерживал деловые контакты.

Самые ранние следственные материалы по «госбанковской вредительской ячейке» встречаются в опубликованных документах процесса «Союзного бюро». Ещё 27 ноября 1930 г. на очной ставке с арестованным К.Г. Петуниным[56] её «руководитель» Шер отказался подтвердить показания последнего об инструктировании его (по линии зарубежных меньшевистских связей) перед поездкой в Берлин осенью 1927 г., однако 30 ноября дал «признательные» показания, в том числе и по тому эпизоду, который ранее категорически отрицал[57]. К моменту этого «признания» и независимо от него некоторые сотрудники банка уже находились под арестом. Более развёрнутые показания о «госбанковской ячейке» Шер дал 7 декабря 1930 г.[58], «руководитель организации» из 26 будущих фигурантов дела назвал только 15, пятерых из которых так к нему и не привлекли[59]. Свидетельства Шера о «вредительстве» при проведении кредитной реформы появляются в следственных материалах позднее (11 декабря 1930 г. и 2 февраля 1931 г.)[60]. Согласно показаниям Шера от 19 февраля 1931 г., «вредительские установки именно в этой области были избраны в качестве основного метода дезорганизаторской работы»[61]. К середине февраля 1931 г. описания всего комплекса «контрреволюционной деятельности» стали уже более подробны, но к этому времени к написанию «обвинительного сценария» подключились и другие «соавторы» – Лежнёв, Берлацкий, А.Н. Сахаров[62]. Понятно, что акценты в обвинении расставлялись фальсификаторами с учётом меняющейся политической конъюнктуры (ориентировок сверху и кампаний в советской печати). На более поздней стадии следствия расширилась «география» вредительства: в показаниях Шера от 26 января, 3, 4, 19 февраля 1931 г. фигурируют региональные «вредительские» центры и называются их руководители[63], а во время допросов Берлацкого (1 и 19 января 1931 г.) и Шера (4 и 20 февраля)

---

[56] Петунин Кирилл Гаврилович (1884–1937), с осени 1922 г. по сентябрь 1930 г. член правления Центросоюза, заведующий финансовым отделом; последняя должность перед арестом – заместитель коммерческого директора Уралэльмашстроя; арестован 17 ноября 1930 г.; по делу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» в марте 1931 г. приговорён к десяти годам лишения свободы; содержался в Верхнеуральском политизоляторе, затем в Челябинской тюрьме особого назначения; повторно арестован в тюрьме 10 апреля 1937 г.; по обвинению в причастности к контрреволюционной организации 22 сентября 1937 г. приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян; реабилитирован 26 июля 1990 г.

[57] Меньшевистский процесс. Кн. 2. С. 187, 511–512.

[58] Там же. Кн. 2. С. 192.

[59] Там же. С. 192–193.

[60] Протокол допроса Шера от 11 декабря 1930 г. носит скорее информационный, нежели «признательный» характер (ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 2, л. 63–68; Меньшевистский процесс. Кн. 2. С. 237).

[61] Меньшевистский процесс. Кн. 2. С. 266.

[62] Сахаров Александр Николаевич (1886–1957), с 1923 г. – в Инспекции Госбанка СССР, с 1926 г. – помощник заведующего Инспекцией; в сентябре 1930 г. уволен после «чистки» советского государственного аппарата; на момент ареста не работал; арестован 16 декабря 1930 г.; признал себя виновным; приговорён к десяти годам заключения в ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Сиблаг ОГПУ; 15 мая 1931 г. приговор в части конфискации имущества и высылки семьи отменён; постановлением Коллегии ОГПУ 5 ноября 1932 г. освобождён из концлагеря досрочно, лишён права проживания в крупных городах; работал вольнонаёмным в Дмитлаге; реабилитирован 3 октября 1957 г.

[63] Там же. С. 214, 245, 250, 260.

появляется тема оплаты труда «вредителей» и распределения денежных средств, в том числе и между региональными организациями[64].

Наряду с Шером одной из ключевых фигур в деле фальсификации стал Лежнёв, которому удалось продержаться под нажимом следователей почти четыре месяца. Не случайно фамилии его и Юровского были вынесены в «заглавные» в предварительном, «рабочем» наименовании «дела финансовых работников». Характерно и то, что в показаниях Берлацкого от 4 января 1931 г. наряду с рубрикой «Состав ячейки Госбанка», появилась и другая – «Роль Лежнёва в организац[ии] (ячейке) при Госбанке»[65]. Лежнёву в связи с его «руководящим» статусом приписали вовлечение в организацию Ф.Н. Цуканова[66] и И.А. Антокольского[67]. В протоколах от 12 и 13 декабря 1930 г. Лежнёв назвал 16 членов «госбанковской вредительской ячейки», среди которых были и новые фамилии, отсутствовавшие у Шера. Всего же численность групп в центре и на местах, согласно показаниям Лежнёва, достигала 80 человек[68]. Следует отметить, что, согласно изученным документам, называемые арестованными численность и персональный состав членов «вредительской организации» всегда разнятся[69].

«Метод вредительства», приписываемый Лежнёву, по показаниям Виноградова, состоял якобы в «неправильном освещении хозяйственных явлений в жизни страны»[70]. Можно предположить, что автор конъюнктурных обзоров достаточно скептически относился к мероприятиям «великого перелома». Так, согласно показаниям Коробкова, в мае–июне 1930 г. на его вопрос об экономической конъюнктуре Лежнёв охарактеризовал положение на селе с посевами, скотом, трудовыми отношениями как «скверное» («не хотят работать. Брат пошёл на брата»), то же было сказано им и о городе[71]. Эти настроения, отра-

---

[64] Там же. Кн. 1. С. 77, 103; Кн. 2. С. 247, 271.

[65] Там же. Кн. 1. С. 83–84.

[66] Цуканов Фёдор Николаевич (1885–1954), с 1924 г. сотрудник Госбанка СССР; арестован 16 декабря 1930 г.; виновным себя признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания направлен в Вишлаг ОГПУ; 15 мая 1931 г. приговор в части конфискации имущества и высылки семьи был отменён; в январе 1933 г. работал в заключении экономистом производственного отдела Управления Темниковского ИТЛ (пос. Явас Мордовской АССР); реабилитирован 3 октября 1957 г.

[67] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 1, л. 96, 150. Антокольский Абрам Исаакович (1886–1951), с сентября 1923 г. сотрудник Госбанка СССР, помощник заведующего подотдела Хлебного отдела, заместитель заведующего подотделом отделов Хлебного, Элеваторного и Финансового-счётного; в последние годы – в Финансово-экономическом бюро; Комиссией по «чистке» Госбанка уволен 15 апреля 1930 г.; на момент ареста 17 сентября 1930 г. старший экономист Управления доходов Мосфинотдела; виновным себя признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания направлен в Севлаг ОГПУ (Сольвычегодск); реабилитирован посмертно 26 ноября 1959 г.

[68] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 1, л. 23–30.

[69] В показаниях Г.В. Рочко от 7 января 1931 г. руководителями организации предстают не Шер и Берлацкий, а Каценеленбаум (Там же, л. 325). Другие арестованные называли и нескольких «членов организации», не вошедших в число обвиняемых по «госбанковскому делу»: Г.Х. и И.Х. Майдель, П.Я. Ростовцев (умер в 1928 г.), Г.А. Шварц, Б.И. Осколков, Л.Г. Нерсесов, К.И. Страхов, Ю.Ю. Чаговец, Кацман, Маслов, Курёхин (Там же, л. 25, 99, 150, 194, 231–231 об., 325). В негативном контексте, способном дать основание для «разработки» или ареста, упоминаются арестованными (в большинстве своём – не сотрудниками Госбанка) и другие госбанковские служащие – Каган, Зильберборт, Выносов, Кутякин, Цукерман, Либерман (Там же, т. 1, л. 13 об.; т. 3, л. 330 об.–332 об.).

[70] Там же, т. 1, л. 296–297.

[71] Там же, т. 3, л. 132–133.

зившие реальную картину происходившего в стране, и заключали в себе единственную «вину» арестованного.

На последнем этапе «госбанковского дела», когда обвинительная версия уже была выстроена, в списке членов «контрреволюционной организации», названных Сахаровым, 22 декабря 1930 г. фигурировали уже 24 человека, а 29 декабря арестованный «вспомнил» ещё четверых. Его показания как помощника заведующего инспекцией Правления Госбанка СССР следователи использовали для фабрикации дела в значительной мере. В обязанности инспекции входили рассмотрение кредитных планов филиалов Госбанка и выработка директив по кредитованию отдельных отраслей народного хозяйства. Это открывало хорошую перспективу для сценарных фантазий ОГПУ, в том числе и в отношении связи с периферийными «госбанковскими вредительскими ячейками». Протоколы допросов Сахарова свидетельствуют, что следователи уже систематизировали обвинительные материалы и выстроили относительно стройную версию «вредительской деятельности». Характерно, что один из протоколов – от 27 февраля 1931 г. – был оформлен в машинописном варианте на 12 листах с выделением тематических подзаголовков. При этом в тексте встречаются ссылки на документы, приобщённые к делу, которые не могли попасть к арестованному иначе, чем из рук следователей[72].

Некоторые важные детали в картине следствия восстанавливаются благодаря более поздним документам дела, связанным с процессом реабилитации осуждённых. Дополняя всё известное из ранее опубликованных свидетельств по «параллельным» делам, они дают представления о содержании предъявленных обвинений и «логике» обвинителей. В составленном через много лет, 19 января 1954 г., заявлении на имя Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко Сканави писал: «Мне было инкриминировано, что я, работая ст[аршим] инспектором Кредитно-планового отдела Правления Госбанка, сокращал заявки трестов чёрной металлургии на банковский кредит в составлявшихся мною проектах заключений. Должен... категорически и со всею ответственностью заявить, что размеры банковских ссуд, согласно этим заключениям, полностью обеспечивали потребность трестов в *краткосрочном* кредите, а сокращению подвергались лишь *завышенные* требования на банковский кредит, вызванные в большинстве случаев перерасходами трестов по сметам их капитального строительства. Такое отношение к кредитным заявкам диктовалось Уставом Госбанка. Эти основы кредитной работы Госбанка в настоящее время являются общеобязательными для всех хозяйственников. Более того, теперь использование оборотных средств на капитальные вложения преследуется по закону. Но в то далёкое время потребовались особые правительственные постановления, для того чтобы этим основам была придана сила закона... До их издания сокращения кредитных заявок, производимые на основе одного только Устава Госбанка, подвергались резкому оспариванию и протестам не только со стороны отдельных представителей промышленности, но зачастую и целых ведомств.

Столь неблагоприятно сложившаяся для меня ситуация на следствии, а именно оговоры некоторых лиц и отсутствие твёрдой законодательной основы для правильного суждения о характере моей работы в Госбанке, привели следователя к заключению (с определённой точки зрения) о моей виновности в якобы злонамеренном сокращении кредитных заявок и к настойчивому стрем-

[72] Там же, т. 1, л. 267.

лению всеми средствами привести и меня к этому сознанию, аргументируя, между прочим, тем, что эти сокращения, уменьшая сумму средств в распоряжении трестов, могло, в конечном счёте, отразиться на количестве выпускаемого металла и, следовательно, фактически задерживали темпы индустриализации страны. Доказать коренную неправильность этого "строго логического", на первый взгляд, аргумента и тем самым доказать отсутствие своей вины я мог только ссылками на Устав Госбанка и на необходимость борьбы с бесхозяйственностью трестов, допускавших производство расходов на строительство за счёт средств Госбанка, но это во внимание не принималось и отметалось»[73].

Особняком стоят «дела» Бельгарда и Коробкова, которые в силу своих должностных обязанностей часто и подолгу находились в Англии и США. Им, как никому другому удобнее было приписать осуществление связей с заграничными меньшевистскими центрами и передачу секретной информации зарубежным финансистам для «дискредитации кредитоспособности Госбанка СССР», что и нашло отражение в обвинительном заключении[74]. В ходе допросов Коробкова и Бельгарда следователи привычно искали компромат по линии контактов арестованных с представителями эмиграции, заодно выясняя связи со «скомпрометированными» персонами, такими как Юровский, Громан, Д.А. Лоевецкий[75], В.В. Тарновский[76]. Об этом спрашивали и вызванную на допрос жену Коробкова[77].

Характерно, что в агентурных материалах Контрразведывательного отдела ОГПУ за 1927 г., поднятых из архивов в 1946 г. в связи с попыткой Коробкова добиться снятия судимости, он фигурировал как один из знакомых «разрабатываемого» А.А. Бедряги, которому якобы рассказывал, что «в мае 1926 года во время забастовки английских горняков в помощь им СССР была переведена крупная сумма денег в иностранной валюте и что это не профсоюзные, а государственные средства». Более того, по агентурной информации, один из заграничных банкиров, с которым Коробков познакомился во время зарубежной командировки, предлагал ему перейти к нему на службу и отправлял в его адрес посылки[78]. Однако экономическое управление ОГПУ, «раскрывая» международные связи «вредителей», и не подумало обращаться в профильную структуру своего ведомства, поэтому выявленный коллегами «компромат», которому те в своё время не придали значения, так и не был использован.

---

[73] Там же, т. 5, л. 378–379.

[74] Там же, т. 2, л. 379–380. О «деле» Коробкова подробнее см.: *Николаев М.Г.* Неизвестные судьбы госбанковцев 1920-х: директор иностранного отдела Госбанка СССР В.С. Коробков // Деньги и кредит. 2013. № 7, 8.

[75] Лоевецкий Давид Абрамович (1884–?), в 1920-х гг. заместитель начальника Валютного управления НКФ СССР.

[76] Тарновский Владимир Васильевич (1872–1954), финансист; в 1922 г. товарищ управляющего Северо-Западной конторой Госбанка РСФСР; принимал активное участие в разработке и проведении денежной реформы 1922–1924 гг.; 10 октября 1929 г. «вычищен по первой категории» комиссией по чистке аппарата Наркомфина СССР. Подробнее см.: *Ефимкин А.П.* Идею рождает время... (к 140-летию со дня рождения В.В. Тарновского) // Деньги и кредит. 2012. № 9.

[77] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 122–122 об., 74–75 об. Из всех протоколов допросов Коробкова только два – от 29 января и 2 февраля 1931 г. – существуют не только в рукописном, но и в машинописном варианте (для просмотра начальством). Показания Коробкова в известной мере «компрометируют» Л.Н. Юровского и А.И. Лежнёва, обнаруживая их скепсис в отношении происходивших в стране событий, но отнюдь не дают оснований для обвинения их в преступной деятельности.

[78] Там же, т. 5, л. 367.

Материалы дела содержат интересный документ с описанием деятельности Коробкова за границей, участия его в переговорах с представителями американских банков[79]. Эта работа проводилась под жёстким контролем высшего партийного и государственного руководства, и подробно отражающие её материалы сохранились в соответствующих архивных фондах. Многие документы, в том числе за подписью Коробкова, а также с многочисленными упоминаниями его имени, опубликованы[80].

Записка Коробкова, по понятным причинам уступая в точности отчётным и другим делопроизводственным документам, содержит некоторые любопытные детали, например, связанные с «золотой операцией» 1928 г.[81] Золото, вывезенное в США для оплаты советских закупок, в связи с угрозой ареста по иску Банка Франции пришлось срочно эвакуировать обратно. Для его вывоза был зафрахтован пароход «Дрезден», первый из тех, что отплывал в Европу (Германию), и только в период его нахождения в пути выяснилось, что он должен был зайти во французский порт Шербург[82]. Как бы то ни было, золото успели перегрузить. Причём американские банки согласились радировать свои распоряжения капитану парохода о неимении с их стороны никаких препятствий. Такую позицию они заняли несмотря на то, что являлись корреспондентами «Банк де Франс» и хранили у себя его депозиты. В результате перегруженное золото было депонировано в Рейхсбанк. Из записки Коробкова, помимо всего остального, следует, что он в целях предосторожности просил Москву о присылке золота с «несоветским клеймом». Таковое и было отправлено в Германию, но, в силу несвоевременно полученных нашим представителем директив, продано в Берлине. В США же отправили золото с советским клеймом[83]. Вся эта история с отправкой золота якобы без санкции Политбюро, а только с разрешения одного из замов Предсовнаркома, была позже использована Сталиным в выступлении на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 22 апреля 1929 г. для контробвинения А.И. Рыкова в нарушении коллегиальности в работе высшего руководства[84].

У Бельгарда сначала взяли показания относительно нескольких иностранных граждан, включая сотрудников посольства Великобритании в Москве, затем расспрашивали о Ю.В. Ломоносове (возглавлял Российскую железнодорожную миссию по закупкам паровозов и остался на Западе), позже выясняли его связи с эмигрантами. В отличие от Коробкова, дворянин и бывший сотрудник кредитной канцелярии Министерства финансов Бельгард имел большее количество знакомств среди тех, кто эмигрировал из страны. Материал для об-

---

[79] Протокол допроса от 2 ноября 1930 г. на 30 листах, написанных Коробковым собственноручно (Там же, т. 3, л. 90–118 об.).

[80] См.: Москва–Вашингтон: политика и дипломатия Кремля, 1921 – 1941: Сборник документов. В 3 т. М., 2009.

[81] Там же. Т. 1. С. 545–560; *Жирнов Е.* «Претензии Французского банка на русское золото были отклонены» // Коммерсант. 2002. № 210 (2579). 20 ноября. Любопытные комментарии к этой истории см.: *Шитц И.И.* Дневник «великого перелома» (март 1928 – август 1931). Париж, 1991. С. 5–6.

[82] В письме на имя В.Р. Менжинского жена С.К. Бельгарда уверяет, что именно её муж, первый узнав об этом, сигнализировал телеграммой из Лондона о необходимости предпринять срочные меры для исправления ситуации (ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 47–47 об.).

[83] Там же, л. 98 об.–102.

[84] Как ломали нэп. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. В 5 т. Т. 4 М., 2000. С. 500. Авторы комментариев остались в неведении, что речь в выступлении Сталина шла о «золотой операции» 1928 г. (Там же. С. 723).

винения отыскивали с помощью самого арестованного: он должен был назвать все известные ему «заграничные операции, принесшие и приносящие вред государству СССР».

Наиболее настойчивые попытки доказать свою невиновность предпринял член правления Госбанка Блюм. В деле сохранилось несколько записок, которые свидетельствуют, что подследственный вступил в «юридический спор» со следователями, защищая себя при помощи логических доводов. Как и другие арестованные, Блюм вынужден был добиваться от следователей информации о том, в чём его обвиняют, требовать проведения юридически грамотного анализа компрометирующих его показаний арестованных коллег. В деле сохранилось обращение Блюма к главе ОГПУ[85], с которым он был лично знаком. Однако единственным результатом подобной апелляции очевидно стало лишь снисходительное предоставление арестованному возможности писать свои возражения против методов ведения следствия.

Как и в случае с Лежнёвым, у Блюма пытались получить компромат на Шера и Берлацкого, которых готовили к процессу «Союзного бюро». Отношениям с ними посвящена специальная записка от 2–3 января 1931 г.[86] В ней Блюм дал любопытные личностные характеристики коллег, высказал некоторые соображения, допускающие их виновность как «оговорщиков», но использовать этот текст в качестве свидетельства обвинения было невозможно. В частности, в отношении Шера и Берлацкого следовали такие выводы: «Общее моё впечатление от встреч с Ш.: человек не особенно жалующий совет[скую] власть, но примирившийся с ней ("ничего не поделаешь"); по-чиновничьи, но добросовестно, когда захочет, исполняющий свои обязанности Члена Правления»; «Политические убеждения Б. мне неизвестны, но он всегда был или старался быть со мной 100% советским человеком и очень дорожил своими коммунистическими знакомствами и связями»[87].

Не участвовал в сочинении криминального «сценария» и другой член правления Госбанка – Каценеленбаум, один из самых авторитетных специалистов в области кредита и финансов. На первом этапе следствия его заставили давать пояснения по вопросам эмиссионной политики, отношения к частному капиталу и проч. По отработанной схеме выявляли связи с разными «скомпрометированными» персонами, например, П. Шеффером, московским корреспондентом «Berliner Tageblatt»[88], датским дипломатом А.А. Кофодом[89], предпринимате-

---

[85] Там же, л. 174.

[86] Там же, л. 175–177 об.

[87] Там же, л. 177, 179–179 об.

[88] Шеффер Пауль (Scheffer Paul) (1883–1963), немецкий журналист, московский корреспондент «Berliner Tageblatt» в 1922–1929 гг. По сообщению В. Сержа, в 1927 г. опубликовал известный оппозиционный документ «Завещание А.А. Иоффе». Его освещение «Шахтинского процесса», к которому в числе обвиняемых были привлечены и немецкие инженеры, вызвало крайне негативную реакцию советских властей, в частности руководства НКИД, видевшего в нём главного организатора антисоветской кампании в германской прессе. Хотя на ноябрьском (1929) пленуме ЦК ВКП(б) упоминался В.М. Молотовым как пример врага, признающего в своих публикациях успехи советской власти, 14 ноября 1929 г. член Коллегии НКИД Ф.А. Ротштейн на встрече с журналистом, уезжающим в Германию, объявил ему об отказе в выдаче обратной визы. В дальнейшем работал корреспондентом газеты в Лондоне; с апреля 1934 г. по 31 декабря 1936 г. главный редактор; с 1937 г. американский корреспондент газеты «Das Reich». После войны остался жить в США.

[89] Кофод (Koefoed) Андрей Андреевич (Карл Андреас) (1855–1948), агроном, землеустроитель, государственный чиновник, мемуарист. Родился в семье датского фармацевта. Окончил

лем, членом правления Московского общества взаимного кредита и Биржевого комитета Московской товарной биржи А.И. Синелобовым и др.[90]

Для обвинений Каценеленбаума использовали показания Я.М. Куперма-на[91] и П.В. Микеладзе[92], которые были осуждены по «параллельному делу», «вредителей из Наркомфина». Как главе эмиссионного отдела Госбанка Каценеленбауму предназначалась роль проводника «вредительских» установок при осуществлении эмиссионной политики, несмотря на то что её параметры прописывало и утверждало партийно-государственное руководство.

С группой остальных фигурантов «госбанковского дела» поступили предельно просто, не обременяя их долгими допросами. В деле каждого из них в лучшем случае присутствуют краткое или развёрнутое изложение автобиографии и обязательный протокол допроса с установочными данными. Во втором (часто и последнем) протоколе имелось, как правило, отрицание арестованным предъявленного ему обвинения. Подобный «минимализм» характерен для оформления процедуры следствия в отношении А.З. Мжедлова-Серебрякова[93], Льва, Горнштейна, Лепёшкина, Виноградова, которых приобщили к госбанковскому делу 21 апреля 1931 г. Так, у Льва вообще отсутствуют протоколы допросов, кроме установочного. У Лепёшкина второй (и последний) протокол с отрицанием обвинения оформлен после утверждения обвинительного заключения и за один день до вынесения приговора – 24 апреля 1931 г. Так же «тонки» и малосодержательны материалы дела в отношении арестованных М.Я. Кассациера[94],

---

Королевскую ветеринарную и сельскохозяйственную академию в Копенгагене (1875). С 1878 г. в России, в 1892 г. принял русское подданство. Один из активных деятелей столыпинской аграрной реформы, автор многочисленных трудов по аграрным вопросам и землеустройству, статский советник (1915). С сентября 1917 г. – в московском отделении посольства Дании. В 1920 г. восстановил датское гражданство. С 1921 г. атташе посольства Дании в странах Прибалтики. С 1924 по 1930 г. атташе посольства Дании в СССР. По требованию советских властей в 1931 г. был отозван. В 1945 г. опубликовал мемуары на датском языке (переизданы на русском в 1997 г.). Шпионаж через посредство Кофода приписали А.В. Чаянову и Н.Д. Кондратьеву (См.: *Кондратьев Н.Д.* Суздальские письма. С. 102, 130).

[90] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 239 об.–241.

[91] Куперман Яков Миронович (1899–1956), сотрудник Валютного управления НКФ СССР; арестован 22 августа 1930 г.; летом 1931 г. приговорён к десяти годам ИТК за принадлежность к «Трудовой крестьянской партии».

[92] Микеладзе Павел Вячеславович (?–1963), советский экономист, специалист по налоговой политике, член президиума Института экономических исследований НКФ СССР, учёный секретарь Финансовой секции института; с июня 1925 г. учёный секретарь Института экономических исследований, позднее работал в Плановом экономическом управлении НКФ СССР; в 1929 г. был уволен комиссией по «чистке» аппарата НКФ СССР, арестован.

[93] Мжедлов-Серебряков Алексей Захарович (1880–?), в 1924–1927 гг. – в Госплане СССР, с 1927 г. сотрудник Госбанка СССР, консультант районной группы; арестован 2 декабря 1930 г.; виновным себя не признал; осужден на 5 лет ИТЛ; для отбытия наказания направлен в Вишлаг ОГПУ; 14 марта 1932 г. лагерь заменен высылкой на оставшийся срок лишения свободы; реабилитирован 22 июня 1963 г.

[94] Кассациер Михаил Яковлевич (1885–1957), с октября 1924 г. заведующий статистическим отделом Госбанка; с 1929 г. заместитель заведующего подотделом статистики; с июня 1929 г. – в ЦУСТРАХе, статистик, старший статистик; в апреле 1930 г. комиссией по чистке «вычищен» по первой категории с заменой на вторую категорию сроком на 1 год; с декабря 1930 г. – в артели «Вышивка»; с 1 февраля до момента ареста 27 февраля 1931 г. статистик в Институте Невро-психиатрической профилактики; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ; 15 мая 1931 г. приговор в части конфискации имущества и ссылки семьи отменён; освобождён досрочно 10 апреля 1933 г.; судимость снята 15 ноября 1936 г.; реабилитирован 3 октября 1957 г.

С.Ф. Мещерякова[95] и Е.С. Лурье[96]. Среди этой группы лиц были и те, кто не принадлежал к категории «буржуазных специалистов», чьё мировоззрение сформировалось в значительной мере в условиях советского режима (С.Л. Фридман[97] и И.Ф. Гиндин).

Гиндин, самый молодой из арестованных, в своих показаниях подчеркнул, что о существовании «вредительской организации» он впервые узнал от следователя. В попытке доказать свою непричастность к «вредительству» Гиндин настаивал: «Я принадлежу к той категории молодых специалистов, которые не только не находились под влиянием буржуазных идеологов и специалистов (типа Юровского, Громана, Кондратьева и т.п.), но которые стремились проводить марксистско-ленинские методы в своей научной и практической работе»[98].

Гиндин свидетельствовал, что после прихода в Госбанк в конце 1928 г., он, занимаясь разработкой «принципиальных вопросов кредитной политики, продолжал прежнюю линию, т.е. принимал участие в борьбе с правооппортунистическими антиплановыми тенденциями в области кредита (кот[орые] господствовали ранее в работе Госбанка), в борьбе с капиталист[ическими] методами кредита, являвшимися помехой выполнению нар[одно]-хоз[яйственных] планов». В заслугу себе Гиндин ставил участие в обследовании заочных курсов НКФ и обнаружение «засилья буржуазной профессуры», а также преподавательскую работу среди выдвиженцев, участие в составлении новых учебников по кредитному делу, разработку научных исследований, получивших положительную оценку главы советской исторической науки М.Н. Покровского. Записка Гиндина от 18 января 1931 г., адресованная следователю, заканчивалась следующими словами: «Я твёрдо верю, что ОГПУ снимет с меня позорное клеймо, наложенное на меня самим фактом моего ареста по вредительскому делу, и даст мне возможность вернуться к участию в социалистическом строительстве, без чего жизнь не может иметь для меня никакого смысла»[99].

Выставляя себя борцом против «буржуазных концепций» в области теории денег и кредита, своим оппонентом, помимо Юровского, Гиндин называет и Каценеленбаума «с его защитой частного накопления»[100]. Очевидно, борьба велась им и против других оппонентов из числа авторитетных банковских специалистов. Так, Блюм указал на Гиндина как на сотрудника, который во время

---

[95] Мещеряков Сергей Фёдорович (1898–1957), с 1924 г. сотрудник Госбанка СССР, до 1930 г. статистик Финансово-экономического бюро, с апреля 1930 г. экономист, консультант кредитной группы «В» Кредитно-планового управления; после реорганизации – в секторе промышленности (ответственный исполнитель по резиновой, каучуковой и бумажной промышленности); арестован 24 февраля 1931 г.; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания направлен в Вишлаг ОГПУ; реабилитирован 3 октября 1957 г.

[96] Лурье Евгений Соломонович (1887–?), в 1929–1930 гг. заместитель директора Планово-экономического отдела Госбанка СССР; арестован 16 декабря 1930 г.; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; реабилитирован 3 октября 1957 г.

[97] Фридман Саадий Лазаревич (1897–1971), с июля 1929 г. сотрудник Госбанка СССР, консультант; арестован 16 декабря 1930г.; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ; постановлением Коллегии ОГПУ от 20 мая 1931 г. приговор в части высылки семьи отменён; решением Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. заключение в лагере заменено ссылкой на оставшийся срок; 28 сентября 1933 г. досрочно освобождён; реабилитирован 3 октября 1957 г.

[98] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 333–336.

[99] Там же.

[100] Там же.

чистки госбанковского аппарата «особенно изощрял своё перо его травлей»[101]. Но фальсификаторов нисколько не смутило то обстоятельство, что в составе организации, куда должны были входить политические единомышленники, оказались лица, которые не только являлись идеологическими противниками, но и находились между собой в неприязненных отношениях. Из показаний того же Блюма, например, можно узнать и о конфликтных отношениях Берлацкого с Инжиром[102].

С другой стороны, со слов самого Инжира известно, что он после вступления в должность главного бухгалтера сигнализировал в ОГПУ об обнаруженных им в Госбанке «безобразиях» и даже написал несколько записок, в которых «охарактеризовал ряд лиц, занимающих крупные должности и вызывающих своей работой определённое подозрение»[103]. Среди них, как утверждал арестованный, были и члены правления Госбанка. Всё это должно предостеречь исследователей изучаемой темы от того, чтобы рассматривать фигурантов «вредительского дела» исключительно в роли жертв без всякой дифференциации, связанной с анализом их деятельности до ареста и в период следствия.

* * *

О способах, которыми вынуждали арестованных давать нужные следствию показания, сегодня известно достаточно много. Большинство из тех, кто не чувствовал за собой вины, не могли себе представить, что столкнутся с профессиональными фальсификаторами. Лепёшкин в анкете «для арестованных и задержанных с зачислением за ОГПУ» в строке «Примечания заключённого» записал: «Прошу очень меня скорее допросить. Уверен, что арестован по недоразумению. 2.12.1930»[104]. М.Я. Кассациер с неменьшей наивностью пытался уверить следствие в своей невиновности, рассчитывая на эффект, вызванный своим смелым заявлением: «В случае если моя принадлежность к организации будет проверена фактами и доказана, прошу Коллегию ОГПУ меня расстрелять»[105].

Парадоксальность положения, в котором оказались арестованные, охарактеризовал Кондратьев, проходивший по «параллельно» ведущемуся делу: «Трудно, почти невозможно доказать свою невиновность, если не выдвинуто никаких конкретных обвинений... Авторитетным представителем следствия мне было дано понять, что вопрос о моей преступности для следствия уже предрешён, что уже при самом начале следствия я рассматриваюсь как пойманный преступник и притом как преступник, подлежащий расстрелу, что следствие уже сделало заключение по моему делу и в качестве единственного шанса оно предлагает мне попытаться спасти себя чистосердечным разоружением, т.е. рассказом о своих преступлениях, которых оно не называет»[106].

Схожим образом описывает ситуацию и Юровский[107]. Расстрел в сентябре 1930 г. 48 человек по делу «вредителей рабочего снабжения» без суда, приго-

---

[101] Там же, л. 185 об.
[102] Там же, л. 177 об.
[103] Там же, л. 145–145 об.
[104] Там же, т. 2, л. 23.
[105] Там же, л. 33.
[106] *Кондратьев Н.Д.* Суздальские письма. С. 103.
[107] *Юровский Л.Н.* Указ. соч. С. 577. В.В. Чернавину следователь также угрожал: «Вы будете 49-м» (*Чернавин В.В.* Записки «вредителя» // Владимир и Татьяна Чернавины. Записки «вреди-

вором Коллегии ОГПУ, вынесенным по прямому указанию Сталина[108], придал ещё большую уверенность палачам и стал весомым аргументом в принуждении арестованных к сотрудничеству со следствием. Те, кого рассчитывали вывести на открытый судебный процесс, оказались в наихудшем положении. Об этом свидетельствовали Якубович, Б.И. Желтенкова, М.А. Броунштейн-Валерианов, Юровский и Кондратьев.

Поскольку никакими реальными обвинительными материалами следователи не располагали, подследственные вынуждены были сами искать причины, по которым их могли заподозрить во вредительстве и, выдвигая собственные гипотезы, отметать порой даже «ошибочные» основания для обвинения. Абсурдность ситуации, обрисованной Кондратьевым, дополняет свидетельство Блюма (записка следователям от 4–8 января 1931 г.): «Со мной не хотят разговаривать, пока я не “сознаюсь”. После “сознания” мне обещается помощь и защита и сообщение конкретных данных обвинения. При этих условиях я лишён возможности представить все необходимые объяснения. И мне приходится убеждать в своей невиновности общими соображениями и логическими доводами». Из другой его записки от 9 марта того же года можно узнать, что следователи ему не только отказали в очных ставках с Шером и Берлацким, но и не разрешили прочитать их показания. Поэтому при обосновании доказательств своей невиновности арестованный вынужден был, как он указал, исходить из того, о чём обмолвились на допросах следователи[109].

Пассажи, встречающиеся в показаниях «госбанковцев», указывают на то, что некоторые из них, вынужденные уступить следователям, получили возможность «дезавуировать» свои «признания», вписать в протоколы допросов ссылки на некие «смягчающие вину обстоятельства». Очевидно, это и есть следы той «защиты» и «помощи» «сознавшимся» со стороны следователей, о которых упоминал Блюм. Так, в протоколе допроса Сканави от 18 января 1931 г. читаем: «Хотя конкретно никто мне не говорил о существовании к[онтр]-р[еволюционной] вредительской организации и меня в неё не вовлекал, но моя практическая работа фактически не расходилась с антисоветскими установками, развиваемыми Ростовцевым и другими работниками банка, – тем самым, поскольку я не вёл борьбы против них, я и осуществлял дезорганизаторскую работу, шедшую вразрез с интересами государственной промышленности и

теля»: Побег из ГУЛАГа. СПб., 1999. С. 111). Думается, что отечественная историческая литература недооценивает общественный резонанс, вызванный этим массовым расстрелом. И.И. Шитц в своём дневнике (запись от 25 сентября 1930 г.) описывает реакцию москвичей в день выхода газет с сообщением о расстреле 48 «вредителей»: «Впечатление – ужас. Люди ходят по улицам молча, в трамваях – молчание» (*Шитц И.И.* Указ. соч. С. 225). Об угрозе расстрела как распространённом средстве шантажа сохранилось свидетельство и в деле П.И. Пальчинского. В записке от 15 февраля 1929 г., адресованной следователю, он, в частности, употребляет такой оборот: «В случае ухода моего из жизни, что обещано Вами...» (*Делицой А.И.* П.А. Пальчинский в последние месяцы жизни. 1928–1929 гг. // Вопросы истории. 2010. № 7. С. 143). Судьбой расстрелянного в 1929 г. Пальчинского позже запугивали Кондратьева (*Кондратьев Н.Д.* Суздальские письма. С. 102).

[108] Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. С. 216–218.

[109] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 139–139 об., 180, 219–219 об. Одна очная ставка всё же состоялась, но с Лежнёвым и лишь 24 апреля 1931 г., т.е. спустя неделю после утверждения обвинительного заключения и за сутки до вынесения приговора. В этот же день была проведена очная ставка между Лежнёвым и Каценеленбаумом. Никаких последствий эти следственные процедуры, конечно же, не имели (Там же, л. 269–270 об.).

вопреки директив соввласти»[110]. Понятно, что и этот фактический отказ от ранее данных признательных показаний, и констатация отсутствия умысла в совершении «вредительства», как и ранее приведённые «спасительные» фразы из протоколов допросов его коллег, были проигнорированы лицами, принимавшими судебное решение.

Показательны предметы, изъятые у арестованных при обыске и ставшие «уликами»: у Лежнёва – коробка шарикоподшипников (очевидно, годящихся для использования в качестве начинки самодельных взрывных устройств!)[111], у Виноградова – книга «Директория–Колчак–интервенты»[112], у Александрова – «брошюра Пуришкевича»[113], у Бельгарда, долгое время работавшего за рубежом, – валюта (девять германских марок и семь шиллингов, несколько иностранных медных монет!)[114].

Пока арестованные находились в тюрьме, их родные и близкие пытались оказать им помощь. В деле сохранилось несколько писем – обращений на имя председателя ОГПУ В.Р. Менжинского (Бельгарда, Коробкова и Блюма он знал лично). Наиболее решительно на защиту своего мужа встала жена Сканави, Елена Евгеньевна, сестра будущего академика А.Е. Порай-Кошица[115]. Признавая право ОГПУ «пересмотреть всех старых специалистов», она тем не менее твёрдо заявила, что «должна решительно протестовать, когда задерживается в тюрьме ни в чём не повинный человек... отдающий все свои силы на работу для укрепления Советской власти». «Я утверждаю, – говорит в своём обращении Е.Е. Сканави, – что нет ни одного факта в жизни и деятельности моего мужа, который можно было истолковать как не идущий на пользу Строительства Социализма»[116]. Однако ни одно из подобных обращений не могло помочь арестованным, судьба которых была предрешена.

Обвинительное заключение по «госбанковскому делу» утвердил заместитель председателя ОГПУ Г.Г. Ягода 17 апреля 1931 г. В нём, в частности, констатировалось: «Раскрытая ОГПУ к[онтр]-р[еволюционная] вредительская организация в Государственном Банке является одной из основных частей Союзного бюро ЦК РСДРП меньшевиков. Возникновение этой организации в Госбанке относится к концу 1925 года... Основной целью являлось свержение советской власти и установление буржуазно-демократического строя[117]. Для достижения этой цели к[онтр]-р[еволюционная] организация в Госбанке проводила вредительскую деятельность в денежно-кредитной системе для подрыва финансовой мощи СССР»[118].

---

[110] Там же, т. 1, л. 342.

[111] Там же, л. 2.

[112] Там же, л. 277. Имеется в виду, очевидно, книга: *Болдырев В.Г.* Директория. Колчак. Интервенты. Воспоминания (из цикла «Шесть лет» 1917–1922 гг.). Новониколаевск, 1925.

[113] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 3, л. 317.

[114] Там же, л. 5.

[115] Порай-Кошиц Александр Евгеньевич (1877–1949), химик-органик, с 1931 г. член-корреспондент, с 1935 г. академик Академии наук СССР, лауреат Государственной премии (1943).

[116] Там же, т. 1, л. 355–355 об. Интересно свидетельство дочери Н.А. Сканави, которая пишет о том, что отец по собственной инициативе ходил на похороны В.И. Ленина, а в спорах с критически настроенным к власти А.Е. Порай-Кошицем защищал советский строй.

[117] В показаниях Лежнёва от 31 декабря 1930 г., однако, можно встретить утверждение о том, что основной задачей организации являлось свержение советской власти и замена её демократическим режимом с привлечением к государственному управлению всех социалистических партий (Там же, л. 36–36 об.). Никого из следователей не смутило, что «вредители», якобы, рассчитывали при помощи интервентов привести к власти «социалистов».

[118] Там же, т. 2, л. 311–313.

В марте 1931 г., после окончания судебного процесса по делу «Союзного бюро» были окончательно оформлены и канцелярско-бюрократические процедуры «госбанковского дела». Согласно «генеральному размежеванию» от 25 марта, группу арестованных из 42 человек «во главе с Лежнёвым и Юровским» (дело № 101922) поделили на две части. Одну из них составили члены вредительской организации» в Наркомфине СССР, руководимой «Трудовой крестьянской партией» (18 человек, дело № 102976[119]), другую – члены «вредительской организации» в Госбанке, находящемся в подчинении «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» (21 человек, дело № 108706)[120]. Чуть позже госбанковскую «вредительскую» ячейку «укрепили», доведя её численный состав до 26 человек[121] Решением Коллегии ОГПУ от 25 апреля 1931 г. один человек был приговорён к расстрелу, двоим расстрел заменили 10-летним сроком заключения в ИТЛ (по тюремно-лагерной лексике, «десять лет с испугом»[122]), этот же срок получили ещё четверо, остальные 18 человек были приговорены к пяти годам ИТЛ. В отношении члена правления Цекомбанка С.К. Гейзель-Бокала[123] дело было отложено, а затем прекращено[124]. Таким образом осудили 25 человек (из всех 26 привлечённых по делу виновными себя не признали 16, частично свою вину признали трое, полностью – семеро). Репрессии затронули не только самих арестованных, но и их близких. В большинстве случаев в вынесенных заключённым приговорах имелись пункты о конфискации имущества и высылке семьи. Эти репрессивные меры «второго плана» обычно недооцениваются, хотя они сулили семьям осуждённых весьма нелёгкие испытания, особенно, если учесть, что многие имевшие несовершеннолетних детей жёны заключенных находились на иждивении своих мужей.

Сталинская юстиция меньше всего заботилась о тщательной проработке своих правовых норм, поэтому при выполнении постановления Коллегии ОГПУ возникли коллизии, связанные с различными аспектами семейно-брачных и имущественных отношений. Понятно, что в этих обстоятельствах пострадавшие использовали всё возможное для того, чтобы избежать несправедливых репрессий. Так, в семье Г.В. Рочко[125] вместе с 6-летней дочерью воспитывался

---

[119] Дело № 102976, очевидно, являлось «базовым». По нему числились как арестованные из числа будущих фигурантов «меньшевистского процесса» (например, И.И. Рубин, М.И. Тейтельбаум, А.Л. Соколовский и др.), так и осуждённые в ином порядке – С.О. Ежов-Цедербаум, П.Н. Малянтович, П.П. Маслов и др. (Меньшевистский процесс. Кн. 1. С. 40, 288, 386, 399, 554; Кн. 2. С. 15, 164, 414, 417, 451, 437).

[120] ЦА ФСБ РФ, д. Р-27952, т. 2, л. 194.

[121] Там же, л. 195, 404. В «ячейку» не были включены сотрудники Госбанка СССР В.Н. Троицкий и А.Ф. Тимофеев.

[122] Любопытное описание сцены объявления подобного приговора см.: *Чернавин В.В.* Указ. соч.; Побег из ГУЛАГа. СПб., 1999. С. 157–158.

[123] Гейзель-Бокал Семён Константинович (Залман Копелев) (1887–?), с 1925 г. сотрудник Цекомбанка; последняя должность – член правления Цекомбанка, руководитель Кредитно-планового отдела. Арестован 30 ноября 1930 г.; виновным себя признал частично; 10 мая 1931 г. освобождён; позже работал в Госбанке СССР.

[124] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 1, л. 356–357.

[125] Рочко Григорий (Гирш) Викторович (1886–1958?), с конца 1923 г. сотрудник Госбанка СССР, заведующий подотделом финансирования хлебных операций, заведующий отделом, директор Финхлеба, директор кредитной группы «Е» (сельское хозяйство) Кредитно-планового управления, заместитель директора; последнее место работы – Наркомзем, консультант финансового сектора; арестован 16 декабря 1930 г.; виновным себя признал; по приговору Коллегии ОГПУ 25 апреля 1931 г. был осуждён по статье 58-7-11 на десять лет; для отбытия наказания отправлен в Казлаг ОГПУ; реабилитирован 3 октября 1957 г.

и 13-летний Марк Соболь – сын его жены Р.С. Бахмутской от первого брака с писателем Андреем Соболем. В своём заявлении в правление Всероссийского союза советских писателей жена Рочко просила оказать содействие в предотвращении высылки членов его семьи и конфискации имущества. Основанием для этого были собственный самостоятельный заработок, а также литературные доходы от произведений А. Соболя, поступавшие его сыну. По её утверждению, общее имущество в большей части принадлежало ей с сыном. К делам Рочко, уверяла заявительница, она не имела никакого отношения (в 1929–1930 гг. отсутствовала в Москве, работала в деревне)[126].

В целом с 15 мая по 28 июня 1931 г. Коллегия ОГПУ пересмотрела свои приговоры в отношении конфискации имущества и высылки семей многих осуждённых. Однако, судя по всему, это не помешало сотрудникам ОГПУ, вселившимся в комнаты некоторых арестованных, сохранить за собой полученную жилплощадь (здесь обнаруживается прямая заинтересованность ведомства в успехе своей работы!). За исключением расстрелянного 29 апреля 1931 г. Бельгарда и освобождённого по решению Коллегии ОГПУ от 10 мая того же года Гейзель-Бокала[127], все остальные фигуранты дела в конце мая – начале июня были отправлены в разные ИТЛ ГУЛАГовской системы от Казахстана до Соловков[128].

Попытки добиться пересмотра приговоров тем не менее продолжались. Складывается впечатление, что ОГПУ, ничем не рискуя, достаточно благосклонно реагировало на подобные просьбы. Задание, спущенное «сверху», было исполнено, нужные цифры в отчётах проставлены, благодарности и премии получены, а дальнейшая судьба осуждённых никого по большому счёту уже не интересовала, поэтому безо всякого ущерба для ведомственных интересов можно было проявить снисходительность. Кроме того, известно, что массовая фальсификация дел и связанные с этим проблемы использовались во внутреннем конфликте в руководстве ОГПУ, закончившемся кадровыми перестановками. При этом права ведомства в области применения репрессий были несколько ограничены[129].

Уже 15 июня 1931 г. Блюму заменили 5-летний срок заключения высылкой на Урал (причём жена легко получила согласие ОГПУ на его выезд к месту ссылки за свой счёт, а не этапом). 12 ноября того же года Каценеленбауму на один год сократили лагерный срок, а 2 сентября 1932 г. и вовсе заменили его ссылкой в Западную Сибирь[130] (это решение застало его на этапе из Вишерских лагерей на Колыму). 14 марта 1932 г. был условно-досрочно освобождён Лев с правом свободного проживания на всей территории СССР[131]. С ходатайством о пересмотре его дела выступил В.Л. Дуров, 2 июня 1931 г. обратившийся с письмом на имя «Прокурора Верховного суда», в котором он характеризовал своего помощника как «безукоризненно честного человека, всецело поглощённого своей научной и служебной работой и не только совершенно лояльного, но по общему укладу своей психики чрезвычайно близко стоящего к строительству новой жизни»[132]. Хотя смягчение меры наказания коснулось не всех осуждённых по «госбанковскому делу», большинству из них и в статусе заключённых

---

[126] ЦА ФСБ России, т. 5, л. 37–38.

[127] Там же, т. 2, л. 421.

[128] Там же, л. 417–419, 423, 432, 436, 443.

[129] Подробнее см.: *Хлевнюк О.В.* Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М, 1996. Гл. II; Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД... С. 275–281.

[130] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 5, л. 158, 199, 262.

[131] Там же, л. 318, 312, 315.

[132] Там же, л. 203–203 об.

удалось занять различные, иногда высокие должности в финансово-экономических службах на гулаговских стройках (Коробков, Инжир, Кутлер и др.).

Судьбы же их сложились по-разному. Блюм, чей приговор пересмотрели раньше других, попал под колесо Большого террора и был вторично осуждён 9 августа 1938 г.[133] Такая же участь постигла и вторично арестованного Лежнёва, смертный приговор которому вынесли 20 сентября того же года. 3 октября 1941 г. Горнштейн был вторично осуждён Особым совещанием при НКВД и приговорён к пяти годам ИТЛ. О судьбе Инжира упоминает в своих мемуарах И. Бергер, деятель международного коммунистического движения, один из основателей коммунистической партии Палестины, арестованный в январе 1935 г. В частности, он предположил, что Инжир помог чекистам в подготовке «меньшевистского процесса» 1931 г. (позже Солженицын превратил предположение в утверждение, добавив, что тот «подписывал фальшивые обвинения на своих лучших друзей»)[134].

Встречаются мемуарные свидетельства и о лагерной судьбе Коробкова. Его в числе прочих своих учителей с благодарностью вспоминает Л.А. Финк, в лагере освоивший профессию финансиста. «Когда я его встретил, – пишет Финк, – он уже много лет работал вольнонаёмным сотрудником ГУЛАГа. К своей профессии он относился самозабвенно. Сухой, всегда сдержанный, очень замкнутый, он мог часами взволнованно рассуждать о балансе, ссудах, себестоимости. За цифрой всегда видел человеческие интересы и судьбы. Но только чужие интересы и чужие судьбы. Он никогда не проявлял заботы о личных делах своих подчинённых, их благополучии. Строго одетый, застёгнутый на все пуговицы, он не разрешал себе никаких контактов, выходивших за пределы службы... Видимо, он прошёл такую суровую школу, что научился существовать, словно в футляре, и только в тревогах о казённом рубле появлялась страстность, душевная энергия»[135].

Реабилитация проходивших по «госбанковскому делу» началась только после смерти Сталина в 1953 г. и проводилась постепенно[136]. Как известно, в делах, связанных с реабилитацией необоснованно осуждённых имеется и финансово-имущественная сторона. Но эти иногда встречающиеся в делах документы с цифрами, выраженными в рублях и копейках, способны только лишний раз дать повод задуматься о подлинной цене выстраданного и пережитого теми, кто был незаконно осуждён, а также их родственниками и близкими. С этой точки зрения, последний документ, подшитый в «госбанковское дело» выглядит весьма символично: «Отдел госдоходов Мосгорфинуправления сообщает, что гр[аждан]ке Витенберг Зинаиде Моисеевне произведена выплата стоимости реализованного имущества у гр[аждани]на Витенберг Моисея Владимировича 24 июля 1959 г. в сумме 1 121 руб. 80 коп.»[137] (для сравнения:

---

[133] Там же, т. 1, л. 395–402. Дата судебного заседания, указанная в деле (20 сентября 1938 г.), расходится с указанной в «Книге памяти Свердловской области».

[134] См.: *Солженицын А.И.* Двести лет вместе (1795–1995): В 2 т. Т. 2. М., 2002. Гл. 20. О лагерной карьере Инжира в изложении И. Бергера см.: *Бергер И.* Крушение поколения: Воспоминания / Пер. с англ. Я. Бергера. Firenze, 1973. С. 149–168. Документально известно, что Инжир занимал должность главного бухгалтера центральной бухгалтерии Финансово-планового отдела ГУЛАГа (с 27 ноября 1936 г. числился по совместительству главным бухгалтером Мосволгоканалстроя).

[135] *Финк Л.А.* И одна – моя – судьба: Воспоминания, раздумья, полемика. Самара, 1993. С. 78–80. Финк Лев Адольфович (1916–1998), литературовед, литературный и театральный критик; арестован в 1938 г.; в 1946–1951 гг. работал в финансовом отделе Севжелдорлага.

[136] ЦА ФСБ России, д. Р-27952, т. 1, л. 372 об., 380–380 об, 386–388, 405–412.

[137] Там же, т. 5, л. 416. Витенберг Моисей Владимирович (1883–1954), с июня 1925 г. сотрудник Госбанка СССР; последняя должность – консультант кредитной группы «Е»; арестован 17 сентября 1930 г.; виновным себя не признал; приговорён к пяти годам ИТЛ; для отбытия наказания

Постановлением Совета министров СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397 максимальный размер пенсии за выслугу лет для работников просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства устанавливался в 1 200 руб. в месяц).

* * *

Итак, «дело сотрудников Госбанка», возникшее на волне многочисленных репрессивных мер, направленных против «буржуазных» специалистов, стало не только необходимым для ОГПУ «дополнением» к процессу «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)», но и отразило изменения в советской кредитно-денежной и банковской политике, связанные с окончательной ликвидацией в стране социально-политической и экономической модели, построенной на базе нэпа. В результате арестов из Госбанка СССР были окончательно удалены последние члены его правления – некоммунисты: Шер, Берлацкий, Блюм, Каценеленбаум, серьёзно ослаблен кадровый потенциал ведомства в центре и на местах. Создалась такая обстановка, когда принятие ответственности за те или иные решения грозило повлечь за собой репрессии, а ошибки в работе иногда квалифицировались как политическое преступление.

направлен в Вишлаг ОГПУ; в 1931–1932 гг. заведующий плановым отделом сельскохозяйственного управления Вишлага; постановлением Коллегии ОГПУ от 29 декабря 1932 г. заключение в лагере заменено ссылкой в Алма-Ату; заведующий финансово-плановым отделом Алма-Атинского свеклосахарного треста; постановлением Коллегии ОГПУ от 25 сентября 1933 г. приговор был пересмотрен, получено разрешение возвратиться в Москву; работал неподалёку от здания Госбанка СССР – в Московском цирке на Цветном бульваре (занимался расчётами рациона питания дрессированных животных); реабилитирован 10 апреля 1958 г.

«Смотришь, и Мане, и Тане какой-то "Знак Почёта" попадает». Брежневская «индустрия» награждений и советское общество

Виктор Дённингхаус, Андрей Савин

Принуждение и убеждение традиционно выступали двумя главными столпами, на которых зиждилась власть Коммунистической партии в СССР. В «советской» модели взаимоотношений власти и общества, окончательно сложившейся в 1930-е гг., массовые репрессии органично и эффективно дополнялись агитацией и пропагандой. Однако в послевоенный период истории Советского Союза эта модель стала испытывать определённые пертурбации, в результате которых роль репрессивной составляющей значительно уменьшилась.

Уже в последние годы жизни И.В. Сталина репрессии стали менее частыми и жестокими, утратив интенсивность, свойственную им в довоенный период[1].

© 2014 г. В. Дённингхаус, А.И. Савин.

Статья подготовлена в рамках проекта Германского исторического института в Москве в кооперации с РГАНИ по подготовке к публикации рабочих тетрадей / дневников Л.И. Брежнева.

[1] Подробнее см.: *Хлевнюк О.В., Горлицкий Й.* Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 2011.

«Славное десятилетие» Н.С. Хрущёва ознаменовалось массовой реабилитацией политических заключённых, ликвидацией системы ГУЛАГ, крестьянской и этнической ссылки. Однако количество лиц, репрессированных при Хрущёве за антисоветскую агитацию и пропаганду, особенно во второй половине 1950-х гг., продолжало оставаться сравнительно высоким. Как отмечают составители сборника документов, посвящённого проблеме инакомыслия в СССР, «всплеск» политических репрессий после XX съезда КПСС «противоречит мифу о хрущёвской “оттепели”»[2].

Самые низкие показатели деятельности карательного аппарата в СССР пришлись на период нахождения у власти Л.И. Брежнева. Если при Хрущёве в 1956–1964 гг. за антисоветскую пропаганду и агитацию в среднем ежегодно осуждалось около 636 человек, то при Брежневе в 1965–1982 гг. этот же показатель составил 115 человек[3]. Так, например, за первое полугодие 1980 г. органами КГБ было привлечено к уголовной ответственности 243 человека, из них за особо опасные государственные преступления – 59 человек (в том числе 18 – за измену Родине), 40 активных антисоветчиков и 94 контрабандиста и валютчика[4]. Разумеется, эта статистика не охватывает весь масштаб политических репрессий. Так, религиозные диссиденты осуждались по статьям 142, 143 и 227 УК РСФСР и соответствующим статьям Уголовных кодексов других союзных республик, и их количество было сопоставимо с числом осуждённых «антисоветчиков»[5]. Известна также практика, когда политических противников режима судили по «уголовным» статьям. Тем не менее приведённая выше статистика адекватно отображает общую тенденцию: органы государственной безопасности всё в большей степени заменяли репрессивные практики так называемым профилактированием. Если перефразировать Анну Ахматову, то в СССР при Брежневе вновь наступили «вегетарианские времена»[6].

Такая относительная либеральность во многом была следствием центристской позиции во внешней и внутренней политике, занятой «коллективным руководством» во главе с Брежневым, а также курса на «неуклонный рост

---

[2] Так, только за 1957–1958 гг. по обвинению в антисоветской агитации (ст. 70 УК РСФСР) было осуждено 41.5% (3 380 человек) от общего числа осуждённых за 1956–1987 гг. («О массовых беспорядках с 1957 года...» // Старая площадь. Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1995. № 6. С. 153; Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953–1982 гг. Рассекреченные документы Верховного Суда и Прокуратуры СССР. М., 2005. С. 36).

[3] Там же. Речь идёт о репрессиях в отношении так называемых антисоветчиков и диссидентов, мнимых и реальных противников коммунистического режима, осуждённых по статьям 70 и 190 УК РСФСР.

[4] Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ), ф. 89, оп. 51, д. 4, л. 2–3.

[5] Так, за 1961 – первую половину 1964 гг. в СССР по этим статьям были осуждены 806 «религиозников», тогда как количество осуждённых «антисоветчиков» за 1961–1964 гг. составило 1 052 человека (ГАРФ, ф. 6691, оп. 4, д. 173, л. 187).

[6] Однако общий уровень преступности в СССР и, соответственно, показатели деятельности карательного аппарата продолжали оставаться высокими. Согласно записке Н.А. Щёлокова Л.И. Брежневу от 20 февраля 1971 г., ежегодно в места лишения свободы для отбывания наказания отправлялись 450–460 тыс. человек, примерно столько же освобождались, а различным мерам наказания (в основном административного порядка) ежегодно подвергались 20–25 млн человек. За 1966–1970 гг. в СССР было совершено около 5 млн уголовных преступлений, из них более одного миллиона – в 1970 г. Количество административных правонарушений составило в 1969 г. 18.8 млн, в 1970 г. – 25.2 млн. Количество убийств на один миллион населения в СССР равнялось в среднем 63. Для сравнения Щёлоков привёл аналогичные показатели: для Великобритании – 5 и для США – 69 (РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 100, л. 21–22).

благосостояния советского народа» в экономике, что во многом сняло остроту адаптации к режиму для подавляющего большинства населения[7]. Так, впервые в истории СССР государство из года в год инвестировало значительные суммы в сельское хозяйство, что позволило колхозникам постепенно расстаться со своим статусом «третьесортных» граждан. Большую роль в этом также сыграла выдача паспортов всем колхозникам, начиная с 1974 г. Что касается рабочих, то проблема адаптации к политическому режиму в период «застоя» стояла перед ними в ещё гораздо меньшей степени, чем перед колхозным крестьянством: 1960–1970-е гг. характеризовались неуклонным ростом заработной платы рабочих, из года в год увеличивалось количество семей, получивших отдельную квартиру, в позитивную сторону менялся быт рабочих[8]. Д. Миллар охарактеризовал сложившуюся систему взаимной коадаптации политического режима и населения как «Little Deal», «маленькую сделку», которая заключалась в том, что государство обеспечивало населению социальную безопасность и определённый уровень благосостояния, а также закрывало глаза на «теневую экономику», низкую производительность труда и личное хозяйство колхозников. В свою очередь, население демонстрировало лояльность режиму, не подвергая открытому сомнению официальные правила и нормы[9]. Советский народ выразил одно из главных условий «маленькой сделки» весьма лаконично: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем».

Отказавшись при Брежневе от массовых политических репрессий как от одной из главных структурных составляющих советской цивилизации, власть оказалась перед жёсткой необходимостью заменить карающий «кнут» наказания «пряником» материального и морального поощрения. Однако материальное стимулирование трудящихся фактически завело руководство КПСС в ловушку. Как констатируют публикаторы выступления Брежнева на пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г., «взяв курс на всемерное повышение жизненного уровня населения, советское руководство неожиданно осознало, что народ не понимает и не желает понимать, сколь сложна эта задача для советской экономики»[10]. Тенденция роста заработной платы, повсеместно опережавшей производительность труда, стала серьёзным бременем для народного хозяйства и вызывала нешуточную озабоченность руководства партии и государства. «Я часто задумываюсь над таким вопросом, – признавался Брежнев. –

---

[7] См. Brezhnev Reconsidered. Edition by Edwin Bacon, Mark Sandle. Houndmills-Basingstoke; N.Y., 2002; *Dubin B.* Gesellschaft der Angepassten. Die Brežnev-Ära und ihre Aktualität // Osteuropa 57 (2007). H. 12. S. 65–78.

[8] *Plaggenborg S.*«Entwickelter Sozialismus» und Supermacht 1964–1985 // Plaggenborg, Stefan (Hg.): Handbuch der Geschichte Russlands. Bd. 5/1: 1945–1991. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, Stuttgart, 2002. S. 319–517; *Merl S.* The Soviet Economy in the 1970s – Reflections on the Relationship Between Socialist Modernity, Crisis and the Administrative Command Economy // Calic, Marie-Janine / Neutatz, Dietmar / Obertreis, Julia (Hg.): The Crisis of Socialist Modernity. The Soviet Union and Yugoslavia in the 1970s. Göttingen, 2011. S. 28–65.

[9] *Millar James R.* The Little Deal: Brezhnev's Contribution to Acquisitive Socialism // Slavic Review. 1985. № 44. P. 697–698.

[10] «Наши недостатки, трудности и проблемы не такие мелкие, чтобы можно было себе позволить закрывать на них глаза»: Засекреченное выступление Л.И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 г. / Вступ. статья, подгот. текста, коммент. Г.М. Ивановой и О.В. Ивановой // Россия. XX век. Архив А.Н. Яковлева. 2011 (URL: http://www.alexanderyakovlev.org/ almanah/inside/ almanah-intro/1014759. Дата обращения – 23 марта 2013 г.).

Надо серьёзно удовлетворять потребности народа, я задаю себе вопрос: где грань этим потребностям?»[11].

В этой непростой ситуации «палочкой-выручалочкой» должно было выступить моральное стимулирование граждан к труду, высшей формой которого в СССР традиционно являлось награждение орденами и медалями. Только таким образом руководство партии и государства надеялось добиться позитивных изменений в народном хозяйстве, не затрагивая коренных основ советской плановой экономики. Параллельно моральное поощрение, принявшее массовый характер, должно было помочь справиться с очевидным кризисом коммунистической идеологии, во многом обусловленным отходом населения от политики и возвратом в приватную сферу, растущей аполитичностью молодёжи и её интересом к Западу[12]. Настоящая статья призвана ответить на вопрос, так ли это было в действительности? Для решения поставленной задачи необходимо выявить формы и размеры награждений при Л.И. Брежневе, его личную роль в этом процессе, а также попытаться оценить степень успешности подобного воздействия на общество. Основными документальными источниками статьи выступают материалы Отдела наград Президиума Верховного Совета СССР, а также рабочие тетради/дневники Брежнева[13].

Большевики сделали первый шаг на пути создания своей собственной наградной системы уже в 1918 г., учредив орден Красного Знамени. Пытаясь выделить её специфические черты, в первую очередь стоит отметить то, что советские награды отвечали требованию героизации бытия и подчёркивали преемственность и незыблемость революционных традиций. Кроме того, награждения выступали средством формирования, поощрения и дифференциации советских элит. «Был только один дозволенный способ как-то заявить о себе, проявить исключительность или значимость, – вспоминала Лидия Орлова, главный редактор советского «Журнала мод» – надеть свои награды, ордена и медали, они – и только они! – свидетельствовали о положении человека в обществе, о достижениях в профессии и даже патриотизме. Ордена и медали были главным украшением костюма как мужского, так и женского»[14].

Таблица 1 даёт возможность наглядно представить масштаб награждений орденами и медалями РСФСР/СССР за 1918–1982 гг.

Даже короткий взгляд, брошенный на эту статистику, приводит к выводу о резком снижении количества награждений в 1959–1964 гг., когда в среднем в год награждалось лишь около 23 тыс. человек. При этом абсолютный минимум награждений за всю послевоенную историю СССР был зафиксирован в последний год нахождения у власти Н.С. Хрущёва: в 1964 г. награды получили около 6 тыс. человек[15]. У такой тенденции есть, по крайней мере, три объяснения.

---

[11] Там же.

[12] *Shlapentokh-V.* Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia, N.Y., 1989. P. 153–163; *Zhuk S.* Rock and Roll in the Rocket City. The West, Identity, and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. Baltimore, 2010.

[13] Краткую характеристику рабочих дневников Л.И. Брежнева см.: *Дённингхаус В., Савин А.* «Эпоха Брежнева» глазами генсека. Рабочие записи Леонида Ильича как исторический источник // Родина. 2012. № 2. С. 120–123.

[14] *Юшкова А.* Александр Игманд: «Я одевал Брежнева...». М., 2008. С. 6.

[15] Подробную статистику награждений, в том числе за время нахождения у власти Н.С. Хрущёва, см.: Данные о количестве награждений орденами и медалями СССР за период 1918–1964 гг. // Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1998. № 4. С. 132–157. Цифры, приведённые в нашей таблице, практически полностью совпадают с цифрами таблицы «Количество

Таблица 1

Статистика награждений государственными наградами РСФСР / СССР за 1918–1982 гг.

Годы	**1918–1923**	**1924–1940**	**1941–1945**	**1946**	**1947**	**1948**	**1949**	**1950**	**1951**	**1952**	**1953**	**1954**
Количество награждений	14 639	138 061	13 144 319	319 364	541 961	223 796	456 623	445 365	798 636	385 670	457 826	859 623
Годы	**1955**	**1956**	**1957**	**1958**	**1959**	**1960**	**1961**	**1962**	**1963**	**1964**	**1965**	**1966**
Количество награждений	121 569	287 910	211 727	171 386	20 065	38 087	30 889	22 479	25 364	5 891	121 687	673 423
Годы	**1967**	**1968**	**1969**	**1970**	**1971**	**1972**	**1973**	**1974**	**1975**	**1976**	**1977**	**1978***
Количество награждений	251 800	184 080	19 081	62 246	878 217	147 872	391 103	346 943	319 011	573 041	283 803	–
Годы	**1979****	**1980**	**1981**	**1982**	**Всего за 1979–1982 гг.**							
Количество награждений	52 430	44 484***	440 000****	90 500	Около 685 тыс., из них 245 тыс. за конкретные трудовые успехи в ходе выполнения последних двух лет 10-й и первых лет 11-й пятилеток							

Приведены статистические данные только об орденах и медалях СССР, без учёта наград, вручавшихся от имени Президиума Верховного Совета СССР, таких как медали за заслуги в обороне, взятии и освобождении городов и территорий в период Великой Отечественной войны; юбилейные медали; медали за заслуги в решении важнейших народнохозяйственных задач СССР; ордена и медали для награждения матерей (орден «Материнская слава» трёх степеней и медаль Материнства двух степеней); медали за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга («За отличие в охране государственной границы», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За отвагу на пожаре», «За спасение утопающих»), а также медали «Ветеран труда», «Ветеран Вооружённых Сил СССР», «За укрепление боевого содружества». О практике вручения этих категорий наград см. ниже.

Таблица составлена по: ГА РФ, ф. 7523, оп. 106, д. 3231; оп. 117, д. 3420, 3256, 3281, 3517, 3572, 3546, 3713, 3862; оп. 136, д. 2179, 2312, 2354, 2448. Цифры награждений по 1975 г. включительно взяты из развёрнутых статистических сведений за 1918–1975 гг., подготовленных Отделом наград Президиума Верховного Совета СССР (Там же, ф. 7523, оп. 117, д. 3420). Поскольку статистика награждений постоянно уточнялась и изменялась Отделом наград, цифры награждений за отдельные годы могут варьироваться в ту или иную сторону в пределах нескольких тысяч. Однако, несмотря на имеющиеся расхождения, приведённая статистика в целом верно отображает порядок явления и направление процесса.

* Данными за 1978 г. авторы не располагают.

** Статистика награждений за 1979–1982 гг. приводится здесь без указания наград за боевые заслуги.

*** Приведены данные лишь о работниках сельского хозяйства, единовременно награждённых в 1980 г.

**** Данные о разовом награждении по итогам выполнения 10-й пятилетки. По другим сведениям, в ходе разовой акции в 1981 г. были награждены 429 840 трудящихся (ГА РФ, ф. 7523, оп. 136, д. 2179, л. 4–10).

Во-первых, к концу 1950-х гг. завершилось интенсивно продолжавшееся в первое послевоенное десятилетие награждение участников Великой Отечественной войны. Так, в 1946–1956 гг. за боевые заслуги в годы войны были награждены 756 315 человек[16].

Во-вторых, указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1957 г. и 11 февраля 1958 г. была отменена практика награждений орденами и медалями СССР за выслугу лет, благодаря которой в 1946–1956 гг. награды получили 2 069 549 военнослужащих и гражданских лиц[17]. В указе от 14 сентября 1957 г. «О порядке награждения орденами и медалями СССР военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского флота, войск Министерства внутренних дел СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР» констатировалось: «Практика массового награждения военнослужащих за выслугу определённого количества лет в Армии и на Флоте без учёта характера выполняемых ими служебных обязанностей и конкретных заслуг привела к снижению значения наград, а само награждение орденами и медалями СССР перестало быть важным средством поощрения военнослужащих за достижение ими высоких успехов в боевой и политической подготовке, в укреплении воинской дисциплины и усилении боевой готовности войск»[18]. И хотя под указом стоят подписи К.Е. Ворошилова и М.П. Георгадзе, здесь безошибочно угадывается стиль Хрущёва, активно занимавшегося в эти годы реформированием армии[19].

В-третьих, невысокая численность награждённых за последние шесть лет нахождения Хрущёва у власти, очевидно, свидетельствует о том, что он не придавал большого значения массовому моральному поощрению трудящихся. В качестве подтверждения этого тезиса можно сослаться на то, что за «славное десятилетие» не было учреждено ни одного нового ордена или медали СССР[20].

награждений орденами и медалями СССР за 1918–1964 гг.», опубликованной в «Вестнике» (Там же. С. 134–135).

[16] В гораздо меньших масштабах награждение орденами и медалями СССР за боевые заслуги в годы войны продолжалось и позднее. Так, например, в «юбилейный» 1975 г. боевые ордена и медали были вручены лишь 19 703 ветеранам.

[17] Так, только в 1954 г. за выслугу лет получили ордена и медали 358 тыс. человек, или 96.5% всех награждённых («Нужно навести строгий порядок...» // Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1998. № 2. С. 148).

[18] URL: http://cris9.auers.ru/ussr_zabs.htm. Дата обращения – 23 марта 2013 г.

[19] См. также: Письмо Центрального комитета КПСС ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам партии об упорядочении дела представления к награждению орденами и медалями и присвоению почётных званий СССР от 20 января 1959 г. («Нужно навести строгий порядок... С. 146–149). В частности, в письме жёстко критиковались «упрощённое и неправильное представление о возможности получения орденов и медалей», «необдуманный подход к представлению к наградам» и «наградное увлечение», «захватившее» партийно-советских руководителей. В заключение ЦК КПСС предлагал шире использовать другие методы морального поощрения, такие как награждение грамотами и объявление благодарности, требовал «навести должный порядок в этом важном государственном деле» и подчёркивал, что руководители при представлении к наградам «должны руководствоваться общегосударственными принципами, а не узковедомственными или местными интересами, проявлять больше требовательности и скромности, памятуя, что в нашей стране выдающиеся заслуги перед партией и народом не остаются незамеченными, они не нуждаются в рекламировании, а всегда своевременно и высоко оцениваются государством».

[20] За это время были учреждены три новые медали, вручавшиеся от имени Президиума Верховного Совета СССР: «За освоение целинных земель» (1956), «За спасение утопающих» (1957) и «За отвагу на пожаре» (1957), а также две юбилейные медали: «В память 250-летия

Приход Брежнева к власти коренным образом изменил ситуацию. Уже в 1965 г. количество награждённых выросло в 20 раз по сравнению с 1964 г., а в 1966 г. было награждено около 673 тыс. человек[21]. Массовое награждение при Брежневе достигло своего пика в 1971 г., когда ордена и медали СССР за год получили около 880 тыс. человек. За время нахождения Брежнева во главе СССР среднее количество награждений составило около 288 тыс. ежегодно[22], а минимум 1969 г. (около 20 тыс. награждений) стал очевидным исключением. Стойкая тенденция к росту награждений очевидна, если сравнить следующие цифры: за трудовые заслуги в ходе выполнения семилетки (1959–1965) были награждены 164 225 человек, по итогам её выполнения – 643 494[23]; по восьмой пятилетке (1966–1970) соответственно – 41 521 и 854 624[24], по девятой пятилетке (1971–1975) – 1 102 928 и 255 713 человек. Количество трудящихся, награждённых по итогам десятой пятилетки (1976–1980 гг.), составило около 440 тыс. человек[25].

Характеризуя распределение наград между отраслями народного хозяйства, можно также сделать весьма интересный вывод о приоритетах внутренней брежневской политики, Так, в ходе и по итогам девятой пятилетки были награждены 1 253 745 человек, занятых в сфере материального производства, в том числе 637 237 работников сельского хозяйства и 616 508 – промышленности, строительства, связи и транспорта. Превалирование награждений тружеников сельскохозяйственного сектора становится ещё более очевидным, если соотнести число награждённых с количеством населения, занятого на тот момент в обоих секторах экономики. Так, в «промышленном» секторе народного хозяйства трудились около 54 млн 193 тыс. человек (награждены около 1.1%), в то время как в сельском хозяйстве – 26 млн 700 тыс. человек (награждены 2.4%)[26]. Из 534 237 тружеников народного хозяйства, награждённых в 1976 г., 277 470 были заняты в сельском хозяйстве[27]. Ещё более очевиден приоритет сельского хозяйства по данным статистики награждений за 1965–1975 гг. Всего за эти годы были награждены 992 955 представителей промышленности и 1 221 738 работников сельского хозяйства[28].

Ленинграда» (1957) и «40 лет Вооружённых Сил СССР» (См.: Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1987).

[21] Львиную долю в 1966 г. составляли награждения по итогам семилетки. В 1967 г. в рамках этой наградной кампании были награждены последние 10 тыс. человек.

[22] Средняя цифра приведена с учётом имеющихся данных за 17 лет (1965–1982 гг., без учёта награждений за 1978 г.), в течение которых орденами и медалями СССР были награждены около 4.9 млн человек. Очевидно, конечная цифра должна быть незначительно выше, поскольку авторы не располагают полными данными за 1979–1982 гг.

[23] Необходимо напомнить, что награждение по итогам семилетки в 1966 г. производилось уже «коллективным» руководством во главе с Л.И. Брежневым.

[24] Показательно, что на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 9 апреля 1971 г., первым был рассмотрен вопрос «О награждении работников за 8-ю пятилетку», о чём есть соответствующая запись в рабочем дневнике генсека за 1971 г. (РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 982.) Здесь и далее при ссылках на рабочие дневники Л.И. Брежнева указываются фонд, опись, дело и дата соответствующей записи (без указания листа дела).

[25] Авторы располагают только отрывочными данными о награждении трудящихся в ходе выполнения десятой пятилетки.

[26] ГА РФ, ф. 7523, оп. 117, д. 3572, л. 1–2. Эти общие цифры подтверждаются также данными за отдельные годы. Так, из около 148 тыс. человек, награждённых орденами и медалями СССР в 1972 г., около 106 тыс., или 72%, составили труженики сельского хозяйства (Там же, оп. 106, д. 3231, л. 24–30).

[27] Там же, оп. 117, д. 3571, л. 12–13.

[28] Там же, д. 3572, л. 4.

Эта очевидная тенденция сохранялась до конца брежневской эпохи. Из 90.5 тыс. трудящихся, награждённых в 1982 г. за успехи в выполнении заданий 11-й пятилетки, 49.4 тыс. были работниками сельского хозяйства и 24.2 тыс. – рабочими промышленности[29]. 11 января 1983 г. в докладной записке Отдела наград Президиума Верховного Совета СССР «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 5 октября 1978 г. "О дальнейшем совершенствовании практики награждения орденами и медалями СССР"» отмечалось: «Как и до принятия постановления ЦК КПСС, орденами и медалями в течение пятилеток отмечаются главным образом труженики сельского хозяйства, оборонных отраслей промышленности, строители. В [результате в] поощрении трудящихся государственными наградами по-прежнему сохраняется диспропорция»[30]. Такое превалирование села над городом отражает как повышенное внимание, которое лично Брежнев традиционно уделял сельскохозяйственному производству, так и надежды, которые генсек возлагал на рычаг морального стимулирования в деле подъёма сельского хозяйства.

Если продолжать выделять специфические особенности и новшества брежневской «наградной» политики, то стоит остановиться ещё как минимум на двух моментах. После разового награждения в начале 1971 г. 854 тыс. трудящихся по итогам выполнения восьмого пятилетнего плана впервые стала применяться практика массового награждения орденами и медалями за успешное выполнение годовых народнохозяйственных планов и социалистических обязательств, а также членов производственных бригад и новаторов, показавших наивысшую производительность труда в отрасли, рекорды по выпуску продукции, досрочно выполнивших свои пятилетние планы[31]. До этого, как отмечал в июне 1972 г. начальник Отдела наград А.Н. Копёнкин, «даже значительное проявление трудового героизма слабо поощрялось орденами и медалями. В среднем ежегодно за трудовые достижения награждалось немногим более 5 тысяч человек[32], главным образом строителей и работников оборонной промышленности»[33]. В результате в ходе выполнения девятой пятилетки за 1971–1975 гг. были награждены около 1.1 млн человек, что составило абсолютный рекорд «погодовых» награждений при Брежневе. Однако ожидания руководства партии и государства в полной мере не оправдались, поскольку, как известно, восьмая, а не девятая пятилетка стала самой успешной за всю советскую историю. Эффект морального «подстёгивания» экономики постепенно ослабевал, и уже в ходе десятой пятилетки количество ежегодных награждений заметно снизилось.

Следуя директивам ЦК КПСС и личным указаниям Брежнева, к наградам орденами и медалями СССР в ходе массовых наградных акций представлялись в подавляющем большинстве «простые» трудящиеся. Так, в записке генсеку, направленной секретарём Президиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе 21 августа 1977 г., сообщалось о том, что за успехи, достигнутые в выполнении плана 1976 г., в мае–июне 1977 г. были награждены орденами и медалями 188 597 рабочих – передовиков народного хозяйства, из них 87.1% составили

---

[29] Там же, оп. 136, д. 2354, л. 36–48.

[30] Там же, д. 2448, л. 4.

[31] Там же, оп. 117, д. 3256, л. 54–60.

[32] Такое низкое среднестатистическое число награждений трудящихся в промежутке между массовыми награждениями по итогам выполнения семилетки и восьмой пятилетки, возможно, стало результатом относительного минимума награждений в 1969–1970 гг. Не исключено также, что А.Н. Копёнкин сознательно драматизировал ситуацию и занизил статистику.

[33] ГА РФ, ф. 7523, оп. 106, д. 3115, л. 2–10.

«труженики отраслей материального производства, принимающие непосредственное участие в производственном процессе». Как констатировалось в справке, приложенной к записке, это составило «наивысший показатель удельного веса [награждённых трудящихся] за последние годы». Остальные 12.9% распределились следующим образом: 10.5% – специалисты на производстве, 1% – руководители трудовых коллективов, 0.9% – сотрудники проектных, конструкторских и научных организаций и 0.5% – работники партийных, комсомольских и профсоюзных организаций[34]. В свою очередь решение ЦК КПСС, принятое в преддверии данного награждения, требовало, чтобы рабочие среди награждённых составляли не менее 85%, а руководители – не более 1.5%.

Ещё одной специфической чертой советской наградной системы при Брежневе стало её существенное расширение, выразившееся в учреждении новых орденов и медалей. По сути дела, именно при Брежневе наградная система СССР приобрела свои законченные черты[35]. Речь в первую очередь идёт о четырёх новых орденах СССР – Октябрьской Революции (1967), Дружбы народов (1972), Трудовой Славы трёх степеней (январь 1974 г.)[36] и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» трёх степеней (октябрь 1974 г.), причём орден Октябрьской Революции занял в иерархии советских высших наград второе место после ордена Ленина[37]. Но если введение в 1967 г. ордена Октябрьской Революции, первого из «брежневских» орденов, было воспринято большей частью советской политической элиты с одобрением, вызвав поток телеграмм и писем граждан и трудовых коллективов с предложением наградить орденом № 1 В.И. Ленина, а заодно также – орденом «Победа» «за разгром интервентов и белополяков», то учреждение в 1974 г. последнего из советских орденов, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», натолкнулось на весьма неоднозначную реакцию населения.

Крайнее недовольство главным образом высказывали ветераны Великой Отечественной войны. Они были возмущены тем, что согласно статуту нового ордена, лица, награждённые всеми тремя степенями, пользовались, в отличие от кавалеров боевых орденов, широкими льготами. По сути дела, учреждение нового «военного», или, как его часто характеризовали критики, «службистского», ордена сыграло роль «красной тряпки» для ветеранов. Как известно, выплаты так называемых наградных денег были прекращены вскоре после войны, равно как награждённым отказали в привилегиях и льготах, предусмотренных статутом боевых наград. Теперь же на их глазах государство, не

---

[34] Там же, оп. 117, д. 3546, л. 2–7.

[35] Впрочем, это утверждение справедливо в отношении всей советской «ритуальности» (См. подробнее: *Дённингхаус В., Савин А.И.* Леонид Брежнев: публичность против сакральности власти // Российская история. 2012. № 4. С. 179–194).

[36] Статут ордена предусматривал, в том числе, непрерывный многолетний стаж работы на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе. В апреле 1975 г. состоялось целевое награждение этим орденом 103 495 рабочих и мастеров промышленности, а к ноябрю 1975 г. количество награждённых достигло уже 143 тыс. человек (ГА РФ, ф. 7523, оп. 117, д. 3256, л. 56).

[37] Кроме орденов были учреждены следующие медали: «За отличие в воинской службе» двух степеней (1974), «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976), «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1976), «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1977), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1978), «За укрепление боевого содружества» (1979), а также семь юбилейных медалей. В январе 1974 г. была также учреждена медаль «Ветеран труда» – одна из самых массовых наград брежневской эпохи. К началу перестройки система государственных наград СССР включала в себя три высших степени отличия – звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, «Мать-героиня», а также 20 орденов и 55 медалей (См.: Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1987).

выполнив социальных обязательств по «старым» наградам, готовилось пойти навстречу пожеланиям армии и взять на себя новые обязательства. Ветераны не скупились в своих письмах на обвинения: «Обесценивание боевых орденов вызывает у нас полное несогласие», «Зачем высокие ордена превращать в железки?», «Почему же сейчас мы забыты, и ордена наши, которыми мы были награждены в военное время, стали как значки ГТО[38], ПВХО[39] и прочие». Неприязнь к новому ордену, а вернее, та несправедливость, которую он олицетворял, выражалась даже в неприятии его внешнего вида: орден представлял собой наложенные друг на друга две четырёхконечные звезды, т.е. фактически кресты, а это, как писал один из ветеранов, «уже не наш символ»[40]. «Я трижды орденоносец и сейчас в своём теле ношу 7 осколков, дважды ранен, контужен, а какие мои привилегии? Пока только одни аплодисменты... Учреждали бы ордена, когда наше поколение сойдёт со сцены, чтобы мы не знали», – с горечью предлагал ветеран Мишенин из г. Сумы[41].

Однако в целом активная часть населения поддерживала действия власти, направленные на расширение номенклатуры наград, выдвигая встречные предложения об учреждении новых орденов и медалей. Участники Великой Отечественной войны предлагали ввести для них отличительные знаки «Ветеран войны», «Инвалид войны», «Знак почёта и славы» и отдельный знак для полных кавалеров ордена Славы, которые давали бы право на внеочередное обслуживание и избавили бы их от стояния в очередях, а также гарантировали бы свободное место в транспорте в час пик. Советы ветеранов настаивали на учреждении новых медалей, таких как «За сражение на Курской дуге», «За Керчь», «За Новороссийск» и т.д.[42]

Предложения других групп населения отличались разнообразием, но в основном сводились к учреждениям наград для тех социальных или профессиональных сообществ, которые, как казалось инициаторам, были ущемлены в этом отношении. Так, в частности, в 1970-х гг. неоднократно предлагалось ввести ордена: «Учительская слава», «Медицинская слава», «Гражданской войны» двух степеней, «Карла Маркса», «Гагарина», «Патриот коммунизма», «За мир и дружбу между народами», «Супружеская жизнь» двух степеней; медали «Участника Гражданской войны 1918–1922 гг.» и «Общественник СССР»; звания: «Герой революции», «Герой Гражданской войны», «Герой Великой Отечественной войны»; почётные звания: «Почётный гражданин СССР», «Народный врач», «Народный учитель»[43], «Почётный воин СССР»; нагрудные знаки: «Заслуженный пропагандист СССР», «Передовик производства», «Юный ленинец», «Красногвардеец – участник Великой Октябрьской социалистической революции», «Ликвидатор неграмотности в 1920–1925 гг.» и т.д. Как объяснял своё предложение один из многочисленных инициаторов, «жизнь советских людей, их труд – это героический подвиг перед всем человечеством... Следовало бы установить более широкую систему поощрений тружеников страны»[44].

---

[38] Знак «Готов к труду и обороне СССР» был учреждён в 1931 г. и вручался до 1991 г.

[39] Знак «Готов к ПВХО» («Готов к противовоздушной и противохимической обороне СССР») был учреждён в 1935 г.

[40] ГА РФ, ф. 7523, оп. 117, д. 3256, л. 1–4. Все цитаты приводятся в соответствии с письмом заведующего Отделом наград Президиума Верховного Совета СССР А.Н. Копёнкина Н.В. Подгорному от 12 декабря 1974 г.

[41] Там же, л. 8.

[42] См., к примеру: Там же, д. 3281.

[43] Почётные звания «Народный врач» и «Народный учитель» были введены в 1977 г.

[44] ГА РФ, ф. 7523, оп. 106, д. 2995, л. 4–6.

Таблица 2

Награждения от имени Президиума Верховного Совета СССР в 1975 г.

Наименование наград	Всего награждений с момента учреждения награды	В том числе за 1975 г.
Орден «Материнская слава» I, II, III степени	3 953 895	190 286
Медаль Материнства I, II степени	10 309 076	251 514
Медаль «За отличие в охране государственной границы»	36 741	954
Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»	31 654	842
Медаль «За отвагу на пожаре»	33 077	620
Медаль «За спасение утопающих»	17 732	853
Медаль «Ветеран труда»	676 312	609 854
Итого	15 058 492	1 054 923

Составлено по: ГА РФ, ф. 7523, оп. 117, д. 3420, л. 13.

Однако правительство не спешило идти навстречу этим пожеланиям, поскольку в конце 1960-х – 1970-х гг. советская «индустрия» награждений набрала свои максимальные обороты, «создавая» ежегодно миллионы награждённых. Происходило это за счёт вручения помимо орденов и медалей СССР также орденов и медалей от имени Президиума Верховного Совета СССР и различного рода юбилейных наград. Массовость награждений от имени Президиума Верховного Совета СССР обеспечивали медали за многодетность и «Ветеран труда». Статистика награждения данными наградами только за один 1975 г. приведена в таблице 2. За 1976 г. количество награждённых этими орденами и медалями выросло ещё на 1 282 590 человек. Очевидно, что такая тенденция сохранялась до конца брежневской эпохи. К примеру, в 1977 г. медалью «Ветеран труда» были награждены уже 1 млн 455 тыс. человек, что на 592 тыс. больше, чем в 1976 г. Всего на 1 января 1983 г. эту медаль получили 14.9 млн человек, что составляет около 75% от общего числа лиц, вышедших на пенсию по возрасту с 1974 г.[45]

Однако бесспорными лидерами среди советских наград стали медали, вручавшиеся за оборону, взятие и освобождение городов и территорий в годы Великой Отечественной войны, а также медали «в связи с важными юбилейными датами в истории советского народа». По данным на 1975 г., их получили 95 105 840 человек, в том числе 6 399 966 человек – в 1975 г. В 1976 г. количество отмеченных этими видами наград увеличилось ещё на 7 365 471 человека[46]. Больше всего наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которую получили около 14.9 млн человек и юбилейной медалью «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» были награждены около 13.2 млн человек[47]. Юбилейная медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» только в 1975 г. была вручена около 6.2 млн человек, а в 1976 г. её получили ещё около 7.2 млн человек. Всего в ходе этой кампании были награждены 14 187 541 человек[48]. Ещё одним «тяжеловесом» стала юбилейная медаль

[45] Там же, оп. 117, д. 3713, л. 3; оп. 136, д. 2354, л. 36–48.

[46] Там же, оп. 117, д. 3420, л. 2; д. 3571, л. 2.

[47] Данные приведены по состоянию на 1975 г. (Там же, д. 3420, л. 14–15).

[48] Там же, д. 3713, л. 3. Для сравнения: юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были награждены 16.3 млн человек (Там же, д. 3256, л. 22–23).

«60 лет Вооружённых Сил СССР», которой на 1 января 1980 г., после завершения «наградной» кампании, были удостоены около 9.9 млн человек.

В соответствии с принципом, согласно которому «награждения орденами и медалями являются постоянно действующим фактором морального поощрения трудящихся», массовые награждения традиционно приурочивались к знаменательным датам. Так, разовая наградная акция по итогам десятой пятилетки, в ходе которой ордена и медали были вручены 429 840 гражданам и 341 трудовому коллективу, была проведена сразу же после завершения XXVI съезда КПСС[49]. Вручение части наград в рамках этой кампании было также приурочено к 111-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, к 1 Мая и Дню Победы.

Особенно отличившимся награды вручались в Кремле представителями высшей партийно-советской элиты. Статистика таких награждений за последние годы «застоя» также свидетельствует о развитии наградной «индустрии»: в 1978 г. в Кремле награды получили 1 462 человек, 1979 г. – 5 048, 1980 г. – 10 660, 1981 г. – 32 405 человек. Как отмечал в своём отчёте 26 февраля 1982 г. А.Н. Копёнкин, начальник наградного отдела Президиума Верховного Совета СССР, «большое внимание вручению наград уделял генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев». Только в 1981–1982 гг. он провёл 24 церемонии вручения. Приоритеты были расставлены верно: больше Брежнева церемоний награждений из 47 руководителей партии и государства провёл только первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР В.В. Кузнецов. Правда, лидерство дряхлеющего генсека, которому ритуальные действа давались всё с большим трудом, было относительным. В ходе этих церемоний он наградил всего 55 человек – меньше, чем кто-либо из его соратников[50]. В 1982 г. Брежнев провёл ещё 6 церемоний вручения, лично наградив 36 человек[51].

Впрочем, участие в ритуалах награждений всегда импонировало Брежневу. Ему нравилось самому играть роль, которая при Сталине отводилась «всесоюзному старосте» М.И. Калинину. Так, вылетев 8 июля 1965 г. вечером в Ленинград в связи с торжествами по случаю присвоения городу звания «Город-герой», уже ночью Брежнев передал в Москву указание отправить первым же рейсом в Ленинград через Президиум Верховного Совета СССР 1.5–2 тыс. юбилейных медалей «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», часть из которых он намеревался лично вручить ветеранам[52]. Иногда круговорот церемоний затягивал Брежнева весьма сильно, только этим можно объяснить появление в его рабочем дневнике следующей парадоксальной записи от 21 ноября 1977 г.: «Выбрать время для награждения уже награждённых»[53].

Однако роль Л.И. Брежнева отнюдь не сводилась только к непосредственному участию в церемониях награждений, она была куда шире. Именно Брежнев был тем руководителем партии и государства, который внёс существенный, если не главный, вклад в развитие советской индустрии награждений. Судя по доступным архивным материалам, в качестве определённой вехи здесь можно

---

[49] Съезд проходил с 23 февраля по 3 марта 1981 г.

[50] ГА РФ, ф. 7523, оп. 136, д. 2312, л. 1–5.

[51] Там же, л. 8.

[52] Дневник приёмной Первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 335. Запись от 8 июля 1965 г.).

[53] Там же, д. 986. При цитировании дневников Брежнева сохраняется стиль и орфографические особенности оригинала, а также воспроизводятся подчёркивания.

назвать 1972–1973 гг. Причин тому было несколько. Брежнев всегда придавал большое значение награждениям трудящихся, видя в них «глубокий по смыслу политический акт нашей партии и государства»[54]. Но в 1972 г. в СССР сложилась тяжёлая ситуация, которую сам Брежнев охарактеризовал следующим образом: «За 44 года пребывания в партии я видел многое, но такого трудного момента – я, конечно, исключаю войну, там были свои трудности – такого трудного года, каким был прошлый, я не знаю. Засуху прошлого года, без преувеличения, можно назвать стихийным бедствием общегосударственного масштаба»[55]. В этих крайне неблагоприятных условиях ставка была сделана на наименее пострадавшие от катаклизма восточные регионы страны, куда лично отправился сам генсек. Ожидания руководства СССР оправдались: именно за счёт самоотверженного труда колхозников и рабочих совхозов Сибири, Казахстана и Средней Азии последствия засухи в какой-то степени удалось преодолеть[56].

В свою очередь Брежнев выступил с рядом инициатив, направленных на организацию массового награждения тружеников сельского хозяйства. 20 октября 1972 г., находясь в больнице, он написал записку в Политбюро ЦК КПСС о награждении комбайнёров, трактористов, шофёров и работников заготовительных пунктов Сибири и Казахстана, отличившихся в ходе уборки урожая. Брежнев, в частности, предлагал: «Не представляя к награждению работников других категорий, наградить только рабочий класс». Этим генсек стремился подчеркнуть именно роль рядовых работников «в битве за урожай». Наиболее отличившихся он считал нужным наградить орденом Ленина, а более массовые награждения провести орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Красной Звезды и медалью «За трудовую доблесть»[57].

Спустя десять дней Брежнев дополнительно предложил наградить весной-летом 1973 г. около 100–120 тыс. животноводов (около 2% работников отрасли), которые добьются наиболее выдающихся результатов по итогам зимовки скота в сложных условиях 1972 г. «Нам нельзя допустить ухудшения снабжения населения городов, промышленных центров мясом, молоком и другими продуктами», – так Брежнев мотивировал свою инициативу перед Политбюро. 9 ноября 1972 г. он внёс в Политбюро очередное предложение о награждении. На этот раз речь шла о 15–20 тыс. хлопкоробов, отличившихся в получении рекордного урожая 1971 г. и проявивших себя в ходе уборки в сложных условиях 1972 г. Выдерживая «классовый принцип», Брежнев рекомендовал наградить 90–92% рядовых работников, 8–10% специалистов и руководителей хозяйств, а также «отдельных работников партийных, советских, сельскохозяйственных и заготовительных органов»[58]. Соответствующее совместное постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о проведении наградной акции было принято 30 ноября 1972 г. На следующий год история повторилась: по результатам уборки урожая 1973 г. Брежнев 22 октября предложил

---

[54] Вестник Архива Президента. Специальное издание. Генеральный секретарь Л.И. Брежнев. 1964–1982. М., 2006. С. 140.

[55] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 385, л. 154.

[56] Тем не менее в 1972 г. СССР был вынужден импортировать около 25 млн т зерна, что составило абсолютный рекорд за 1962–1972 гг. Импорт 1972 г. превысил показатель 1971 г. (7.7 млн т) в 3.3 раза. До этого самая высокая цифра импорта зерна составляла 8.9 млн т в 1965 г. (Там же, д. 321, л. 198а–198г).

[57] Там же, д. 314, л. 106–107.

[58] Там же, л. 109, 114.

Политбюро ЦК КПСС наградить примерно 1% работников сельскохозяйственной отрасли – около 250 тыс. человек[59].

Дополнительный весомый вклад в складывание «индустрии» награждений внесли военные, недовольные резким сокращением – в тысячи раз – награждений по сравнению с первыми послевоенными годами. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1957 г. была отменена практика награждений военнослужащих за выслугу лет. С этого момента военнослужащие Советской армии могли награждаться лишь за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга и успехи в боевой и политической подготовке. В результате, если за 1945–1957 гг. за выслугу лет орденами и медалями были награждены около 2.5 млн генералов, адмиралов и офицеров, то в первое время после обнародования указа награждались в среднем около 400 человек ежегодно. Затем количество ежегодных награждений стало возрастать. Так, в течение 1961–1966 гг. в среднем в год награждались до 3 тыс. человек. В 1967–1968 гг. в связи с 50-летием советской власти и Вооружённых сил СССР были награждены около 30 тыс. военнослужащих. В 1970–1972 гг. число награждений продолжало увеличиваться, составив около 10–13 тыс. человек в год. Всего за 1958 – первое полугодие 1973 г. были награждены 79 635 военнослужащих, 68 из них стали Героями Советского Союза, 26 – Героями Социалистического Труда. Больше половины из этого числа составили награждения за успехи в боевой и политической подготовке (37 584 человек), меньшую часть – за образцовое выполнение специальных заданий правительства и командования. Под этой громкой фразой скрывалась практика награждений за выполнение заданий по уборке урожая (22 379 человек) и исполнение других производственных работ в рамках оказания помощи народному хозяйству. Такая ситуация отнюдь не вызывала восторга командного состава, в первую очередь генералитета. По данным Министерства обороны СССР, в среднем среди каждых 100 генералов и старших офицеров боевыми орденами и медалями были награждены 8 командиров бригад и дивизий, 6 командиров полков, 3 командира батальонов и дивизионов, один командир батареи. Среди десяти военных орденов СССР только один – орден Красной Звезды – мог вручаться за военные заслуги мирного времени[60].

Выход из ситуации А.Н. Копёнкин видел один – учреждение нового ордена, статут которого позволял бы широко награждать военных в мирное время. Соответствующую записку он адресовал 28 сентября 1973 г. Н.В. Подгорному. Тот вернул её без каких-либо комментариев[61]. Тогда Копёнкин обратился непосредственно к Брежневу. Предложение заведующего наградным отделом генсек одобрил, он и сам уже склонялся к идее увеличения количества награждений военных. Об этом свидетельствует фрагмент выступления Брежнева на совещании руководящего состава Вооружённых сил СССР 25 апреля 1972 г. Он настолько образно и ярко характеризует отношение Брежнева к «наградному» стимулированию, и не только военных, что имеет смысл привести цитату целиком: «Думаю, что [имеет место] неплохая практика, которая, на мой взгляд, начинает внедряться и укрепляться в практике нашей работы. Это награждение и рядовых, и офицерского состава за успехи в практической деятельности,

---

[59] Там же, л. 173–174.

[60] Вся вышеприведённая статистика содержится в записке А.Н. Копёнкина, адресованной Н.В. Подгорному от 28 сентября 1973 г. (Там же, д. 328, л. 30–32).

[61] Там же, л. 32.

так как мы воевать не собираемся, и может быть, слава Богу, добьёмся, чтобы её [войны] на ближайшее будущее не будет, то нет повода военнослужащим получить орден – рабочий может, колхозник может получить, учёный может получить орден. Учреждение какое-то получает. Смотришь, и Мане, и Тане какой-то "Знак Почёта" попадает, а армия? Поэтому на награждение я охотно иду за подвиги в воздухе, за всякого рода заслуживающие внимание плавания – подводные, надводные, за помощь народному хозяйству во время уборки урожая, за отличную организацию учёбы как летней, так и зимней. Я вижу, что вот недавно я подписал [представление] тоже что-то [на] 900 или сколько там человек ([А.А.] Гречко – 2 тыс. 200 человек). Я уже не смотрел число. Потому что посмотришь и испугаешься. Говорят, что заслуживают. Подписал. Я думаю, что это хорошая практика. Лишнего, конечно, не надо делать. Но то, что идёт на пользу. То будут награждаться действительно люди, такие, какие могут служить примером соседу и рядом работающему товарищу, партия не пожалеет не только знака, но и любого ордена. Стимул моральный должен относиться не только к рабочим, служащим, интеллигентам, но в полной мере должен относиться и к армии. Это, наверное, будет правильно»[62]. Показательно, что именно летом 1972 г. Брежнев зафиксировал в своём дневнике: «26 июля. **Вечер** – встретился с Н[иколаем] В[икторовичем Подгорным]... Посоветовались о юбилейных медалях и новых орденах»[63].

Инициатива Копёнкина получила полную поддержку Брежнева. В итоге, в октябре 1974 г., как писалось выше, были учреждены орден «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» трёх степеней и медаль «За отличие в воинской службе» двух степеней. По-видимому, не стоит недооценивать роль Копёнкина в развитии наградной системы. Он был человеком из ближнего брежневского окружения, дневники приёмной генсека фиксируют десятки его контактов с Брежневым, и именно слова Копёнкина, а не чьи-то другие, с гордостью занёс в свой дневник свежеиспечённый маршал: «10 Мая 1976 г. Вручение большой "Маршальской звезды". Говорил с тов[арищем] Копёнкиным А.Н. Он сказал: голос офицера слышал, голос генерала слышал, а теперь рад, что слышу голос Маршала»[64]. Такой умелый царедворец, как Копёнкин, просто не мог не действовать в интересах возглавляемого им ведомства.

Не скупясь на награды для рабочих и колхозников, генсек, как primus inter pares, конечно же, никогда не забывал и о своей личной гвардии, о людях, которые являлись его главной опорой – о первых руководителях партии и государства, о партийно-государственных элитах вплоть до уровня секретаря обкома КПСС. Так, в преддверии ноябрьских торжеств 1973 г. Брежнев обратился с личным письмом к М.А. Суслову, в котором изложил свои предложения о награждении орденами Октябрьской Революции, Ленина и присвоении звания Героев Социалистического Труда первым секретарям обкомов РСФСР, Украины и Казахстана, а также секретарям республиканских ЦК «в связи с их огромной работой, проведённой в текущем году по выполнению решений ЦК КПСС о подъёме сельского хозяйства и промышленности». При этом речь шла о награждении «первой очереди товарищей». В перечень из примерно 40 фамилий, лично названных Брежневым, попали в том числе секретари Краснодарского

[62] Там же, д. 261, л. 22–23.
[63] Там же, д. 983.
[64] Там же, д. 985.

крайкома С.Ф. Медунов, Ставропольского обкома – М.С. Горбачёв[65], а также В.В. Щербицкий, Д.А. Кунаев и М.С. Соломенцев. Секретарям обкомов КПСС Целиноградской, Кокчетавской и Северо-Казахстанской областей Брежнев рекомендовал «как минимум (sic! – *В.Д., А.С.*) присвоить также звание Героя Социалистического Труда»[66].

В личном фонде Брежнева также сохранилась любопытная записка К.У. Черненко от 14 февраля 1975 г., в которой тот сообщал генсеку о подготовленных им «списках именинников», включавших в себя членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК, заместителей председателей Совета министров СССР и министров. Отдельно был подготовлен «список товарищей, которым исполняется определённое количество лет в ближайшие дни». Резолюция Брежнева гласила: «Иметь у себя и напоминать мне дней за десять»[67]. В свою очередь полный список первых секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов КПСС по состоянию на 10 сентября 1976 г. содержал на 17 листах все данные об их награждениях, в том числе когда и каким орденом было проведено последнее из них, а также даты рождений секретарей. Возглавлял список первый секретарь ЦК КП Украины, Герой Социалистического Труда и кавалер пяти орденов Ленина В.В. Щербицкий, а заканчивал секретарь Чарджоуского обкома КПСС В.Ч. Чарыев, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени[68].

Брежнев также лично отслеживал, чтобы элита в полной мере пользовалась привилегиями, связанными с награждениями. 1 апреля 1973 г. он обратился с запиской в Политбюро ЦК КПСС об «имеющихся недостатках в практике поощрения людей, удостоенных звания дважды Героя Советского Союза и дважды Героя Социалистического Труда». В записке Брежнев потребовал устранить несправедливость в отношении тех дважды Героев, которым не был установлен бронзовый бюст на родине вследствие «имевшего в недалёком прошлом субъективизма»[69].

Из года в год Брежнев привычной рукой тасовал большой пасьянс награждений номенклатуры партии, государства и армии. Так, 12 февраля 1968 г. он записал в своём дневнике: «Гречко – ор[ден] Ленина; Ворошилов, Будённый – Герои; Епишеву – Ленина; Тимошенко, Ерёменко, Баграмян, Москаленко – орд[ен] Октябрьской [Революции]. Дать по "Чайке" всем маршал[ам]»[70]. Особенно частыми записи о награждениях элиты стали со второй половины 1970-х гг. Вот одна из характерных записей от 25 января 1978 г.: «9 ч[ас]. 35 м[ин]. я на работе в Кремле. Поздравил Шеварднадзе с награждением [к] 50 лет[ию] – ор[деном] Ленина. Принимал Д.Ф. Устинова. Вопросы 60-тия Армии. Москаленко – дать 2-ю Звезду Героя. Епишев – дать звание Героя; Кара[о]гланову – звание Героя соцтруда и другие присвоения и награждения»[71].

---

[65] В брежневских дневниках фамилия будущего президента СССР встречается в связи с наградами в записи от 6 октября 1977 г.: «Горбачёв Михаил Сергеевич. Сдадут 2 200 т[ыс]. тонн. В прошлом году почти ничего не сдали. Настригли по 5.5 кгр. на овцу. Выходное поголовье овец 6.300 т[ыс]. Просит наградить людей-хлеборобов» (Там же, д. 986).

[66] Там же, д. 317, л. 38–40.

[67] Там же, д. 328, л. 44.

[68] Там же, л. 55–71.

[69] Вестник Архива Президента. Специальное издание. Генеральный секретарь Л.И. Брежнев. С. 140–141.

[70] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 981.

[71] Там же, д. 986.

Брежнев обязательно звонил награждённым, чтобы поздравить их лично, создав тем самым ещё один ритуал, укреплявший его персональные связи с партийно-государственными, научными и творческими элитами. Следующие записи, приведённые в дневнике за 1976 г., весьма типичны в этом отношении: «22 Апреля 1976 г... Поздравил т[оварища] Ломакина[72] с награжд[ением] орд[еном] Ленина»; «31 Мая. Поздравил т[оварища] Мельникова Л.Г.[73] орд[еном] Ленина»; «1-ое июня. Свердловск. Яков Петрович Рябов[74]. Поздравление и в связи с вручением ордена»; «6-ое [июня]. Воскресенье. Поздравил Бондаренко[75] с награждением ордена Ленина»; «14-ое августа. О поздравлении с присвоением звания дважды Героями – т[оварищей] Уткина Владимира Фёдоровича[76] и Макарова Александра Максимовича[77]»; «25 августа. Вручил орден т[оварищу] Рябенко А.Я.[78] Ужинали все коллективно»; «29-ое Сентября... Принимал Андропова, Щёлокова. Поздравил их с вручением им погон и марш[альских] звёзд»; «14 сентября. Поздравил Налболдяна Дмитрия Аркад[ьевича][79] с присвоением ему звания Героя», «26 декабря. Понедельник. Поздравил Орлова[80] со званием Героя. Поздравил Демиденко[81] со званием Героя»; «28 декабря. Поздравил т[оварища] Моргуна Ф.[82] со зван[ием] Героя Социалистического] Труда»[83].

Брежнев, как правило, охотно давал согласие на награждение партийно-государственных элит, в том числе и иностранными знаками отличия, но и здесь стремление к ритуализации и упорядочиванию процесса зачастую одерживало верх. Так, 11 мая 1977 г. К.В. Русаков проинформировал Брежнева о просьбе Э. Хонеккера наградить чрезвычайного и полномочного посла СССР в ГДР П.А. Абрасимова в связи с его 65-летием. Но Брежнев неожиданно заупрямился: «Я подписал ответ Хонеккеру – через посла ГДР – что у нас эта дата не является юбилейной»[84]. В свете этого маленького инцидента возможно более понятной становится дневниковая запись генсека от 2 октября 1972 г.: «Разговаривал с тов[арищем] Долгих. Кому и когда: 60-летие или 50-тие»[85].

Чем больше старел Брежнев, тем более скрупулёзно он фиксировал в своих рабочих дневниках факты награждения ближайшего окружения. Вот лишь только

---

[72] Ломакин Виктор Павлович, первый секретарь Приморского краевого комитета КПСС (1969–1984).

[73] Мельников Леонид Георгиевич, председатель Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете министров СССР (1966–1981).

[74] Рябов Яков Петрович, первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1971–1976).

[75] Бондаренко Иван Афанасьевич, первый секретарь Ростовского обкома КПСС (1966–1984).

[76] Уткин Владимир Фёдорович, конструктор в области ракетно-космической техники, академик РАН.

[77] Макаров Александр Максимович, учёный, конструктор в области ракетно-космической техники.

[78] Рябенко Александр Яковлевич, генерал-майор КГБ СССР, начальник личной охраны Л.И. Брежнева.

[79] Правильно: Налбандян Дмитрий Аркадьевич, художник-портретист.

[80] Орлов Владимир Павлович, первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС (1967–1979).

[81] Демиденко Василий Петрович, первый секретарь Северо-Казахстанского обкома КПСС (1965–1981).

[82] Моргун Фёдор Трофимович, первый секретарь Полтавского обкома КПСС (1973–1988).

[83] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 982, 985, 986.

[84] Зато к просьбе Г. Гусака наградить Д.Ф. Устинова орденом Белого льва I степени, последовавшей двумя с половиной месяцами ранее, 30 марта 1977 г., Брежнев был более благосклонен: «Я дал согласие – об этом я сказал т[оварищу] Устинову» (РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 986).

[85] Там же, д. 983.

несколько записей за 1982 г.: «25 февраля 1982 г. Провёл награждение тов[арища] Кунаева Д.А. 3-й звездой»; «9 марта 1982 г. Замятин Леонид Митр[офанович][86] 60 ле[т] награждён орденом Ленина»; «11 Марта. Четверг. Поздравил Георгадзе с 70-тием, награжденьем орденом Ленина. Алиев Гейдар Алиевич благодарил за награждение орденом Октябрьской Революц[ии]»; «26 мая – Поздравил Яноша Кадара с днём семидесятилетия и награжд[ением] ор[деном] Ленина»; «31-ое Мая. Понедельник. Провёл Президиум Верховного Совета. Вручил там же ордена награждённым»; «2-ое Июня. Среда. Провёл переговоры с Чехословацкой делегацией во главе с тов[арищем] Гусаком. Присутствовал, когда награждался т[оварищ] Черненко»; «8 июня. Муравьёв Е.Ф. благод[арил] за нагр[аждение] [Куйбышевской] области [орденом] Ленина»[87] и т.д.

Дневниковые записи о наградах и награждениях открывают Брежнева подчас с неожиданной стороны. Одна из первых дневниковых записей, посвящённых наградам, относится к ноябрю–декабрю 1967 г. и гласит: «О награждении кабардинцев – карачаевцев и других, кого выслали во время войны, их зажимали – к Дню Победы наградить»[88]. Брежнев был достаточно чуток и для того, чтобы 4 февраля 1968 г. отметить в дневнике: «Утром передача по телевидению, кто-то выступал из партизан, рядом с ним разведчица – 4 года была в тылу [врага]. Награждена ли она???»[89]. Посмотрев в конце 1981 г. уже давно вышедший на экраны фильм «Тихий Дон» и впечатлившись игрой актера П.П. Глебова, сыгравшего роль Григория Мелихова, Брежнев записал 7 декабря 1981 г.: «Шауро[90] о Глебове. Орден Ленина и звание народного артиста»[91].

И всё же таких неординарных, искренних записей подавляющее меньшинство. Судя по дневнику, гораздо большее значение Брежнев придавал награждениям, имевшим большой пропагандистский эффект. Так, 14 августа 1976 г. он записал: «Сделал телефонный звонок о возможном награждении олимпийцев»[92]. Запись от 23 августа 1977 г. гласит: «Гужеев и капитан Кучиев. Вносят 350 челов[ек]. 5 героев по ледоколу Арктика. Сам[ому] кораблю [орден] Октябрьской Революции»[93]. Речь здесь шла о награждении министра морского флота Т.Б. Гуженко, капитана атомного ледокола «Арктика» Ю.С. Кучиева и особо отличившихся членов экипажа за успешный поход к Северному полюсу. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР был обнародован 17 сентября 1977 г.

Но главной своей прерогативой, наряду с вручением орденов и медалей партийным секретарям и генералам, Брежнев, безусловно, считал награждение космонавтов. Дневники его приёмной из года в год регулярно отмечают выезды Брежнева в Кремль для их чествования. Неоднократно пишет об этом и сам Брежнев: 11 апреля 1978 г. – «Вручил награды космонавтам»; 12 сентября 1978 г. – «Вручил награды космонавтам. Быковскому орд[ен] Ленина и Звезду Героя Иену Зигмунду»; 15 ноября 1978 г. – «Вручил ордена космонавтам Иванченкову А., Ковален-

---

[86] Замятин Леонид Митрофанович, генеральный директор ТАСС (1970–1978).

[87] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 989.

[88] Там же, д. 980.

[89] Там же, д. 981.

[90] Шауро Василий Филимонович, заведующий Отделом культуры ЦК КПСС (1965–1986).

[91] Первоначально Брежнев планировал присвоить актёру звание Героя Социалистического труда, но потом передумал, зачеркнув соответствующую запись (РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 989).

[92] Там же, д. 985.

[93] Там же, д. 986.

ку В.»[94]; 7 сентября 1979 г. – «Вручение наград космонавтам в 11. 30 тов[арищам] Ляхову и Рюмину»[95], 18 июня 1980 г. – «Вручил ордена космонавтам т[оварищам] Малышеву Ю.В., Аксёнову В.В.»[96] и т.д. Одна из курьёзных записей о награждении космонавтов выдаёт ослабление памяти у стареющего Брежнева. Не в силах запомнить фамилию румынского космонавта Думитру Прунариу, он лаконично отмечает 2 июня 1981 г.: «Вручил награды космонавтам Попову и Румыну»[97].

Брежнев закономерно стал гипертрофированным персональным воплощением и гротескным символом «индустрии» награждений, маховик которой он так прилежно раскручивал. Свою роль в этом, помимо прочего, сыграло нездоровое честолюбие генсека, которое как нельзя лучше характеризует его следующая собственноручная запись. 10 мая 1978 г. он с глубочайшим удовлетворением констатировал: «Долгих [рассказывал] о поездке в Испанию – Куньял[98] передавал горячие приветы, при упоминании моего имени все встают. Хотят издать на своём языке [мою] книжку "Малая земля"»[99]. Другие дневниковые заметки только подкрепляют впечатление, насколько сильным было удовольствие Брежнева от награждений и аналогичных знаков внимания, и насколько заслуженным воспринимал он всё происходящее. Здесь, судя по дневниковым записям, рубежом стал 1976 г. – год 70-летнего юбилея Леонида Ильича: «7-ое Мая. Говорил с т[оварищем] Новиковым И.Т.[100] Поздравлял с присвоением [маршальского звания]»; «10 Мая 1976 г. Вручение большой "Маршальской звезды". Говорил с т[оварищем] Медуновым, на селе – хорошо – поздравлял с присвоением и т.п.»; «2-ое Ноября. Вторник. Приезд тов[арища] Гусака Г.Н. Встреча. Переговоры с т[оварищем] Гусаком. Вручение наград во Владимирском зале. Его и моё выступления. Обед в честь т[оварища] Гусака в Екатерининском зале. Присутствуют все чл[ены] П[олит] Б[юро] – Секр[етариа]та. Проводы т[оварища] Гусака – Внуково. 3-е ноября – Среда. Поздравил т[оварищ] Алиев Г.А. с награждением меня – Гусаком»; «13-ое Декабря – Понедельник. Встреча т[оварища] Хонеккера 11 утра. 12.30 вручение наград. Обед – отлёт»[101].

Однако «юбилейные» наградные процедуры на этом не закончились, их эстафету в 1977 г. подхватило сначала руководство комсомола, намеревавшееся вручить Брежневу комсомольский билет № 1. 14 апреля 1977 г. Брежнев фиксирует: «Переговорил с Подгорным, с Сусловым, Косыгиным: о вручении мне комс[омольского] бил[ета]. Вручение комсомольского билета № 1. Речь Тяжельникова, моё выступление». Инициативу комсомольцев поддержали журналисты: «27 апреля среда. Принял тов[аварищей] журналистов Афанасьева Виктора Григорьевича, Лапина Сергея Григорьевича, Замятина Леонида Митроф[ановича]. Мне выписан от об[щества] жур[налистов] бил[ет] № 1»[102]. Ближе к концу года генсека наградой побаловали уже учёные: «16-ое Ноября – Среда. В 11 ч[асов]

---

[94] Там же, д. 987.

[95] Там же.

[96] Там же, д. 988.

[97] Там же.

[98] Куньял Альвару, генеральный секретарь Коммунистической партии Португалии (1961–1992).

[99] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 987.

[100] Новиков Иван Трофимович, заместитель председателя Совета министров СССР (1962–1983).

[101] Там же, д. 985, 982.

[102] Там же, д. 986.

дня состоялось вручение мне Золотой медали Карла Маркса. Вручал академик (Председатель][103] Акад[емии] наук) Александров А.П.»[104].

В 1978 г. Брежнева наградили военные. Речь шла о высшей полководческой награде СССР – ордене «Победа». Брежнев не удержался и сначала ознакомился с раритетом, о чём не преминул отметить в дневнике: «15 февраля, среда. Разговаривал с Копёнкиным. Смотрел орден "Победы"»[105] 20 февраля в дневнике отмечено вручение ордена и «поздравление товарищей». На награждении присутствовали 30 маршалов, адмиралов и генералов в ранге не ниже генерал-лейтенанта"[106]. Показательно, что как текст поздравления вручавшего орден М.А. Суслова, так и текст ответной речи Л.И. Брежнева были напечатаны крупным кеглем, удобным для старческих глаз[107].

1979 г. уже традиционно принёс очередную советскую награду, на этот раз приуроченную к юбилею кампании по освоению целинных и залежных земель: «22 Марта. Четверг. Беседовал с т[оварищем] Черненко. Провёл Политбюро ЦК. [Василий Васильевич] Кузнецов вручил орден – Октябр[ьской] Революции] за целину. Принимать буду»[108]. О следующем ордене Октябрьской Революции, вручённом в конце 1980 г., Брежнев записал скупо: «18-ое Декабря. Четверг. Политбюро ЦК. Вручение награды»[109]. В очередном «юбилейном» 1981 г. Брежневу были вручены два «советских» знака отличия, что и было отмечено в дневнике: «29-ое Октября. Четверг. Провёл Политбюро. Получил значок за 50 лет в КПСС» и «19 Декабря. Суббота. Состоялось вручение награды[110] мне. Вручал М.А. Суслов, я отвечал. Переговорил с т[оварищем] Ярузельским. Он поздравил с награждением. Получил жёлтенькие по 28 включительно»[111]. Эта запись, где сведения о награждении непосредственно соседствует с упоминанием пресловутых «жёлтеньких», лечебных препаратов, без которых Брежнев,

---

[103] Так в тексте. Правильно – «президент».

[104] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 986. Стоит отметить, что решение Политбюро ЦК КПСС «О присуждении золотой медали им. Карла Маркса генсеку ЦК КПСС тов[арищу] Брежневу Л.И.», санкционировавшее соответствующее предложение Президиума АН СССР, было принято почти за год до награждения – 14 декабря 1976 г.

[105] Там же.

[106] Брежнев будучи по натуре жизнерадостным человеком умел извлекать удовольствия от награды и после завершения процесса официального награждения. Портной Брежнева вспоминал: «"Слушай, Зигмунд, меня тут наградили орденом, – однажды обратился ко мне Леонид Ильич. – Надо его прикрепить на пиджак. Сделай, чтобы дырочка была". Я объяснил, что мне надо посмотреть орден и определить размеры этого крепления. "Шура, – обратился он к начальнику охраны, – покажи Зигмунду орден. Пусть он возьмёт на работу вместе с пиджаком и прикрепит его". Александр Яковлевич приносит орден, протягивает его мне, и я вижу, что он полностью усеян бриллиантами. Что делать: приходится брать. "Господи, только бы он никуда не делся!" Привожу орден на работу и мигом к директору. Мы приложили, померили, определили, где должна быть дырочка, и, никому не показывая, спрятали в сейф. Когда дырочка была готова, обметана, я прикрепил орден, повесил пиджак на плечики и повёз Леониду Ильичу. Он посмотрел, пожал плечами и, хмыкнув, сказал: "Гм, надо же, орден цел, никуда не пропал!" В общем, удивился, что не пропили. В таком духе» (*Юшкова А.* Указ. соч. С. 92).

[107] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 1210, л. 1–12.

[108] Там же, д. 987. Соответствующее постановление Политбюро от 11 марта 1979 г. было «инспирировано» письмом «ветеранов казахской целины» (31 человек) от 28 февраля 1980 г., выступивших с инициативой награждения Брежнева в связи с 25-летием начала освоения целинных и залежных земель (Там же, д. 1211, л. 1–3).

[109] Там же, д. 988.

[110] Речь идёт о четвёртой медали «Золотая Звезда» и ордене Ленина.

[111] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 989.

оказавшийся в состоянии медикаментозной зависимости, очевидно, уже не мог существовать, свидетельствует о глубоком кризисе личности генсека.

С награждениями Брежнева орденами и медалями иностранных государств дело доходило до абсурда. Именно массовое вручение наград вассальных, по своей сути, иностранных государств, стало притчей во языцех и одной из причин дискредитации Брежнева в глазах народа[112]. Соответствующее решение, впрочем как и в случае с награждением советскими орденами и медалями, принималось Политбюро ЦК КПСС, которое определяло, принимать или не принимать Брежневу очередную иностранную награду. Основанием для решения Политбюро выступала инициатива со стороны первых лиц дружественных правительств. Так, летом 1973 г. с ходатайством о присвоении Брежневу звания Героя Народной Республики Болгария и награждении его орденом Димитрова выступил Т. Живков. Политбюро ЦК КПСС выразило своё согласие 3 сентября 1973 г.[113] Соответствующая выписка из протокола Политбюро в первую очередь отправлялась потенциальному «имениннику» – самому Брежневу. Причём эта игра в демократию воспринималась всеми заинтересованными сторонами весьма серьёзно. 14 октября 1976 г. Брежнев записал в дневнике: «Провёл Политбюро. Поблагодарил тов[арищей] за согласие и единодушное решение по награж[дению] меня дважды Героем Чехословакии. Затем ряд решений за повесткой дня»[114]. В 1976 г. Политбюро неоднократно принимало соответствующие постановления – Брежневу исполнялось 70 лет и лидеры социалистических стран вступили между собой в своеобразное соревнование. Приходилось ударно трудиться и членам Политбюро. Например, 17 ноября 1976 г. Политбюро приняло сразу два постановления о награждении Брежнева: второй Золотой звездой Героя Народной Республики Болгария и звездой Героя Германской Демократической Республики[115].

Иногда гротеск переходил все мыслимые границы. Так, 6 ноября 1981 г. Политбюро дало своё согласие на награждение Брежнева высшим орденом Демократической республики Афганистан (ДРА). Курьёз заключался в том, что сам орден ещё предстояло изготовить, и Политбюро постановило: «Поручить аппарату Президиума Верховного Совета СССР организовать изготовление в СССР некоторого количества высшего ордена ДРА "Солнце Свободы" и других необходимых предметов[116] в соответствии с просьбой афганской стороны и по подготовленным ею эскизам»[117]. Всё было изготовлено оперативно, и уже

---

[112] Что касается советских наград, то за исключением ордена «Победа» и страсти к присвоению звания Героя Советского Союза Брежнев не особенно выделялся на фоне своего предшественника. Согласно акту от 20 апреля 1972 г. о принятии на государственное хранение наград Н.С. Хрущёва, он был награждён семью орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Суворова I и II степени, Кутузова I степени – итого 11 орденов. Брежнев был награждён 16 советскими орденами. Зато в отношении иностранных наград Хрущёв далеко уступал – его шесть иностранных орденов явно «проигрывали» 42 иностранным орденам и 29 медалям Брежнева. В качестве курьёза можно указать на то, что орден «Ожерелье Нила», награда Объединённой Арабской Республики, был Хрущёвым утерян (ГА РФ, ф. 7523, оп. 106, д. 3118, л. 1).

[113] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 1213, л. 16.

[114] Там же, д. 982.

[115] Там же, д. 1213, л. 36, 107.

[116] Речь шла об орденских книжках, папок для указов о награждении, коробок для орденов и больших коробок для размещения всех этих аксессуаров.

[117] РГАНИ, ф. 80, оп. 1, д. 1213, л. 2.

16 декабря 1981 г. Брежнев смог отметить в дневнике: «Принял Кармаля Бабрака. Получил их орден»[118].

В других случаях награды изготавливать самим не приходилось, но советское государство оплачивало визиты глав делегаций дружественных государств, прибывших вручить Брежневу очередной знак отличия. Постановление Политбюро от 9 декабря 1976 г. «О дружеском визите в СССР т[оварища] Я. Кадара» является в этом отношении типичным: министерству путей сообщения СССР приказывалось выделить вагон для поездки венгерской делегации в Москву и обратно, саму делегацию размещали в государственном особняке на Ленинских горах, а расходы, связанные с визитом, компенсировались средствами из резервного фонда Совета министров СССР[119].

Иногда нехитрой приманкой для Леонида Ильича выступала редкость зарубежной награды. Так, сообщая шифровкой 19 июня 1980 г. об инициативе руководства Социалистической Республики Вьетнам наградить высшим орденом республики – «Звездой Героя» – Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина и М.А. Суслова, советский посол во Вьетнаме И.А. Огнетов не преминул подчеркнуть слова министра канцелярии Ву Тана, согласно которым до сего момента этим орденом были награждены «только т[оварищ] Тон Дык Тханг и Вьетнамская народная армия»[120].

Наряду с официальными наградами иностранных государств, брежневскую коллекцию время от времени пополняли различные памятные знаки, изготовленные за рубежом, которые либо напрямую льстили самолюбию генсека, либо их дарители надеялись встретить его благосклонное отношение, уповая на оригинальность подношений. Так, в июне 1976 г. посол СССР в Швейцарии П.И. Герасимов передал для вручения Брежневу медаль, изготовленную известной швейцарской фирмой «Хугенин медайер, Ле Локль» (Huguenin Médailleurs, Le Locle). На аверсе медали был изображён Брежнев, на реверсе выгравирована надпись на трёх языках: «Люди, которые творят историю». Руководство фирмы надеялось, что медаль понравится Брежневу «как тщательностью выполнения, так и своим внешним видом» и просило передать генсеку свои наилучшие пожелания[121].

В марте 1982 г. Брежнев отметил в дневнике вручение ему, как оказалось, последних иностранных наград: «17 марта 1982 г. Принял золотую медаль Всемирного Союза»; «18 марта 1982 г. Принял награду от Лаосца»[122]. Однако и здесь история немного подшутила над Брежневым: ещё 15 декабря 1981 г. ему было присвоено звание Героя Республики Куба, и он был награждён высшим кубинским орденом «Карлоса Мануэля де Сеспедеса», но нерасторопные кубинцы не удосужились оперативно вручить награды. Золотую звезду Героя и орден доставила в Москву кубинская делегация, прибывшая на похороны Брежнева[123].

Практика награждений «брежневской эпохи» без сомнения имела специфические, свойственные только ей черты. Её характеризовали массовость награждений, в том числе по результатам выполнения ежегодных плановых заданий, общий рост количества награждений, в том числе военных в мирное время,

---

[118] Там же, д. 989.

[119] Там же, д. 1213, л. 77.

[120] Там же, л. 88.

[121] Там же, оп. 2, д. 148, л. 38.

[122] Там же, оп. 1, д. 989. Речь идёт о высшей награде Лаосской Народно-Демократической Республики «Золотая медаль нации», которую Л.И. Брежневу вручил генеральный секретарь ЦК Народно-Революционной партии Лаоса Кейсон Фомвихан.

[123] Там же, д. 1215, л. 30.

разовые акции по награждению отдельных групп трудящихся, абсолютное превалирование «простых» крестьян и рабочих среди награждённых, численное преобладание наград, выделяемых для сельскохозяйственного сектора, над промышленным, «наградные» лимиты.

Орденами и медалями ежегодно награждались сотни тысяч, а зачастую и миллионы человек, что выступило мощным средством идентификации широких слоёв населения с правящим коммунистическим режимом. Приспособление народа к власти и власти к народу осуществлялось на «встречных курсах». Власть фактически отказалась от массовых политических репрессий и внеэкономического принуждения к труду, сделав главную ставку на идеологию и моральные стимулы поощрения. В свою очередь, население во многом усвоило и восприняло главные «социалистические» ценности и идеалы. Адаптация и идентификация населения с политическим режимом зашли настолько далеко, что подавляющее большинство населения, за исключением диссидентов, не представляло себе реформирование и изменение существующих порядков «развитого социализма» вне рамок существующей политической системы. Таким образом, массовые награждения, в результате которых в пантеон героев ежегодно зачислялись миллионы граждан, стали мощным средством легитимации советской системы.

Ответить на вопрос о том, насколько моральное поощрение стало фактором, позитивно повлиявшим на экономику, гораздо сложнее. Можно с большой долей уверенности предположить, что в результате массовых награждений часть работников колхозов, совхозов и промышленных предприятий выбрала для себя в качестве стратегии повседневного поведения так называемое ударничество – они трудились с высокой степенью отдачи, активно участвовали в социалистическом соревновании, выполняли и перевыполняли плановые задания и т.д. Подобное поведение также давало право на карьерный рост, более высокий уровень оплаты труда, получение льгот. Однако также очевидно, что только моральные стимулы к труду не смогли решить главных проблем советской экономики. Отсутствие мотивации труда и материального стимулирования в условиях «уравниловки» в промышленности и отчуждение работников от средств и результатов труда в сельском хозяйстве порождали в качестве ответной реакции у большинства трудящихся рост социальной апатии и равнодушия к делам производства и общественной жизни, усугублявшихся массовым пьянством.

Награждения самого Брежнева были только верхушкой айсберга выстроенной им системы. Человек, чьим попечением лацканы парадных пиджаков советских граждан ежегодно украшались очередными сотнями тысяч, а зачастую и миллионами орденов и медалей, полагал справедливым, что его заслуги перед партией и государством также должны быть вознаграждены достойно. Будучи фактически единственным участником войны среди членов Политбюро, прослужившим на театре боевых действий все четыре года, Брежнев и в этом отношении имел, как он, очевидно, считал, больше всего прав быть награждённым. Без сомнения, в нездоровой страсти к коллекционированию наград свою роль сыграло гипертрофированное тщеславие Брежнева. Можно также предположить, что в последние годы его жизни ритуалы массовых награждений всё больше и больше подменяли собой для генерального секретаря ЦК КПСС и политического руководства СССР реальную деятельность, одновременно создавая эффект благополучного «золотого века».

«Застолья Иосифа Сталина: Большие кремлёвские приёмы 1930–1940-х гг.»

Владимира Невежина[1]

Ритуалы и церемонии давно уже стали для историков привычным и даже приоритетным объектом анализа. Настоящий взрыв интереса к ним произошел в мировой историографии после её так называемого поворота к культуре (*cultural turn*), ознаменовавшегося активной адаптацией историками методов антропологии и семиотики. Особое внимание в этом контексте уделяется сфере, которую известный американский историк Ричард Уортман обозначил термином «сценарии власти». Речь идёт о тех формализованных церемониях, в которых политическая власть символически представляет себя как центральный элемент миропорядка. Было бы ошибкой сводить смысл этих действ исключительно к индоктринации («пропаганде»). В них воспроизводятся (часто помимо воли их устроителей) сущностные характеристики не только политической культуры и системы власти, но и разнообразных общественных процессов. Задача же историка – настроить исследовательскую «оптику» таким образом, чтобы выявить и явные, и скрытые смыслы политического ритуала. Удалась ли такая «настройка» автору обсуждаемой книги, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН В.А. Невежину? Какие перспективы открывает его работа для изучения одного из самых сложных и трагических периодов нашей истории? В дискуссии приняли участие доктор исторических наук Р.Г. Пихоя (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ); кандидаты исторических наук О.Ю. Голечкова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»); А.В. Голубев (Институт российской истории РАН); А.В. Короленков (журнал «Новая и новейшая история»); В.А. Токарев (Магнитогорский государственный университет), а также профессор Дэвид Бранденбергер (Университет Ричмонда, Вирджиния, США).

Александр Голубев «Утомлённый, задумчивый и величавый»

Книга В.А. Невежина, посвящённая большим кремлёвским приёмам, является по существу первой книгой задуманной автором трилогии «Застолья Иосифа Сталина». Вторая книга, ныне готовящаяся к печати, анализирует «дружеские посиделки» (или, по терминологии автора, «симпосионы») в узком кругу, в кремлёвской квартире Сталина или на его «ближней даче» в Кунцево. В третьей книге, над которой сейчас работает исследователь, речь пойдёт о дипломатических приёмах с участием Сталина. Может быть, логичнее было бы обсудить всю трилогию целиком после выхода последней книги. Но и сейчас контуры этого оригинального и масштабного проекта уже просматриваются.

[1] *Невежин В.А.* Застолья Иосифа Сталина. Кн. 1. Большие кремлёвские приёмы 1930–1940-х гг. М.: Новый хронограф, 2011. 560 с.

Прежде всего, общий заголовок, при всей свой лаконичности и «завлекательности», не то чтобы неточен, но сознательно уводит в сторону. Ни одно из этих мероприятий нельзя назвать «застольем» в точном смысле этого слова, т.е. поглощением еды и распитием спиртных напитков в дружеской компании, в доброжелательной и раскованной атмосфере. Понятно, что приёмы – и большие кремлёвские, и дипломатические – организовывались с определённой политической целью. Но даже и «симпосионы» на даче, помимо отдыха и расслабления в узком кругу, служили также (а может быть, и в первую очередь) для неформального обсуждения и разрешения серьёзных вопросов и таким образом составляли важный элемент системы государственного управления. Подобные неформальные механизмы в том или ином виде существуют во всех развитых политических системах – достаточно вспомнить знаменитые английские клубы, где, по известному выражению Честертона, «шёл тот странный, порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намёков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал».

Здесь есть смысл остановиться на одном из ключевых понятий, используемых автором – «питейная компания Сталина». Скрупулёзно подсчитав, сколько раз тот или иной член Политбюро, Секретариата или Оргбюро ЦК присутствовал на кремлёвском приёме, причем в качестве «хозяина», за столом президиума, а также порядок, в котором члены президиума перечислялись в официальных сообщениях о приёме, автор выделил постоянных участников этой «питейной компании». Забегая вперёд, можно сказать, что и на даче Сталина собиралась в основном та же самая компания. По мнению Невежина, включение того или иного соратника в «питейную компанию» являлось одним из критериев принадлежности к «ближнему кругу», причём она оказывалась даже несколько уже собственно «ближнего круга» (с. 194). Однако тут необходимо особо подчеркнуть, что членство в «питейной компании» было следствием, а не причиной повышения статуса того или иного деятеля. Речь, другими словами, идёт не о том, что Сталин расставлял на ключевые посты своих собутыльников, но о том, что люди, занявшие эти посты (и только они) могли стать постоянными членами «питейной компании». Лучшим доказательством этого служит пример трезвенника Л.М. Кагановича, который тем не менее был одним из старейших её членов и сохранял этот статус до самой смерти Сталина. Конечно, за долгие годы и в президиуме кремлёвских приёмов, и на даче (в квартире) Сталина побывали десятки людей. Но лишь 10 человек, не считая самого вождя, по основательно документированному мнению В.А. Невежина, оставались постоянными членами «питейной компании».

Если политическая функция «симпосионов», при всей их закрытости (в том числе и с точки зрения источниковой базы) оказывается в общем понятной, то с Большими кремлёвскими приёмами дело обстоит сложнее. В чём, собственно, состояла их основная цель и основная функция? Автор (а вслед за ним и рецензенты) отвечает на это достаточно определённо: репрезентация власти, а также демонстрация единства и преданности элиты (среди гостей кремлёвских приёмов, помимо военных, летчиков, полярников, постоянно присутствовали деятели науки и искусства, передовики производства, руководители различных отраслей хозяйства). В.А. Невежин делает вполне обоснованный вывод, что «торжественные застолья в Кремле относились к разряду мероприятий государственного масштаба, сыгравших решающую роль не только в деле укрепления личной власти Сталина, но и в консолидации вокруг вождя политической,

военной, экономической и интеллектуальной элиты советского общества. Для них были характерны функции обмена информацией, интегрирующая, дифференцирующая и функция преемственности в культуре, прежде всего в области застольных обычаев» (с. 384).

Если говорить о преемственности в культуре, тут, конечно, на первое место выходит не культура застолий, а культура политическая. Не случайно кто-то из рецензентов в этой связи вспомнил о дружинных пирах Владимира Красное Солнышко, а мог бы упомянуть и о пирах московских царей, и уж тем более – об императорских приёмах XVIII–XIX вв. На подобных приёмах происходит репрезентация не столько личной власти великого князя, царя, императора, или хотя бы скромного секретаря ЦК ВКП(б) – это прежде всего презентация державной власти (можно было бы написать и «имперской», но этот термин обладает преимущественно негативными коннотациями). Именно слова «державный» не хватает в данном описании кремлёвских приёмов, между тем на такой характер указывают и устоявшийся в 1930-х гг. церемониал (вплоть до упрощённого, достаточно демократичного, но всё же существовавшего «дресс-кода»), и антураж – парадные залы Кремлёвского дворца, и меню, и сопутствующие концерты, основанные прежде всего на произведениях мировой классической, в меньшей степени народной культуры. Об этом же говорит и состав приглашённых, отобранных не только по критериям личной преданности и политической лояльности. Конечно, большинство из них составляли люди, вспоминая слова Мандельштама, «проваренные в чистках, как соль». Но и среди них, судя по сохранившимся письмам, дневникам, воспоминаниям, были те, кто воспринимал происходящее критически, как минимум, с долей иронии. Впрочем, участвуя в этих мероприятиях, они также включались в процесс легитимизации власти, причём не только личной власти Сталина, но и новой державной государственной власти. И в церемониале, и в антураже, и в речах и тостах членов президиума с трудом можно найти отголоски революционной идеологии. При этом состав гостей был более демократичен, чем когда-либо в Кремлёвском дворце. Там бывали и колхозники, и рабочие... хотя, конечно, большинство гостей принадлежало к вновь формирующейся советской элите, являясь функционерами – партийными, советскими, военными, хозяйственными, литературными, театральными...

Советский режим отличался завидной способностью – практически во всех социальных слоях, от академиков до уголовников, создавать своеобразный «актив», призванный демонстрировать его всенародную поддержку. Как не без гордости говорил К.Е. Ворошилов, выступая на I Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1933 г., «вряд ли много найдется таких крестьян в Европе и Америке, которые бы вышли на трибуну и без единой записочки произносили длинные и хорошие речи о строительстве новой жизни, нового человеческого общества»[2].

И ещё один нюанс, не отмеченный в книге. Многие политики как бы подпитываются на различных публичных мероприятиях, ощущая поддержку и восторг слушателей. Для некоторых это становится своеобразным наркотиком – сразу вспоминаются А.Ф. Керенский и А. Гитлер (столь различные в остальном). Сталин, в отличие от многих (хотя бы того же Л.Д. Троцкого), довольно редко выступал, и по крайней мере с 1920-х гг., не выступал на митингах. Однако, думается, что и сравнительно узкая, проверенная аудитория различных съездов прекрасно выполняла для него подобную «энергетическую» функцию. Восторженная реак-

[2] Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников передовых колхозов. 15–19 февраля 1933 г. Стенографический отчет. М.; Л., 1933. С. 76.

ция на присутствие вождя неоднократно описана и в обсуждаемой книге, но тут хотелось бы привести пример, не относящийся к кремлёвским приёмам. Никоим образом не входившие в когорту «верных сталинцев» или литературных функционеров, К.И. Чуковский и Б.Л. Пастернак так реагировали на появление Сталина на X съезде ВЛКСМ в апреле 1936 г.: «Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А *он* (выделено автором. – *А.Г.)* стоял, немного утомлённый, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюблённые, нежные, одухотворённые и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем... Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства... Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью»[3]. Однако подобные мероприятия были достаточно редкими, и можно с уверенностью предположить, что кремлёвские приёмы, как бы заполняя паузы между различными съездами, служили для Сталина такой же своеобразной «подпиткой».

Одно из серьёзнейших противоречий советской истории, кажется, недооцененное исследователями, заключалось в том, что в глубоко архаичном, в большинстве своём крестьянском обществе установилась власть с гипермодернизационными установками, причём возникшая на волне мощного взрыва архаики и во многом благодаря ему. Более того, если выйти за пределы официальной идеологии и устремлений части высшего, крайне узкого слоя советского руководства, власть и сама по составу, по методам и по восприятию мира была глубоко архаичной. И сталинские «застолья» продолжали не только традицию государственных пиров и приёмов. Что-то в них было и от традиционного крестьянского либо мещанского застолья, когда на стол выставляется всё, что можно только «позволить себе», и несколько раз в году люди не только «расслабляются» и общаются, но и просто вкусно и досыта едят.

С другой стороны, и стилистика сталинских приёмов оказывала обратное воздействие на традиционное общество. Достаточно вспомнить хотя бы хит 1930-х гг. – фильм «Трактористы», который заканчивается сценой колхозного застолья. В просторном светлом зале за общим столом собираются колхозники в парадных костюмах; главный же герой, демобилизованный танкист, передовой тракторист и любящий жених Клим Ярко в исполнении Николая Крючкова одет в военную форму без знаков различия. Трудно допустить, что режиссёр И.А. Пырьев сознательно рискнул на столь смелую аллюзию, и всё же заключительный кадр невольно вызывает соответствующие ассоциации: накрытый стол, хорошо одетые гости, и в центре, в торце стола – главный персонаж, человек в полувоенной форме. Впрочем, ситуацию спасает большой портрет Сталина над головами героев, разумеется, всё в той же полувоенной тужурке...

Дэвид Бранденбергер: Свет люстр и ослепительная аура советских руководителей

Первый том исследования В.А. Невежина о торжественных кремлёвских приёмах и приватных застольях И.В. Сталина является важным и ценным вкладом в изучение советской «большой политики» 1930-х гг. Наши представления о политической культуре и механизме принятия решений в СССР этого вре-

---

[3] *Чуковский К.И.* Дневник (1901–1929). М., 1997. С. 141.

мени существенно обогащаются добавлением к традиционному набору официальных и личных источников гораздо менее изученных данных о статусе и иерархии, самопрезентации власти и её восприятии. В этом контексте до сих пор анализировались всего лишь несколько публично произнесённых Сталиным тостов, которые справедливо рассматривались исследователями как своего рода политические манифесты. Но и здесь тщательный анализ источников позволил Невежину открыть множество важных деталей, опровергнув ряд сложившихся в историографии мифов.

Если говорить о приватных застольях, устраивавшихся Сталиным для своего ближайшего окружения, то их анализ, несомненно, позволяет во многом прояснить контекст принятия советским руководством политических решений. Как показывает Невежин, Политбюро никогда не собиралось за столом в полном составе. На застольях обычно присутствовали члены так называемого ближнего круга (В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микоян, В.Я. Чубарь и А.А. Андреев), а также случайные гости, например, Г.М. Димитров. Анализ «питейной компании» Сталина показателен сразу в нескольких отношениях. Во-первых, Невежин обоснованно считает вечерние застолья важной частью сталинской практики управления. Во-вторых, он отмечает, что долгие часы, проведённые вместе, усиливали личные связи и доверие между членами кружка, что, возможно, объясняет тот факт, что почти все они (за исключением Чубаря) избежали репрессий, а некоторые (Ворошилов, Калинин) продолжали занимать высокие партийные и государственные посты, несмотря на свою очевидную некомпетентность. В-третьих, сама рутинность застолий с неизменными для них неформальными деловыми разговорами, позволяет Невежину усомниться в представлении о том, что Сталин с середины 1930-х гг. монополизировал процесс принятия политических решений. Историки в этой связи обычно указывают на то, что на протяжении 1930-х гг. Политбюро собиралось всё реже, а ЦК и съезды партии перестали быть органами, определявшими партийный курс[4]. Но если Невежин прав, то выходит, что эти институты никогда и не играли решающей роли в принятии важных решений. Такая роль принадлежала именно группе людей, и в 1930-е гг., и позже регулярно собиравшейся в неформальной обстановке в кремлёвской квартире или на даче Сталина. Конечно, было бы преувеличением считать эти собрания реальным «коллективным руководством», но вполне возможно, сам Сталин и его «товарищи по оружию» считали, что именно так можно назвать то, в чём они участвуют. Так или иначе, этот сценарий больше похож на олигархическое правление, нежели на личную диктатуру.

Почти столь же интересен список партийных и советских руководителей, которые не допускались в «питейную компанию», хотя были частыми посетителями кабинета Сталина в Кремле. С середины 1930-х гг. этот список включал в себя Г.Г. Ягоду, А.С. Енукидзе, М.М. Литвинова, Я.А. Яковлева, С.В. Косиора, Я.Е. Рудзутака, А.И. Стецкого, Н.И. Ежова, Л.З. Мехлиса и Я.В. Гамарника. Для Сталина эти люди были только советниками или в лучшем случае исполнителями партийной линии.

Хотя изучение Невежиным «питейной компании» основано на обширном круге источников, возможно, следовало бы учесть некоторые новейшие по-

[4] См., например: *Rees E.A.* Stalin as Leader, 1924–1937: From Oligarch to Dictator // The Nature of Stalin's Dictatorship: the Politburo, 1924–1953. N.Y., 2004. P. 19–58.

пытки систематизировать практики сталинского руководства[5]. Интересным был бы также сравнительный анализ сходств и различий между сталинской диктатурой и другими авторитарными практиками управления, существовавшими в мире, в частности, в период между двумя мировыми войнами. Многие биографы А. Гитлера, например, характеризуют его стиль руководства как хаотичный и небрежный. Фюрер не имел достаточного терпения и не был склонен к настойчивой и обстоятельной проработке принимаемых решений. Многие из его руководящих указаний сводились к расплывчатым и несвязным фразам, которые произносились за обедами и ужинами в узком кругу, причём присутствующие представители нацистского руководства должны были их внимательно выслушивать, делать заметки и затем использовать для разработки тех или иных мероприятий, которые, как им казалось, соответствуют пожеланиям вождя. Этот специфический стиль управления был известен как «работа в духе указаний фюрера»[6]. И хотя Сталин явно вкладывал в детализацию своих распоряжений гораздо больше усилий, привлекает внимание само сходство ситуаций, когда соратники должны руководствоваться неформально высказанными суждениями вождя. Приняли ли партийные и советские функционеры на вооружение какой-то стиль «работы в духе указаний Сталина», который помогал им принимать решения, угадывая его желания? Известно, что Г.М. Димитров и В.А. Малышев фиксировали произносимые Сталиным тосты в своих записных книжках. За других (например, за Ворошилова) это делали адъютанты. Но каким образом они потом использовали эту информацию, остаётся неясным.

Дружеские застолья будут подробнее рассмотрены Невежиным в следующем томе его исследования. Обсуждаемая же нами сегодня книга в основном концентрируется на торжественных приёмах, проводившихся в Кремле в 1930-х – первой половине 1940-х гг. Особенно такие приёмы практиковались в предвоенный период, когда устраивались в честь участников военных парадов, лётчиков и полярников, представителей технической и творческой интеллигенции, выпускников военных академий и представителей союзных республик. Эти грандиозные мероприятия с числом участников, порой превышавшим 2 тыс. человек, широко освещались в СМИ, затмевая более привычные партийные и государственные форумы.

Изучение приёмов затруднено недоступностью ключевых документов, которые, видимо, до сих пор хранятся в архивах ФСБ или ФСО. Тем не менее Невежину удалось использовать значительный массив источников, в частности, малоизвестные дневниковые и мемуарные записи участников событий. Это позволило ему в деталях воссоздать социальную стратификацию и иерархию мероприятий (разделение на «хозяев» и «гостей»), принятые на них этикет и нормы поведения (на удивление формальные, стандартизованные и традиционные), и даже роль музыкантов и обслуживающего персонала.

Хотя вся эта информация очень интересна и сама по себе, по настоящему увлекательным оказывается анализ Невежиным роли приёмов в установлении

---

[5] *Wheatcroft S.G.* From Team-Stalin to Degenerate Tyranny // Ibid. P. 70–107.

[6] Оригинальное выражение, приписываемое Вернеру Вилликенсу, мелкому чиновнику прусского Министерства сельского хозяйства, звучало как «zu versuchen im Sinne des Führers ihm entgegenzuarbeiten» (*Kershaw I.* «Working Towards the Führer»: Reflections on the Nature of the Hitler Dictatorship // Contemporary European History. 1993. Vol. 2. № 2. P. 103–118; *idem.* Hitler, 1932–1935: Nemesis. N.Y., 2001. P. 32–33.

и поддержании социальной и политической иерархии в СССР. Оказывается, например, что сталинская «питейная компания» практически в полном составе председательствовала на приёмах в качестве «хозяев». Более того, Сталин собственноручно редактировал сообщения о приёмах, их участниках и о произносившихся тостах для газет, de facto превращая их в официальные коммюнике. На основании статистики присутствия советских руководителей на такого рода мероприятиях и порядке их перечисления в газетных отчетах Невежин смог составить своеобразный «номенклатурный рейтинг» основных участников «питейной компании». На первых местах в нём закономерно фигурируют В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. Каганович. Такие же персонажи, как Ежов и М.М. Каганович появлялись в числе «хозяев» лишь эпизодически, когда их присутствие имело символическое значение.

Если для Сталина и его «питейной компании» торжественные приёмы стали рутиной, то для большинства «гостей» они были уникальным и запоминающимся на всю жизнь событием. Это отражают и их воспоминания о великолепии помещений, знаменитых гостях, высоком качестве еды и напитков и, конечно же, упоительном физическом присутствии партийных вождей. При этом Невежин убедительно воссоздаёт атмосферу регламентации поведения присутствующих и контроля за «гостями», фактически отделявшую их от «хозяев». Последние могли обращаться к «гостям» (например, с целью провозгласить какой-нибудь тост), однако протокол не позволял «гостям» самим вступать в контакт с президиумом. Даже в тех случаях, когда кто-либо из гостей оказывался в центре празднования (как это было с В.П. Чкаловым), его роль оставалась сугубо подчинённой по отношению к «хозяевам» приёма (с. 271–278).

Акцент на иерархии, протоколе и традиции в чём-то противоречил популистским намерениям, лежавшим в основе грандиозных приёмов и массовых действ на Красной площади, которые часто предваряли эти приёмы. Именно об этом написал московский обозреватель «Социалистического вестника» своим зарубежным читателям в сентябре 1935 г. в редком очерке, который Невежин не включил в свой анализ: «Отрыв руководящих кругов ВКП от массы рядовых членов чувствуют и в верхах. Но, не решаясь на введение настоящей демократии, ищут выход в мелких, а порой и смешных мероприятиях... Особенно любопытен новый обычай, быстро прививающийся в Союзе. По инициативе Сталина в Кремле стали устраивать банкеты. На 500, 1000, 1500 человек... Приём осуществляется весьма торжественно. Угощение обильное и разнообразное. Вина подаётся немного и "пьянка" на сталинских банкетах, не в пример провинциальным, не допускается. Банкет проводится по всем правилам, причём из уважения к грузинскому происхождению вождя для руководства праздником выбирается "тамада". Обычно эту роль играет Каганович или Орджоникидзе»[7].

Все эти мероприятия прежде всего были нацелены на упрочение не только иерархии, но и личной власти и харизмы Сталина и его ближайшего окружения. Приёмы способствовали также утверждению контроля партийного руководства над советской элитой. Усаживаясь отдельно от восторженных, но пассивных гостей и защищая себя щитом этикета и протокола, Сталин и его окружение невольно обнаруживали своё представление о взаимоотношениях

[7] *А.* По России // Социалистический вестник. 1935. №. 18 (350). 25 сентября. С. 16. На самом деле, как показывает Невежин, роль «тамады» чаще всего играли Молотов и Ворошилов.

партийного руководства и ведóмого им общества. Строго говоря, это представление было скорее патерналистским, чем авторитарным.

Но приёмы служили и другим целям. Вспоминая о газетных репортажах и публичной саморекламе режима (в которых жёсткая стратификация, разумеется, не упоминалась), можно сказать, что они призваны были создать ощущение единства и солидарности как между партийным руководством и Красной армией, так и между вождями и прочими «выдвиженцами из народной среды». Общаясь со «знатными людьми советской страны» – лётчиками, стахановцами, командирами, самыми заметными представителями интеллигенции и различных нерусских национальностей (все они обрели в 1930-х гг. статус героев и объектов всенародной любви) – Сталин и его соратники пытались продемонстрировать свою близость к народу[8].

Приглашение на подобный приём подтверждало высокий общественный статус и большие достижения гостя и одновременно должно было вдохновлять его на «новые свершения». Как писал в 1935 г. обозреватель «Социалистического вестника», «допускаются по особому списку лишь специально приглашённые. В первую очередь слой влиятельных советских вельмож: члены ЦК, члены ЦИК, руководители комиссариатов, хозяйственных организаций. Это, так сказать, состав постоянно приглашённых лиц. За право быть в числе приглашённых идёт борьба в кругах партийцев и хозяйственников. Пускают в ход связи, плетут интриги. Но кроме того, приглашаются ударники-рабочие от станка, колхозники, отличившиеся на местной работе, рекордсмены спорта, заслуженные артисты и приехавшие в Москву по делам представители власти на местах». Мифологизированный сценарий попадания на приём «простого человека» изображён, в частности, в фильме Г.В. Александрова «Светлый путь». Его героиня ткачиха Таня Морозова приглашена в Кремль на роскошный приём, где её ослепляют свет хрустальных люстр и яркая аура советских руководителей. Это приглашение не только подчёркивает новый статус Морозовой как «выдвиженца», но и вдохновляет её на героические деяния.

Как и на вечерних застольях, на больших приёмах Сталин порой использовал торжественный контекст и тосты для конкретных целей. «Социалистический вестник» охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Такими приёмами, кроме установления личного общения между генералитетом и офицерством власти, пользуются ещё и для проведения партийной линии, разъяснения очередной директивы. Иногда сам вождь или его ближайшие помощники произносят “исторические речи”». В самой интересной части своей книги Невежин анализирует три наиболее известных тоста Сталина: за Ленина и таджикский народ (22 апреля 1941 г.), за Красную армию как армию наступления, а не обороны (5 мая 1941 г.) и за великий русский народ (22 мая 1945 г.).

В первом тосте вождь, подчёркивая свою скромность, напоминал советской культурной элите о роли Ленина в формировании советской национальной политики[9]. Невежин отмечает, что важность тоста заставила многих гостей записать либо его прямо на банкете, либо по возвращении домой. Спустя два дня

---

[8] О становлении этого культа героев см.: *Brandenberger D.* Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination and Terror under Stalin, 1927–1941. New Haven, 2011. Ch. 4.

[9] О периодических демонстративных попытках Сталина несколько умерить культ своей личности в 1930-е гг. см.: *Davies S.* Stalin and the Making of the Leadership Cult in the 1930s // The Leadership Cult in Communist Dictatorships: Stalin and the Eastern Bloc. N.Y., 2004.

в «Правде» была опубликована редакционная статья «по мотивам» тоста, прославлявшая национальную политику большевиков и место в ней таджиков.

Примерно две недели спустя на приёме в честь выпускников военных академий Сталин произнёс тост, в котором провозглашал готовность Красной армии вести войну в наступательном духе, на территории противника. Как подчёркивает Невежин, это была декларация общего характера, не привязанная к конкретным политическим реалиям весны 1941 г. По понятным причинам, эта речь не предавалась огласке, хотя информация о ней всё равно неофициально распространялась присутствовавшими.

Наконец, третий анализируемый Невежиным тост был произнесён в честь русского народа. Как известно, во второй половине 1930-х гг. и особенно после начала войны Сталин настойчиво проводил русскоцентричную пропагандистскую кампанию, которая, правда, сопровождалась параллельным превознесением украинских, казахских, армянских, грузинских и прочих национальных традиций и героев. Понимая, что педалирование русской национальной темы вызывает у многих некоторое смущение, Сталин постарался прояснить свой взгляд на роль русского народа в войне[10]. Очень интересно, что, как показал Невежин, публикация речи в «Правде» существенно отличалась от того, что было произнесено на приёме. В реальной речи Сталин говорил о «здравом смысле, общеполитическом смысле и терпении» русского народа, признав, что «у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением» (с. 340–341). Однако после приёма, прочитав подготовленный к публикации текст речи, Сталин переписал его, решив подчеркнуть своё восхищение русским народом в более лирическом духе («ясный ум, стойкий характер и терпение»), опустив признание в военных неудачах. Невежин показывает далее, анализируя реакцию людей на речь и на её публикацию, сколь огромна была власть Сталина над мировоззрением советского народа – от маршала И.Х. Баграмяна до безвестного инженера московской фабрики № 836 Соловейко. Само собой, благодаря бесконечным цитированиям, значение речи Сталина как формулировки политического курса многократно усилилось[11].

Анализ конкретного тоста ещё раз подтверждает важность самой темы исследования Невежина. Возникает и ряд вопросов о причинах недолгого существования института больших кремлёвских приёмов. Если они играли столь важную роль в политическом ландшафте эпохи, то почему после 1945 г. они из этого ландшафта исчезли? Объяснялось ли это пошатнувшимся здоровьем Сталина, потерей им интереса к публичным мероприятиям или отказом от предвоенной популистской идеологии? Способствовало ли исчезновение торжественных приёмов самоизоляции Сталина и окостенению послевоенной политической системы? Затронуло ли оно контроль партийной верхушки над военной и гражданской элитой? Важно, что автор планирует продолжить работу над темой, которая имеет столь серьёзное значение для понимания сущностной динамики советской политической системы.

---

[10] См. об этом также: *Бранденбергер Д.Л.* Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб., 2009.

[11] Там же. С. 213–228, 232–233, 267, 276.

Василий Токарев: Недюжинные задатки цереомониймейстера, метрдотеля и сомелье

Провокативно-куртуазный заголовок монографии В.А. Невежина «Застолья Иосифа Сталина» может смутить иного читателя, если тот не примет во внимание, что замысел книги обслуживает категория «праздник», а не «праздность». За последние 40 лет отечественные и зарубежные учёные заложили основательную традицию изучения советской праздничной культуры, через которую диагностируется эпоха, институты власти, общественные структуры и духовный мир. Одни авторы изучали феномен советского праздника в общегосударственном контексте, другие – в контексте региона, третьи – города. Благодаря В.А. Невежину траектория исследования, в конце концов, прошла сквозь кремлёвские апартаменты.

Лики авторитарной власти, в нашем случае сталинизма, а также её умение быть обольстительной для соотечественников и неоднозначной для сторонних наблюдателей, с давних пор привлекают внимание зарубежных и российских исследователей. Забота о собственном имидже и немалые усилия в деле самопрезентации достигались советскими лидерами с помощью разнообразных средств, к числу которых относились и Большие кремлёвские приёмы. Что знали о кремлёвских приёмах и какими их образами располагали советские люди? Судя по всему, осведомлённость сталинских современников о торжественных «свиданиях» власти и народа в Кремле не исчерпывалась скудными газетными отчётами. Визуальные образы, как правило, были представлены живописью, а не фоторепортажами с их протокольно-обыденной фиксацией действительности. Спрашивается, почему? Именно талантливая кисть с её правом на вольность красочно живописала историческое значение момента, когда вождь, окружённый своими сподвижниками, обращался к лучшим представителям народа посреди великолепных дворцовых интерьеров. Достаточно вспомнить культовое полотно М. Хмелько «За великий русский народ!» (1947), забытую картину В. Яковлева «Сталин на выпуске слушателей военных академий» (1935) или графику П. Малькова «Заздравный тост...» (1949). При жизни Сталина издательства и журналы тиражировали на разных языках мемуарные тексты с описанием кремлёвских раутов. О своих впечатлениях поведали Г.Ф. Байдуков, Э.Т. Кренкель, М.М. Раскова и даже её дочь Татьяна. Что касается художественной литературы, прозаики, знавшие непредсказуемые нравы сталинского секретариата, не торопились связывать сюжеты своих произведений с Кремлём. Разве что украинский писатель С. Чернобривец в повести «Освобождённая земля» (1949) изобразил такой приём, да и то эскизно. В каноничном виде многомиллионная аудитория увидела кремлёвские приёмы в киноэпопее П. Павленко и М. Чиаурели «Клятва» (1946). С другой стороны, инициативная «огласка» деталей кремлёвских застолий никогда не приветствовалась. Более того, она могла повлечь за собой наказание независимо от положения и ранга человека. Так, курсанта А.Г. Шематонова, когда-то состоявшего в кремлёвском персонале, отчислили с лейтенантских курсов за рассказ о том, как захмелевший Сталин по окончании банкета «дал ему с собой вина и закуски». А генерал-майора юстиции М.И. Панкратьева бдительные сослуживцы заподозрили в антипартийном поведении за «компрометирующий» рассказ о кремлёвском приёме в честь 60-летия Сталина. В силу такой «позолоченности» и «заповедности» кремлёвские приёмы прочно вписались в антураж и мифологию сталинской эпохи.

Обывательское любопытство к тому, что происходило за стенами Кремля, не заслуживает особых пояснений, однако академический интерес к кремлёвским приёмам требует обоснования. В.А. Невежин, конечно, не одинок в своём внимании к политическим торжествам. Так, политолог А.И. Щербинин уловил взаимосвязь советских политических праздников с драматургией власти и механизмом индоктринации общества[12]. Большие кремлёвские приёмы представляют экстраординарный материал для придачи теоретическим построениям должного эмпирического веса. Автор монографии поставил вопрос о мотивации и времени зарождения традиции кремлёвских приёмов, о поводах к их организации и дворцовой топографии застолий, о ротации сталинской «питейной кампании» и ролевых функциях прочей публики, о программе правительственных мероприятий и интегральности советского этикета. Думаю, коллеги будут единодушны со мной: сам перечень задач интригует своей нетривиальностью.

При чтении книги становится очевидным, что замысел потребовал от историка многолетних усилий, чтобы систематизировать разрозненные факты и буквально по унциям выявить необходимые сведения, так как основной свод документальных материалов о кремлёвских приёмах до сих пор недоступен учёным. В орбиту поиска попали фонды И.В. Сталина, В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, Л.М. Кагановича (РГАСПИ), делопроизводственная документация Комитета по делам искусств при СНК СССР (РГАЛИ) и секретариата Народного комиссара обороны СССР К.Е. Ворошилова (РГВА), разносортные материалы В.В. Вишневского, С.В. Образцова, С.М. Эйзенштейна, Л.О. Утесова, Н.Е. Вирты (РГАЛИ). Из источников личного происхождения были привлечены интервью, переписка, дневники, мемуары участников кремлёвских приёмов, в том числе неопубликованные записи воспоминаний. Часть обнаруженных документов (программы праздничных концертов, списки приглашённых на приём, денежные ставки артистов, дневники журналиста Л.К. Бронтмана) автор поместил в приложениях к монографии. Книгу дополняет ёмкий раздел с краткими биографическими справками о лицах, причастных к кремлёвским приёмам, кстати, достаточно полезный для перепроверки сведений о конкретных персонах. Кропотливый подбор источников тем не менее нельзя назвать исчерпывающим. В ГАРФ хранятся личные бумаги и фотографии кинооператора М.А. Трояновского, который снимал церемонию чествования полярников в Кремле (1938). Нельзя не попенять автору за невнимание к ведомственным газетам и журналам, например, к «Стахановцу», а также к республиканской и провинциальной прессе. Чтобы не быть голословным, позволю себе перечислить названия некоторых газет, где были воспроизведены воспоминания о приёме участников Всесоюзного совещания работников высшей школы (1938): «Уральский рабочий» (Свердловск), «Молот» (Ростов-на-Дону), «Советская Белоруссия» (Минск), «Большевистское знамя» (Одесса), «Красная Татария» (Казань), «Днепровская правда» (Днепропетровск).

По подсчетам В.А. Невежина, с апреля 1935 г., когда впервые в официальном порядке кремлёвские мероприятия были наименованы приёмами, власти провели к 1949 г. не менее 47 церемоний. За тот же период, как саркастически подметил автор, Сталин ограничился одним партийным съездом и единственной партконференцией. Думается, начальная дата и статистика кремлёвских

---

[12] *Щербинин А.И.* Драматургия власти // Полис. 1993. № 6. С. 105–109; *он же.* Тоталитарная индоктринация: у истоков системы политические праздники и игры // Полис. 1998. № 5. С. 79–96; *он же.* Коммуникативная природа политического праздника // Политический маркетинг. 2007. № 6. С. 5–25.

приёмов, предложенные в труде, потребуют корректировки. В книге мимоходом упоминается о проведении в Кремле первого за послереволюционное время праздничного обеда 1 мая 1925 г. Автор монографии не задерживается на этом событии, тогда как О.К. Кайкова считает данный факт отправным пунктом официальных приёмов в Кремле[13]. Невежин также оговаривает, что к началу 1930-х гг. сложился обычай угощать участников первомайских парадов и выпускников Военной академии имени М.В. Фрунзе в Кремле, где приглашённых ожидала небольшая концертная программа. Некоторые современники называли такие угощения «большими парадными банкетами»[14], сам Невежин – «ворошиловскими завтраками». Аналогичный кремлёвским приёмам статус имел эксклюзивный правительственный банкет 24 июня 1934 г., которым, по существу, завершилась челюскинская эпопея. Между этими эпизодами и изучаемыми в книге «большими» кремлёвскими приёмами имелись несущественные отличия, но вряд ли они имеют решающее значение. Относительно же подсчета кремлёвских приёмов вкратце замечу: об иных торжествах с участием Сталина и его сподвижников, допустим, по случаю празднования 8 марта или в честь орденоносцев, власти по неясным соображениям предпочитали не распространяться.

Дополнительного разговора заслуживает интенсивность кремлёвских приёмов в политическом календаре и биохронике Сталина. Их пик приходится на годы Большого террора и канун Великой Отечественной войны, когда целью государственной праздничной политики, по выражению Т.А. Кругловой и Н.В. Саврас, становится «переключение регистра страха в эйфорию веселья»[15]. Уменьшение количества приёмов в послевоенный период, видимо, свидетельствовало не только о физическом угасании диктатора и рецидивах отчуждённости, но также, вероятно, об округлении сталинской самооценки: после разгрома нацистской Германии и её союзников генералиссимус, будучи общепризнанным политиком мирового ранга, более не нуждался во флирте с советской общественностью и дополнительных знаках внимания с её стороны.

Традиция кремлёвских приёмов, согласно реконструкции Невежина, возникла из семейных праздников и служебно-кулуарных «посиделок», завсегдатаи которых составили «питейную кампанию» Сталина (добавим к ним ещё различные правительственные торжества в Колонном зале Дома союзов и дипломатические рауты на Спиридоновке). Таким образом, приёмы имели и органичный житейский контекст, который ускользнул от внимания автора. Легализация кремлёвских приёмов произошла вместе с ревизией патетической программы социалистического переустройства быта, частью которой являлась многолетняя антиалкогольная кампания. Судя по всему, Сталин относился к ней со скепсисом, если не с предубеждением. Дилемма «трезвость» или «привычки» регламентировалась им в пользу госбюджета, что, как известно, обернулось угасанием «Общества борьбы с алкоголизмом» и его пошаговой ликвидацией в начале 1930-х гг. Знаменитая сталинская фраза: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее» (1935), подытожившая смену потребительских акцентов, была адаптирована к бытовым реалиям наркомом А.И. Микояном: «Но почему же до сих пор шла слава о русском пьянстве? Потому, что при царе народ нищенствовал, и тогда пили не от веселья, а от горя, от нищеты. Пили

---

[13] *Кайкова О.К.* «Непрерывная борьба из-за квартир...». Повседневная жизнь в Кремле в 1920–1930-е годы // Родина. 2011. № 8. С. 41.

[14] *Дмитриевский С.В.* Советские портреты. Стокгольм, 1932. С. 34.

[15] *Круглова Т.А, Саврас Н.В.* Новый год как праздничный ритуал советской эпохи // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2010. Т. 76. № 2. С. 9.

именно чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь. Достанет иногда человек на бутылку водки и пьёт, денег при этом на еду не хватало, кушать было нечего, и человек напивался пьяным. Теперь веселее стало жить. От хорошей и сытой жизни пьяным не напьёшься. Весело стало жить, значит и выпить можно, но выпить так, чтобы рассудка не терять и не во вред здоровью[16] (этот пассаж был воспроизведён в легендарной «Книге о вкусной и здоровой пище» в 1939 г.). Подобный подход облагораживал сложившуюся к тому времени практику «культурных застолий», чьим образцово-показательным фрагментом и можно считать кремлёвские приёмы.

Автор монографии вскользь упоминает о кавказских культурно-бытовых истоках организации кремлёвских застолий, правда, неохотно развивает эту мысль в книге. По воспоминаниям сталинского земляка С. Цихитатришвили (их запись хранится в РГАСПИ), с раннего детства И. Джугашвили вместе со своими приятелями увлекался игрой, имитировавшей «взрослое» застолье. С годами фикция воплотилась в субкультуре кремлёвских приёмов, чья ткань была пропитана этнокомпонентами, в том числе, что закономерно, кавказскими. Достаточно припомнить сталинский тост «за здоровье Ленина» (1938), вызвавший оторопь у слушателей своей странностью, так как тост во здравие провозглашался за покойного. Но подобный оборот речи был вполне уместен в устах уроженца Грузии. Ещё рельефнее кавказские нюансы проявились в так называемых сталинских симпосионах в кругу доверенных лиц, которым будет посвящена вторая часть монографии В.А. Невежина («Обеды и ужины в узком кругу»). В то же время многие элементы кремлёвского церемониала, например, сталинская склонность на прощание одаривать «гостей» напитками и яствами с праздничного стола или инициатива самих «гостей» уносить остатки угощения, не были типичны для грузинского гостеприимства. Да и кремлёвский протокол, вынуждавший приглашенных ожидать Сталина и его соратников, расходился с кавказскими правилами приличия. Не вполне очевидна сталинская привычка угощать «гостей» из «своей» бутылки, когда он желал особо почтить конкретного человека. За многие годы жизни в России Сталин, по его собственному признанию, ощущал себя больше русским, чем грузином. Принимая во внимание многосложную природу «русскости» и в целом социальный опыт Сталина, нужно исходить из того, что кремлёвские приёмы следует изучать как комбинацию различных национальных, региональных и исторических традиций полиэтничного общества. Из множества житейских правил Сталин и его помощники были вправе выбирать те, которые казались им уместными, практичными или приемлемыми для большинства.

Согласно гипотезе Невежина, кремлёвские приёмы, будучи разновидностью застольного церемониала, выполняли разнонаправленные функции: дифференцирующую и интеграционную. Пермский историк В.В. Шабалин выделил схожие социальные функции «групповых вечеринок» провинциальной номенклатуры районного звена. Их назначение Шабалин свел к четырём позициям: укреплению связей внутри неформального сообщества; подтверждению статуса местного лидера и его рангового превосходства над остальными; инаугурации «новообращённых» как полноценных членов неформальной группы; маркировке «своих» и «чужих» среди участников «групповых вечеринок»[17].

---

[16] *Микоян А.И.* Пищевая индустрия Советского Союза. М., 1936. С. 136–137.

[17] *Шабалин В.В.* Пьянка, выпивка, попойка (фоновые практики районной номенклатуры) // Алкоголь в России: материалы второй международной научно-практической конференции (Иваново, 28–29 октября 2011). Иваново, 2012. С. 24–25.

Фактически речь идет о тех же задачах консолидации и разграничения, так что напрашивается вывод о едином механизме, лежавшем в основе и кремлёвских «застолий», и периферийных «вечеринок».

Центральной фигурой среди «хозяев» приёмов был, разумеется, Сталин. Как отмечается в монографии, лишь единственный раз в ноябре 1940 г. он позволил себе пропустить кремлёвский приём. Опосредованно Сталин соруководил церемонией, а в случае нарушения предписанного сценария удачно импровизировал: мог разразиться «одой» во славу женщин, мог невзначай облагодетельствовать своим вниманием рядовых «гостей», был обходителен с теми, у кого были проблемы со здоровьем, и даже мог поступить экстравагантно, чтобы поощрить одного из них. Он умел быть, по выражению актрисы Г. Жуковской, «импозантнейшим», галантным, радушным и трогательным, быть «совсем другим», так что иные «гости», лучше других знавшие нрав диктатора, испытывали досадное недоумение: «Ну почему он не всегда такой?» (только после войны, когда Сталин смирился со своим возрастом и держался преимущественно как созерцатель, общая обстановка приёмов, по свидетельству иных очевидцев, стала оставлять впечатление напряжённости и скованности). «Хозяева» располагались за центральным банкетным столом, который являлся подобием президиума партийного форума или трибуны Мавзолея.

О дихотомии «хозяева–«гости» веско напоминали сотрудники НКВД. Они проверяли документы приглашённых, не допуская при этом никакой фамильярности. Не самая остроумная реплика музыканта джаз-оркестра В. Ершова при входе в Кремль обошлась артисту в восемь месяцев заключения. Чекисты неизменно присутствовали в парадных залах среди «гостей». Кстати, публика догадывалась о служебном статусе людей в одинаковых костюмах, потому что те всем прочим напиткам предпочитали «Нарзан». Своим видом они дисциплинировали одних и угнетали других. Например, ленинградский артист И. Смысловский ощущал обиду за то, что между «гостями» на страже сидели чекисты: «В один момент я было привстал, чтобы ясней увидеть наших вождей: Сталина, Молотова и других, и тут мой сосед деликатно попросил меня не вставать»– вспоминал он[18]. Когда в ходе приёмов случались, как принято говорить, нештатные ситуации, опять же вмешивалась охрана. Однажды, по воспоминаниям футболиста Николая Старостина, экзальтированная публика так нависла над правительственными челами, что всех руководителей пришлось вывести из Георгиевского зала, а само мероприятие досрочно завершить.

Помимо прочего, «хозяева» обладали преимущественным «правом голоса», и диалог между ними и «гостями» был во многом односторонним и неравноправным. Непременными атрибутами застолья являлись бесконечные тосты. Так как для Сталина кремлёвские приёмы, несмотря на их политический вес, были своего рода сеансом релаксации, он расчётливо не утомлял себя распорядительными функциями. Он никогда не выступал первым и тем более не обременял себя полномочиями «тамады», передоверяя эту беспокойную роль другим лицам. Иногда хвалебные слова Сталин заменял невербальными знаками внимания к человеку, давая понять взглядом или жестом, что поднимает бокал именно за него, или приглашая человека подойти к себе, чтобы чокнуться. Такое намеренное самоограничение отразилось на количестве его обращений к

[18] *Смысловский И.А.* Мемуары артиста. Часть 4. На подмостках (URL.: http://http://golos.ruspole.info/node/131).

публике во время кремлёвских приёмов. Пока документально известно о 12 сталинских выступлениях. Архивные изыскания непременно расширят этот перечень. Если Сталин говорил пространно, это были не привычные прочувственные здравницы и пожелания, а рассуждения на конкретную тему. Иногда он изрекал банальности; порой мог удивить нетривиальностью мысли, – достаточно вспомнить его размышления о спорте на приёме участников физкультурного парада (1948).

Комплектование публики производилось в соответствии с грузинской притчей, которую Сталин однажды пересказал писателю Ф. Панфёрову: если ты позвал гостя к столу, то должен верить, что он друг, а не злодей. Благонадёжная аудитория гарантировала неприкосновенность руководства, а также информационную безопасность, так как на приёмах иной раз озвучивались государственные секреты, например, об участии советских волонтёров в испанской войне, или случались приступы откровенности первых лиц государства. С другой стороны, сталинские здравницы в честь Н.И. Бухарина, А.В. Косарева, Я.В. Смушкевича и многих других «гостей» не уберегли тех от трагической развязки. Гораздо реже случались обратные казусы. В 1938 г. был арестован артиллерист И.П. Граве. На очередном кремлёвском приёме Сталин, лично санкционировавший арест учёного, вдруг «обнаружил» его отсутствие среди приглашённых. При свидетелях он распорядился освободить человека. Исключение из числа «гостей» переживалось иными завсегдатаями приёмов как симптом опалы или понижения собственного статуса. Поговаривали, будто у кинорежиссёра А. Довженко случился сердечный приступ, когда его не пригласили на очередной приём по случаю юбилея Сталина.

С возникновением традиции Больших приёмов советским лидерам пришлось серьёзно заняться – воспользуюсь выражением В.В. Глебкина, – «ритуалостроительством»[19]. В течение приёма «хозяева» и «гости» руководствовались тщательно структурированным кремлёвским протоколом. Его разработали под себя сами «хозяева», а новичков из числа «гостей» предварительно инструктировали, как себя вести в Кремле. Иногда званую публику наставлял лично А.Н. Поскрёбышев. Драматургия кремлёвского протокола регламентировала каждую фазу приёма: от своевременного размещения «гостей» в соответствии с «иерархией места» до момента, когда «гости» покидали Кремль. В монографии наиболее подробно разбираются четыре компонента церемониала: этикет, дресс-код, трапеза и концертная программа.

Так сложилось, что проблему этикета, когда речь идёт о современности, историки издавна переуступили этнографам и филологам. Разумеется, известны научные труды о русском придворном и сословном этикете до XIX в. включительно, однако советским этикетом занимались и занимаются единицы. Работы об этикете, написанные в послевоенные десятилетия под углом изучения коммунистического быта или социалистического образа жизни, трудно назвать академичными. Среди исключений укажу недавно защищённые диссертации Е.Е. Степановой о культуре быта советской военной элиты и А.А. Минкиной о воинском этикете Красной армии[20]. Сталинская же эпоха хранит богатейший материал о нормативном поведении.

---

[19] *Глебкин В.В.* Ритуал в советской культуре. М., 1998. С. 17.

[20] *Степанова Е.Е.* Культура быта начальствующего состава Красной армии: 1921 – июнь 1941 гг. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2006; *Минкина А.А.* Воинский этикет Красной армии (1918 – июнь 1941 г.): Историческое исследование. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2010.

Еще в 1922 г. Политбюро поручило Наркоминделу разработать упрощённый советский этикет для дипломатического обихода. Сотрудники НКИД и Наркомвнешторга штудировали брошюру Н. Колчановского «Дипломатическая техника» (1935). Советских военных, командируемых в Испанию и Китай, также наставляли азам этикета, в особенности застольного. Не кто иной, как В. Чкалов, на собственном опыте убедившийся в безусловном значении светских условностей, поучал своих не столь посвящённых коллег: «Этикет надо знать!» Однако внимание к этикету было вызвано не только требованиями международной интеграции и приспособления. Партийно-государственная верхушка приобрела вкус к полнокровной жизни. Этикет же как регулятор общественных отношений оказался, по мнению В.А. Невежина, средством приобщения к привилегированной среде, а кремлёвские приёмы стали одной из площадок привыкания к правилам хорошего тона и стилю жизни. Приглашенные в Кремль деятели искусства, учёные и выходцы из дворянской среды, сохранившиеся в партийно-государственном аппарате, невольно выступали в качестве гувернёров. Личным примером они обучали прочих «гостей» светским манерам. С другой стороны, нельзя абсолютизировать обособляющую функцию этикета. Организаторы приёмов всё-таки стремились не к реставрации былого сословного этикета или к его замещению другими вариациями, а к созданию универсальной модели общегражданского поведения.

К проявлениям этикета относится и уместная манера одеваться. Участники приёма обязывались соблюдать кремлёвский «дресс-код», воплощавший идею социалистического достатка. У мужчин предпочтение отдавалось деловому и служебному покрою одежды. В дамских туалетах приветствовалась женственность и незамысловатая элегантность. Супруга дипломата А. Миронова-Король, имевшая по тем временам роскошный гардероб, при выборе платья для кремлёвского приёма ориентировалась на облик «партийных дам» типа П. Жемчужиной, которые предпочитали строгие костюмы и платья: «Там все партийные дамы, туда надо “синим чулком” в строгом костюме, Боже сохрани плечи, шею оголить!» – рассказывала она[21]. Чтобы соблюсти индивидуальность, женщины заказывали наряды у лучших московских портних. Актрисам полагалось вечернее платье. Не в пример остальным, именно служительницы муз, допустим, певица М. Максакова или скрипачка Г. Баринова, позволяли себе эпатировать «хозяев» и «гостей» довольно смелыми сценическими нарядами. Но даже актрисы не были избавлены от пристрастности Сталина, который мог объявить им, чей именно праздничный наряд надлежит считать образцовым. Его предпочтения отражались даже на их сценическом костюме. Так, реплика Сталина: «Зачем пачка?... Лучше платьице», заставила балерину О. Лепешинскую облачиться в хитон для исполнения танца. К сожалению, этот аспект в монографии специально не изучался.

Переменчивые вкусы Сталина и остальных высокопоставленных гурманов нашли своё отражение в привередливом «меню социализма». Его кулинарным воплощением занимались специалисты кремлёвской столовой и лучших столичных ресторанов, например, «Метрополя», а также повара из обслуживающего персонала Сталина (И. Роземашвили и др.). Будучи с молодых лет отменным

---

[21] *Яковенко М.М.* Агнесса: Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о её юности, о счастье и горестях трёх её замужеств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу Миронову, о шикарных курортах, приемах в Кремле и... о тюрьмах, этапах, лагерях, – о жизни, прожитой на качелях советской истории. М., 1997. С. 124.

кулинаром, Сталин лично благодарил поваров, которые обслуживали приём, за проявленное мастерство. При необходимости меню составлялось с вкраплением национального колорита. Например, москвичам и участникам декады бурят-монгольского искусства было предложено 36 блюд, включая баранину в бульоне, позы, печень на углях, саламат, фаршированный омуль, черёмуху со сметаной, кумыс, кисель из облепихи, зелёный чай с молоком и т.д. Отчасти о кулинарных изысках кремлёвских застолий можно судить по вышеупомянутой «Книге о вкусной и здоровой пище» (она, кстати, оказалась незаменимым источником по истории питания в СССР, что недавно продемонстрировал в своем исследовании Э. Гейст[22]). Алкогольные напитки были представлены в самом хрестоматийном ассортименте: коньяк, водка, красные и белые вина, крымское шампанское – все отечественного производства.

Оговаривает Невежин и такой деликатный вопрос, как отношение Сталина и его сотрапезников к алкоголю. О том, насколько пагубная склонность к нему в течение 1930-х гг. укоренялась в советском обществе, можно судить по общераспространенности взысканий по партийной линии за «бытовое разложение». Даже на уровне Политбюро выносились постановления, осуждавшие «банкеты и вечера с обильной выпивкой», а нарком обороны К.Е. Ворошилов в декабре 1938 г. вынужден был издать специальный приказ «О борьбе с пьянством в РККА». Сам Сталин в быту, как известно, не был ни эпикурейцем, ни пуританином. Алкоголь являлся будничной статьей его рациона. Долгое время у Сталина почётом пользовалась водка, о которой он позднее с удовольствием повторял фронтовую присказку: «Чиста, как слеза божьей матери, крепка, как Советская власть». Отказ вождя от крепких напитков произошёл из-за обострения хронических болезней, в частности, псориаза. В конце концов, овдовевший Сталин вынужден был сосредоточиться на лёгких винах «Атени», «Хидистави», «Цинандали», «Хванчкаре», «Киндзмараули», чьим целебным свойствам он доверял. В поисках вкусового разнообразия смешивал белое и красное вино, а на склоне жизни не чурался молодого вина «Маджари» – он называл его соком. Чтобы сохранить лицо, Сталин прибегал в ходе кремлёвских приёмов к нехитрым уловкам: пил минеральную воду или пользовался узкой рюмкой из очень толстого стекла, чем минимизировался её объём. Порой всё равно не обходилось без казусов, и тогда захмелевшего Сталина соратники церемонно уводили с приёма: «Чтобы как-то скрыть опьянение Сталина, Ворошилов и Маленков шли вплотную по бокам, сзади подпирал Каганович, а спереди прижался Ежов. Так и “поплыли”, тесной кучкой», – вспоминал один из таких эпизодов А.И. Мильчаков[23].

Приглашенная в Кремль публика подчинялась примеру и уговорам «хозяев». Порицая некоторых «гостей» за умеренность, Сталин или протокольный тамада могли проявить настойчивость, принуждая их поддерживать каждый тост. Принципиальное нежелание «гостя» соблюдать общий настрой могло усугубить или спровоцировать у Сталина неприязнь к человеку, что, например, случилось с председателем Госкинокомитета Б.З. Шумяцким. Справедливости ради следует сказать, что такая назойливость имела свои границы. Иногда Сталин, наоборот, пытался тактично или настоятельно урезонить именитых бражников. Заметно подгулявших «гостей», особенно тех, кто не мог совладать со

---

[22] *Geist E.* Cooking Bolshevik: Anastas Mikojan and the maiking of the «Book about delicious and healthy food» // Russian review. 2012. Vol. 71. № 2. P. 295–313.

[23] *Мильчаков А.И.* «Писать всё-таки надо!...» // Смена. 1988. № 13. С. 31.

своими восторженными чувствами к Сталину, охрана выводила из зала и аккуратно доставляла на дом или в гостиницу. Тем самым оберегалась репутация «гостей» и заодно отводились кривотолки о правительственных банкетах.

Организаторы кремлёвских приёмов копировали дипломатические рауты, увязывая протокол с концертными номерами. К сталинским фаворитам относились И.С. Козловский, А.В. Александров, М.Д. Михайлов, И.А. Моисеев, С.В. Образцов, В.А. Давыдова, О.В. Лепешинская и другие. К примеру, С. Образцов выступал в Кремле перед Сталиным более 20 раз. С другой стороны, многие одарённые люди, скажем, певица Л. Русланова, чей талант Сталин признавал и дома слушал её грамзаписи, лишь изредка появлялись в Кремле в силу сталинской неприязни. В целом праздничные представления не обходились без виртуозов художественного слова, певцов и музыкантов, артистов балета, цирка и театра марионеток. В таком виде кремлёвский дивертисмент достаточно метко резюмирует дневниковая фраза академика С.И. Вавилова: «Концерт – помесь Улановой с хором Пятницкого»[24].

Именно артисты, располагавшиеся вблизи коридора, через который появлялись «хозяева», первыми встречали Сталина и его свиту. «Хозяева» были благодарными зрителями и слушателями, любили аплодировать. Когда исполнялись популярные песни, «хозяева» вместе с «гостями» подпевали артистам. Самым непоседливым среди них был К.Е. Ворошилов. Он находил время для уроков вокала, с удовольствием пел на приёмах, в шутку мог дирижировать джаз-оркестром. Иногда пример подавал сам Сталин. Вместе с грузинскими артистами он с удовольствием пел народные карталинские и гурийские песни. Иногда «хозяева» по ходу приёма уединялись в отдельной комнате, куда приглашали избранных артистов. Там в более приватной обстановке они смаковали чужие таланты и похвалялись своими. Праздничную программу, как уточнил Невежин, завершал танцевальный эпилог, наступавший обычно, когда приём покидали Сталин и его соратники. Примечательно, что «хозяева» покидали приём одновременно и в полном составе и поэтому никогда не танцевали.

Участники концерта выступали в промежутке между тостами, исполняя свои номера «под звон бокалов и стук вилок». Иным «гостям» было неудобно есть во время выступлений таких корифеев, как И. Козловский или Г. Уланова. Именно поэтому некоторые мэтры сцены, например, певец С.Я. Лемешев, не особо радовались своему участию в кремлёвских концертах. Раблезианская обстановка компенсировалась внушительными денежными гонорарами (как подтрунивали сами артисты, «кремлёвским леваком»), а также, что было немаловажно, расчётом на покровительство со стороны всемогущих «меценатов». Случалось, что в разгар или под занавес веселья люди искусства, такие как И. Москвин, Т. Макарова, Н. Вачнадзе или Я. Леонтьев, хлопотали перед вождями за пострадавших или нуждавшихся в помощи.

Предложенные В.А. Невежиным параметры изучения Больших кремлёвских приёмов позволяют сделать базовые выводы об этом социокультурном феномене. Будучи самовыражением режима, они наряду с московским метро или Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой превратились в помпезную экспозицию советских достижений в области гармонизации общественно-политической сферы, культуры и потребления. Сталин подтвердил свои недюжинные задатки церемониймейстера, метрдотеля и сомелье, обратив приёмы в

---

[24] *Вавилов С.И.* «Мысль об эволюции мира – единственное абсолютное, за что ещё можно держаться сознанием» // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 2. С. 26.

лабораторию официального политеса и курсы комильфо. В контексте политтехнологий, которыми пользовался режим для своей легитимации, приёмы выглядели как инаугурационные акции с участием эрзац-элиты и «лучших людей» страны. В кремлёвских церемониалах отражался процесс кристаллизации привилегированных прожилок в различных стратах советского общества. В своей сумме «хозяева» и «гости» составляли идеальный советский социум в миниатюре. Вместе с тем приёмы скорее характеризовали политический Олимп и его обитателей, нежели советское общество в его аутентичном виде. Основанные на принципах иерархичности и субординации, они культивировали патриархальный образ верховной власти. В этом, во-первых, заключалась их аутентичность для сталинской эпохи, во-вторых, реликтовость. Видимо поэтому кто-то из коллег по театру, или побывавший или наслышанный о кремлёвских торжествах, однажды предложил ленинградскому режиссеру Л.С. Вивьену при постановке сцены пира у Макбета вспомнить о правительственных приёмах в Кремле – настолько перекликалась современность с архаикой.

Рудольф Пихоя: Имперский размах, адресованный стране и миру

Новая книга В.А. Невежина продолжает исследования в многообещающей области научных исследований – изучении политического этикета и протокола. В отечественной историографии у него немного предшественников. Едва ли не ближе всего оказываются к его работе книги И.Е. Забелина «Домашний быт русских царей в XVI–XVII веках» и «Домашний быт русских цариц в XVI–XVII веках». Многогранность изучаемого феномена – складывания и развития церемониала высших органов государственной власти – позволяет получить информацию и о культурных стереотипах эпохи, и о недоступных для понимания иными средствами изучения механизмов осуществления власти. И чем более закрыта от мира эта политическая система, тем важнее становится анализ её внешних проявлений, к числу которых и относится государственный протокол и его осуществление.

Невежин изучает один из аспектов этого протокола – государственные приёмы в Кремле в 1930-х – первой половине 1940-х гг. Хочу отметить в высшей степени основательную источниковую основу книги. Приложения к тексту книги – от перечня участников приёмов до репертуаров кремлёвских концертов – чрезвычайно информативны.

Что ещё привлекло меня в книге? Среди многочисленных сюжетов я хотел бы обратить внимание на то, что автор установил время, когда «ворошиловские завтраки» – встречи руководства страны с выпускниками военных академий, проходившие со второй половины 1920-х гг., – сменились государственными приёмами, устраивавшимися ЦК ВКП(б) и правительством СССР. Это время – середина 1930-х гг. – стало во многом поворотным в развитии официальной идеологии, когда руководство СССР начало осознавать и демонстрировать свою преемственность с Российской империей. Идеологический разворот коснулся многих сторон жизни, а кремлёвские приёмы с их имперским размахом, адресованным стране и миру, должны были свидетельствовать о новом этапе развития страны.

Сведения о близости к «хозяину» на приёмах и на неформальных обедах позволяют выявить узкий круг представителей власти, в разное время близких к Сталину. Существенно и то, что близость к «хозяину» далеко не всегда совпадала с формальным местом человека в партийной или государственной табели

о рангах. Заслуживают внимания данные Невежина о репертуаре кремлёвских концертов, стремление совместить в нём российскую и западную классику с советской пропагандистской песней, что не могло не влиять на политику государства в области культуры.

Направление, разрабатываемое В.А. Невежиным, безусловно перспективно. Тем не менее, это не избавляет книгу от ряда недочетов. Непонятны хронологические рамки работы. Если нижняя дата обоснована, то верхняя представляется довольно произвольной. Формально военные приёмы закончились не 24 мая 1945 г., когда были приняты командующие войсками Красной армии, а 25 июня 1945 г., приёмом участников Парада Победы, который оказался вне поля зрения автора. Не очень понятно, почему автор оставил за рамками работы другие приёмы 1945, 1947, 1948 и 1949 гг. Он уделил значительное место в книге речи Сталина на приеме 24 мая 1945 г. о русском народе. Без сомнения, это важная тема. Однако она выходит за проблематику книги и должна быть объектом другого исследования.

Ольга Голечкова: Кухня политических решений

Начиная с 1980-х гг. в западной историографии, и примерно с 1990-х гг., в российской в рамках так называемой новой политической истории всё чаще становятся востребованными нетрадиционные подходы к изучению власти и её структур. В это направление вписывается и исследование В.А. Невежина, поскольку в фокусе его внимания оказалась не только собственно политическая составляющая Больших кремлёвских приёмов, но и оценка их как актов самопрезентации власти, причём особое внимание уделяется их ритуальной стороне и ролевым функциям участников этих действ.

В постановочной части застолья характеризуются как своего рода «моделирующая структура», в которой отражаются все «значимые черты политического сообщества» (с. 47). Говоря о специфической роли дружеских застолий, которые, как правило, проходили в кремлёвской квартире или на «ближней даче» Сталина (с. 52), Невежин показывает, что на них в неформальной обстановке обсуждались и решались важнейшие политические вопросы (с. 51–52). Отсюда он делает важное заключение: воспоминания участников застолий (Микояна, а также С.И. Аллилуевой и М. Джиласа) позволяют поставить под сомнение расхожее мнение о том, что Сталин с середины 1930-х гг. всё реже согласовывал важнейшие решения с представителями своего окружения. Так, например, по свидетельству Молотова, часто во время застолий «вождь интересовался текущими делами, и тут же, за столом, вместе с членами Политбюро ЦК ВКП(б) устраивал их обсуждение» (с. 51). Иными словами, именно обеды и ужины ближнего круга Сталина являлись своего рода кухней принятия политических решений.

Представляется, что приводимый автором материал может быть основой и для более радикальных выводов о том неформальном сообществе, которое в исследовании обозначено как «питейная компания». Участие в застольях свидетельствовало об исключительной политической влиятельности приглашаемых к Сталину лиц. Встречи «питейной компании» способствовали сплочению и раскрепощению сталинских соратников, стимулировали формирование между ними более или менее доверительных отношений. Наконец, анализируя то, что происходило во время сталинских застолий, можно приблизиться к пониманию реальных взаимоотношений между вождём и его ближайшим окружением,

оценить уровень «коллегиальности» при обсуждении тех или иных вопросов и принятии по ним решений. Другое дело, что из-за скудости заслуживающих внимания сведений произвести такую реконструкцию чаще всего невозможно. Но важно уже хотя бы то, что книга позволяет вплотную приблизиться к постановке этой проблемы.

Предшественники Невежина сформулировали набор необходимых требований, которые Сталин, по их мнению, предъявлял к соратникам. Сюда отнесены личные психологические качества, организаторские способности, внешний облик и физические данные (с. 23). Автор добавил в приведённый перечень качеств ещё один критерий – принадлежность к «питейной компании». Участие в застольях являлось, по мнению исследователя, одним из важнейших условий для вхождения в сталинскую эрзац-элиту. На этом утверждении стоит остановиться более подробно. Автор отталкивается от утверждения о причастности того или иного деятеля к «питейной компании», а уже далее взвешивает его влиятельность и делает вывод о существовании эрзац-элиты. Но такая схема представляется уязвимой. Здравый смысл требует по умолчанию признать каждого участника «питейной компании» влиятельным лицом. Отсюда появляется ряд вопросов. Совпадало ли усиление влиятельности того или иного функционера с попаданием в «питейную компанию»? В чем конкретно проявлялась отмеченная синхронность, если, конечно, она имела место? Каким образом присутствие на обедах Сталина могло влиять на принятие конкретных политических решений? Как представители «питейной компании» предлагали свои идеи вождю? Могли ли они просто выступить с предложением или проектом во время очередного «заседания»? Или ритуал застолий позволял некоторую инициативу только после непосредственного обращения Сталина к одному из них? Вряд ли можно рассчитывать на обнаружение большого числа источников, иллюстрирующих эту картину. Тем не менее именно лоббирование или даже просто обсуждение тех или иных решений на неформальных встречах представляет особенный интерес.

Большие приёмы стоят особняком по отношению к отмеченному выше феномену. Если застолья вождя представляли собой своего рода квазиколлегиальный орган управления и являлись властным эпицентром сталинской системы, то Большие приёмы были типичными политтехнологическими или пропагандистскими акциями, проводившимися в Большом Кремлёвском дворце в 1930-е гг., во время и сразу после окончания Великой Отечественной войны. Невежин делит участников приёмов на три основные группы. К первой относились Сталин и его ближайшее окружение – «хозяева» банкетов. Интересной находкой автора стал выявленный им своеобразный рейтинг фигур из ближнего окружения Сталина. Редактируя публикации о приёмах в прессе, Сталин сам определял порядок, в котором перечислялись его сотрапезники. Первые места в иерархии неизменно принадлежали членам «питейной компании» – В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову и Л.М. Кагановичу (с. 139–140). Автору удалось проследить некоторые связи между участием в банкетах и продвижением по карьерной лестнице. Так, например, Н.И. Ежов первый раз присутствовал на приеме в числе «хозяев» 13 августа 1936 г., за неделю до начала громкого процесса «объединенного троцкистско-зиновьевского центра». По мнению Невежина, приглашение стало своего рода благодарностью Ежову за подготовку этого дела (с. 147–148). В 1937 г., когда карьера Ежова достигла апогея, он переместился с восьмого на пятое место в рейтинге. И наоборот, когда глава

НКВД начал терять свои позиции, в «правдинском» отчете о банкете 17 апреля 1938 г. он упомянут девятым (с. 172). Вместе с тем этот рейтинг можно было бы дополнить другими оценочными критериями. Например, посчитать, с какой частотой произносились тосты за тех или иных деятелей, а также проанализировать их содержание. Так, на приеме 2 мая 1933 г. Сталин не просто провозгласил тост за Ворошилова, но назвал его «лучшим учеником Ленина». Также, возможно, рейтинговая картина в большей степени отражала бы реальное положение лиц из верхнего слоя элиты, если бы при её составлении учитывалась частота упоминаний последних в прессе.

Другой категорией участников банкетов были «гости». Несмотря на то что «хозяева» обладали несопоставимо более значительным политическим весом, для спектаклей требовались зрители – их же можно назвать своего рода массовкой представлений. Представляется, что выделенная автором общность «гостей» может быть разделена на две подгруппы. К первой относились «звезды» – летчики, устанавливавшие рекорды, выдающиеся военные деятели и т.п. Эти лица получали возможность упрочить свой авторитет в глазах коллег, присутствовавших на банкете, а также в масштабах всей страны – через газетный отчёт о кремлёвском приеме. Во вторую подгруппу входили менее выдающиеся «гости». Среди них были преподаватели военно-учебных заведений, жены и сослуживцы «звезд», рядовые партийцы. Так, например, «гостями» приёма, посвященного Дню Военно-морского флота (27 июля 1939 г.), стали не только представители командного состава, но и простые артиллеристы, минеры, торпедисты, а также слушатели военно-морских учебных заведений, судостроители (с. 205). Члены этой группы восхищались Сталиным, достижениями «звёзд», успехами страны, тем самым упрочивая авторитет вождя и «гостей» из первой подгруппы. Эта общность представляется не менее важной, поскольку, как можно предположить, именно они потом с восторгом рассказывали знакомым и родственникам о великолепии приёмов, величии и отеческой доброте первого лица и заслугах соотечественников.

Возникает закономерный вопрос: в какой мере участие в приёме в качестве рядового участника меняло социальный статус человека? Ещё одно возможное направление анализа – изучение восприятия банкетов «гостями» и простыми советскими гражданами. Отчасти оно реализовано автором. Так, он показывает, что в среде военной элиты приглашение в Кремль на приём 8 ноября 1939 г. вызвало «исключительный подъем», особенно у тех представителей этой корпорации, которые в силу своего происхождения имели основание не ощущать себя вполне «своими». В частности, комдив Ф.П. Шафалович отметил, что очень рад тому доверию, которое «стали оказывать старым преподавательским кадрам Академии Генерального штаба РККА», а Н.П. Шварц при вручении ему приглашения заплакал от радости и «бросился целовать секретаря парторганизации» (с. 202).

К третьей группе «исполнителей» Невежин относит артистов, выступавших на приёмах. Как правило, вождь принимал непосредственное участие в составлении программ банкетов. Анализ привлечённых автором источников подтверждает мнение Е.С. Громова, что «простенькая мелодия “Сулико”» не была «пределом музыкального восприятия» вождя (с. 18–19). Кандидатуры исполнителей предварительно одобрялись Комитетом по делам искусств СНК СССР, а также проверялись органами НКВД (с. 324). Несмотря на жёсткий контроль, звёзды советской сцены, имевшие «неподходящих» родственников

(эмигрантов, репрессированных или принадлежавших по происхождению к бывшим «эксплуататорским классам»), всё же могли быть допущены к участию в кремлёвских концертах, если их талант перевешивал неумолимые доводы классового подхода. Так, балерина О.В. Лепешинская происходила из дворянской семьи, а многие её родственники были репрессированы (с. 230). Когда же Сталину сообщили о том, что на солиста Большого театра И.С. Козловского собрано «два мешка компромата», он достаточно резко заявил в ответ: «Хорошо, мы посадим товарища Козловского, а петь кто будет – Вы?» (с. 232).

Жёсткими были не только отбор участников концертов, но и пропускная система Кремля, а также его охрана. Процедура проникновения в Кремль, как отмечает Невежин со ссылкой на участников представлений музыканта Ю.Б. Елагина, балерину М.М. Плисецкую и других, могла занимать длительное время. Плисецкая утверждает, что артистам не разрешалось с собой брать ничего лишнего, даже костюмы предлагалось одеть заранее. У ворот Кремля проводилась тщательная проверка, вплоть до пролистывания нот и прощупывания деталей костюма (с. 288, 289). В комнатах ожидания перед выходом на сцену и даже в кулисах находились представители охраны.

Общий вывод автора заключается в том, что торжественные публичные инсценировки прежде всего служили «средством представления авторитета», а также давали возможность носителям власти «осознать своё место» в структуре управления (с. 25). «Исполнители» способствовали театрализации действия. В книге вообще уделяется много внимания ритуалу и этикету больших кремлёвских приёмов. Приведённые в монографии факты свидетельствуют о том, что главный герой приёмов – Сталин – аккуратно поддерживал определённый имидж, транслировавшийся на протяжении многих лет. С одной стороны, вождь обычно держался достаточно скромно, выглядел просто и доступно, нередко по-свойски разговаривал с участниками банкетов, даже демонстративно принижал себя. Так, на заявление В.П. Чкалова о готовности умереть за Сталина тот ответил: «Я вам советую... не ставить себе задачу умереть за кого-либо... особенно за стариков, вроде меня» (с. 275). При этом, как отмечает Невежин, намерения приглашённых поговорить со Сталиным, равно как и простые движения в направлении стола, за которым находились вождь и его ближайшее окружение, как правило, пресекались. Когда после выступления актриса Л. Орлова пожелала выпить за Сталина и попыталась приблизиться к столу президиума, несколько охранников бросились к ней, чтобы остановить её продвижение в сторону вождя. И хотя Сталин, рукой приказав охране отступить, постарался сгладить ситуацию (с. 286), сам факт её возникновения представляется весьма значимым. С другой стороны, Сталин не позволял опускать планку: не злоупотреблял алкоголем, не допускал панибратства с пришедшими на приём. В книге упоминаются два случая, когда Чкалов прерывал застольную речь Сталина. Оба раза вождь резко осадил летчика (с. 271–278). Вместе с тем он охотно демонстрировал чувство юмора, гостеприимство, приветливость, сердечность, хотя никогда не выступал в роли тамады.

Отдельное место в книге уделено изучению декад национальных искусств и приёмов в их честь. Они проводились от имени и под непосредственным контролем созданного в начале 1936 г. Комитета по делам искусств при СНК СССР. Большинство из них, как пишет Невежин, готовилось в максимально сжатые сроки и нередко при непосредственном руководстве московских культурных деятелей. Декады, а затем и приёмы, их завершавшие, были призваны

продемонстрировать «расцвет национальной культуры» и «единение» народов. Между тем в обстановке спешки в мероприятиях нередко принимали участие посредственные деятели, как правило, присланные из столицы, на скорую руку сочинявшие «национальные» оперы и балеты. Известный музыкант Ю.Б. Елагин предложил следующую стандартную схему «создания национальных искусств». Одному из московских композиторов «среднего качества» предлагалось отправиться в какую-либо республику с целью ознакомиться с народным фольклором. Затем за «приличную плату» данный композитор готовил национальную оперу или балет. Работа по постановке этих произведений также проводилась при помощи московских музыкантов, певцов (с. 112–113). В итоге «мастерство подменялось зрелищностью, парадностью» (с. 111). Плисецкая называла декады «показушными», но между тем признавала наличие положительных сторон этих мероприятий. Они «мобилизовали творческих людей до крайности. Все работали на пределе» (с. 113).

В последнем разделе исследования анализируются некоторые известные речи вождя. Автор, в частности, проводит скрупулёзный анализ знаменитого тоста о «русском народе» на кремлёвском приеме 24 мая 1945 г. и показывает, что при редактировании стенограммы для публикации Сталин вычеркнул значительную часть произнесенного им текста. Так, при перечислении качеств русского народа вождь употребил оборот «крепкая спина», но затем, очевидно, решил, что такая характеристика «слишком откровенно выдает его мысли», подводит к выводу, что в экстремальных условиях войны советское руководство «выехало на спине» русского народа. Такого рода уточнения, отмеченные Невежиным и дополнительно проиллюстрированные материалами других источников, представляют знаменитую речь Сталина в совершенно ином свете. Кроме того, автор приводит многочисленные высказывания, свидетельствовавшие о реакции общества на сталинские слова, о влиянии речи на национальные настроения и о том, какие политические коррективы она за собой повлекла (с. 368–380). Так, работник Комиссии по сортоиспытанию зерновых культур Баев заявил, что если бы такую речь произнес кто-либо другой, то его тут же обвинили бы в «великодержавном шовинизме» (с. 370). Учительница А.П. Протопопова утверждала, что русский народ, услышав этот тост, «буквально плакал от наплыва чувств, от гордости и радости» (с. 377).

В целом книга В.А. Невежина представляет собой уникальную попытку вывести отечественные исследования по политической истории на совершенно иной уровень. Отказываясь от классических подходов к анализу политической ситуации рассматриваемого периода, автор обратился к изучению ритуальной стороны «сценариев власти» (термин Р. Уортмана) И.В. Сталина. Воспринимая приёмы как сложный многослойный феномен, автор выделяет особую систему иерархии в проведении банкетов, распределение функций и ролей, а также символические ритуалы. Это явление Невежин рассмотрел в комплексе других тем – непосредственного управления «империей», взаимоотношений в кругах политической элиты, культурной политики. Затем автор намечает крупными мазками общую картину – воздействие приёмов на политическую ситуацию в стране, изменение статуса лидера нации и правительства в целом и реакцию рядовых представителей закрытого советского общества на происходившие изменения. Такие импрессионистические мазки не позволили детально прорисовать отдельные куски полотна, но зато наметили целый блок разнообразных направлений для дальнейшего изучения.

Не раз отмечалось, что в советское время (за исключением «оттепели» и перестройки) оставалась запретной тема сталинских репрессий, т.е. тема «кнута». С «пряником» дело обстояло лучше, однако речь при этом шла лишь о подлинных или мнимых достижениях советской власти, укреплявших её авторитет в массах. С точки же зрения того, как это сказывалось на авторитете «вождя», вопрос не исследовался – изучение темы сталинской политики (не просто советской, а именно сталинской) в любом её аспекте не приветствовалось. То же можно сказать и о прочих руководителях СССР, ибо «персональный» подход сразу же выводил на многие весьма «неудобные» вопросы, да и вообще на официальном уровне не принято было связывать эпоху с именем того или иного деятеля, кроме ныне «царствующего», за исключением разве что Ленина.

В этом смысле исследование В.А. Невежина можно считать новаторским уже в силу его тематики. И хотя для самого автора она не нова – достаточно вспомнить его прежние публикации на данную тему, – но в одном случае это были документы и материалы[25], а в другом – застольные речи Сталина[26], тогда как в обсуждаемой монографии впервые комплексно рассматриваются кремлёвские приёмы в целом. Перед нами предстаёт полнокровная картина самих приёмов, а также источниковедческие и методологические проблемы, встающие в процессе их изучения. Проблемы эти связаны прежде всего со свидетельствами очевидцев: те, кто делился впечатлениями в официальных изданиях того времени, был скован рамками дозволенного и самоцензурой, а те, кто предавался воспоминаниям в 1980-х гг. и позже, многое забыли и к тому же находились под влиянием другой «цензуры» – читательской. Как верно заметил цитируемый в книге Г.А. Скороходов, «иногда не покидает ощущение, что авторы точно рассчитывают, что́ именно стоит вспоминать» (с. 34). Добавим: и *как* именно. Но обойтись без мемуаров невозможно, и Невежин, как кажется, сумел отделить анекдоты и lapsus memoriae от вполне правдоподобных свидетельств. Это важно вдвойне, поскольку доходит до прямых подлогов, как то имело место с «исповедью» народной артистки РСФСР В.А. Давыдовой (с. 37).

Требует, однако, поправки утверждение автора о том, что мемуаристы, писавшие в хрущёвское и брежневское время, стремились оправдать своё поведение в сталинскую эпоху, которая-де в соответствии с решениями XX съезда «оценивалась преимущественно с критических позиций» (с. 33–34). Дело в том, что сама *эпоха* даже при Хрущёве оценивалась положительно, критике же подвергался лично Сталин и некоторые его приближённые. При Брежневе же образ «вождя» стал откровенно идеализироваться – правда, не столько в официальных текстах, сколько в кинематографе и литературе, но они-то как раз имели выход на более широкую аудиторию.

Прежде чем приступить к анализу источников, автор даёт представление о застолье, пире как о явлении культурологическом, с его особой атмосферой и отношениями между участниками совместной трапезы. Здесь напрашивается параллель с пирами Владимира Святославича, которые столь полюбились летописцам (хотя пиры устраивал любой князь)[27]. Но и из приёмов советского

---

[25] *Невежин В.А.* Большие кремлёвские приёмы Сталина. Документы и материалы. М.; СПб., 2003.

[26] *Невежин В.А.* Сталин о войне: Застольные речи 1933–1945 гг. М., 2007.

[27] См.: *Карпов А.Ю.* Владимир Святой. М., 1997. С. 291.

времени в памяти потомков остались par excellence сталинские приёмы. И совпадение это, думается, не случайно: в обоих случаях речь шла не просто о «протокольных» мероприятиях[28], а о своего рода социальной программе. Владимир, если верить летописи, приказывал развозить снедь, чтобы ею насыщались те, кто не мог передвигаться сам, а большинство людей получали доступ к продуктам и блюдам, о которых в повседневной жизни могли лишь мечтать. Любопытная параллель: во время пиров, если верить легенде, дружинники стали жаловаться, что им приходится «ясти деревянными лжицами, а не сребряными», и Владимир велел «исковати лжицы сребряны ясти дружине»[29]. Сталин же сам заявил артистам на одном из «ворошиловских завтраков» в 1932 г., что они, по его мнению, «одеты не так, как должны быть одеты артисты великой страны» и пообещал, что вскоре положение будет исправлено (с. 239). В этом эпизоде нашла отражение не просто тема дресс-кода. Речь шла о том, что элита страны должна выглядеть подобающим образом, тогда как еще совсем недавно руководство считало: «Мы не придаём никакого значения всяким церемониям и стараемся их упростить» (с. 242). Теперь же, если верить сообщению современника, без вечернего платья женщину могли не пустить на приём (с. 239).

Кремлёвские банкеты становились признаком принадлежности к элите, но в то же время участниками приёмов зачастую были простые люди, которым приходилось по мере сил приобщаться к правилам хорошего тона. Тем самым пиршества выполняли и политическую, и культурную функцию. Правда, преувеличивать эту последнюю роль не стоит – приобщение шло как бы на ходу, да и насколько оно влияло на дальнейшее поведение людей из слоёв, для которых сложные формы этикета были чужды, сказать трудно. В этом отношении характерно поведение публики во время выступлений артистов: обычно стоял шум, люди были заняты разговорами и едой, особенно в задних рядах, где было плохо слышно, что происходит на сцене. Как с горечью заметил один из лучших певцов Большого театра А.С. Пирогов по поводу выступления народного артиста СССР Л.М. Леонидова, «такой актёр неизвестно для кого читает под звон бокалов и стук вилок» (с. 305). Всё это весьма напоминало выступления провинциальных актёров и музыкантов перед пирующими купцами. Сам Сталин, правда, проявлял к искусству мастеров сцены неподдельный интерес, но водворить порядок во время музыкальных и драматических номеров не пытался. В связи с этим вспоминается эпизод из других времён, когда Ф. Лист перестал играть, как только Николай I начал беседу со своим адъютантом. Дерзкому композитору велели немедленно покинуть Петербург[30], но в любом случае он показал дурно воспитанному монарху, что не позволит не уважать себя. Нетрудно догадаться, что никто из артистов на сталинских приёмах себе такого не позволял.

Примечательно и другое обстоятельство. Несомненно, важнейшей целью для Сталина на этих мероприятиях было самопрославление, наслаждение всеобщим поклонением и обожанием[31], но также и неформальная обстановка, что

---

[28] Правда, трудно признать удачным доказательство важности кремлёвских приёмов, которое использует автор: «Всего с мая 1935 по май 1941 г. был проведён 41 Большой кремлёвский приём. Для сравнения, за указанный период имело место всего лишь 14 партийных форумов» (с. 382). Важность мероприятия частотой его проведения не определяется.

[29] ПСРЛ. Т. I. М., 2001. Стб. 126; Т. II. М., 1998. Стб. 111.

[30] *Берне О.* При дворе Николая I. Письма из Петербурга. 1842–1843. М., 2008. С. 141.

[31] Любопытно замечание В.О. Печатнова по поводу отказа Сталина принять участие в банкете в честь короля Георга VI в июне 1945 г. Там генсек оказался бы отнюдь не в центре всеобщего

отличало такие застолья от дипломатических приёмов и позволяло несколько расслабиться. Именно несколько, ибо Сталин как истинный политик всегда был «на работе»: за трапезой обсуждал с приближёнными важные вопросы (практика, известная с древности) и следил за поведением присутствующих, чтобы при необходимости должным образом на него реагировать. Однако труднее было «расслабиться» остальным, поскольку большинство из них оказывалось в совершенно необычной обстановке (у выступавшего в качестве конферансье Е.В. Самойлова из-за бесчисленных волнений даже развился радикулит), но даже те, кто попадал на банкет не в первый раз, учитывали присутствие большого числа сотрудников «органов», которые не только помогали нередко терявшимся гостям занять отведённые им места и следили за порядком, но и внимательно слушали, о чём присутствующие говорят между собой. Те, очевидно, умели держать язык за зубами – о случаях, когда кто-то имел неприятности из-за неосторожных разговоров на приёмах, в книге не сообщается. А вот о том, что кое-кто не прочь был унести с собой неположенное со стола – известно, чего, впрочем, и следовало ожидать, учитывая тогдашнюю весьма скудную жизнь и не самый высокий уровень воспитания у многих приглашённых.

Бдительность сотрудников охраны, впрочем, приводила и к неловким ситуациям, как с Л. Орловой, в которую они едва не вцепились, стоило ей подойти «слишком» близко к Сталину, чтобы предложить за него тост. Любопытен в этой связи случай, когда В.П. Чкалов не только прервал речь вождя возгласом «Умрём за Сталина!», но и повёл лётчиков – Героев Советского Союза – к столу, где сидел генсек, перед которым они встали стеной под овации зала. «Неясно лишь, какова была реакция сталинской охраны на этот неожиданный манёвр», – замечает автор (с. 271–273). Очевидно, ей пришлось смириться с описанной демонстрацией, тем более что это была демонстрация преданности. Необходимость заставляет быть разумным.

Контрастом этому случаю оказывается эпизод на приёме 5 мая 1941 г., когда Сталину, заявившему, что в Артиллерийской академии слишком долго изучают пушку, снятую с вооружения в 1916 г., попытался возразить начальник этой академии генерал-лейтенант А.К. Сивков, который указал, что обучение ведётся на современной технике. (Любопытно, что Сталин сам обратился с вопросом к залу, правильно ли описанное положение вещей, а когда Сивков ответил, пусть и возразив, генсек одёрнул его: «Прошу меня не перебивать».) По-видимому, именно за «дерзость такову» его сначала не подпустили к Сталину во время банкета, а через несколько дней сняли с должности (с. 279). В изложении автора дело выглядит так, что генсек оказался прав, ибо смотрел конспекты учившегося в той самой академии своего сына Якова, а Сивков защищал честь мундира. Возможно, хотя трудно представить, что последний стал бы открыто лгать – проверить правдивость его слов не составляло труда. Строго говоря, одно не противоречило другому, поскольку изучение старых образцов вооружения, само по себе необходимое, не отменяло изучения современных. Дело лишь в том, сколько времени стоило тратить на пушку 25-летней давности, но это вопрос, требующий специальных знаний. Думается, стоило бы оговорить подобные детали.

внимания, к чему давно привык (*Печатнов В.О.* На излёте «Великого альянса»: Сталин, Трумэн и Черчилль в конце Второй мировой войны (по новым документам) // Новая и новейшая история. 2013. № 3. С. 21).

Однако есть в монографии и куда более серьёзный пробел. Автор пишет, что Большие кремлёвские приёмы «являлись одной из форм общения в советской политической среде» (с. 384). «Коллективная трапеза... играет важную роль не только в укреплении существующих связей, но и в расширении межчеловеческих контактов» (с. 10). Спорить с этим не приходится. Однако в книге рассказывается, о том, как участники банкетов общались со Сталиным, но не друг с другом. О чём они говорили между собой? Завязывались ли новые знакомства? Упомянутой теме расширения межчеловеческих контактов стоило бы посвятить отдельную главу[32].

И ещё. Автор пишет, что в ходе совместной трапезы её «участники имеют *полную* возможность для самовыражения (курсив мой. – *А.К.*)» (с. 10). Тезис, прямо скажем, радикальный – ведь существуют достаточно жёсткие правила поведения на банкете, и самовыражаться допустимо только в рамках оных – «умение участника застолья *подчиниться принятому этикету* способствует коммуникации (курсив мой. – *А.К.*)» (с. 9–10). А это оговорка немаловажная; выход за рамки этикета создаёт особую культурную ситуацию, подчас весьма интересную, но традиционными правилами не приветствующуюся[33].

Теперь о вещах более прозаических. Нужно особо отметить, что автор уделяет немалое внимание историографии (особенно когда обсуждает тост Сталина за русский народ). Зачастую исследователи истории XX в. слишком увлечены введением в научный оборот не использовавшихся прежде архивных документов, а на учёт и анализ мнений предшественников их усердие простирается далеко не всегда. С другой стороны, В.А. Невежин, нередко полемизирующий с мемуаристами, публицистами, учёными, иногда ограничивается лишь цитированием высказываний, где комментарии напрашиваются сами собой. Так, Ю.Н. Жуков утверждает, что после ареста Н.И. Ежова «члены высшего руководства страны могли чувствовать себя в полной безопасности» (цит. на с. 175). Очевидно, что они не могли себя чувствовать так до самой смерти вождя, в интересах которого было не давать политической элите «расслабляться», это лишний раз доказало «ленинградское дело». Р.И. Косолапов уверяет, что в выступлении на приёме 24 мая 1945 г. «Сталин винится перед народом и признаёт его право прогнать это правительство» (с. 350). О каком «праве прогнать правительство» могла идти речь, если за «нелояльный» анекдот люди нередко отправлялись в места не столь отдалённые? И уж откровенным курьёзом является утверждение С.П. Куличкина о том, что в своём тосте на том же приёме Сталин «спел гимн» русскому православию (с. 352). Конечно, комментирование высказываний, подобных последнему[34], можно считать излишним ввиду их очевидной несостоятельности, однако стоило ли таковые вообще приводить? Ведь это не публицистика, а научное исследование, где вряд ли имеет смысл отвлекаться на мнения явно некомпетентных и пристрастных авторов, которых среди пишущих по сталинской тематике великое множество.

---

[32] В то же время в других местах подробно излагаются сюжеты, в рамках данной темы заслуживающие лишь упоминания: о беспосадочных перелётах (с. 99–101), о положении в металлургии (с. 105–106).

[33] Красноречивый пример такого рода см.: *Глушаков П.С.* Забытый эпизод из истории советского литературоведения (Андроников – Бонди – Виноградов – Гуковский – Оксман) // Новое литературное обозрение. 2011. № 107. С. 388–394, где описывается достойная вдохновения скальдов перебранка крупнейших советских литературоведов на банкете в честь присуждения И.Л. Андроникову Государственной премии СССР.

[34] На с. 351–352 можно встретить и иные фантазии в том же духе.

Последнее замечание касается справок об участниках приёмов. Сама эта подборка очень полезна – автор собрал данные о 750 участников кремлёвских банкетов. Но об одних приглашённых не сообщаются те данные, которые приведены о других (нет сведений о членстве в ЦК ВКП(б) Л.З. Мехлиса, о воинском звании П.А. Ротмистрова, об аресте и казни М.Д. Багирова, о маршале артиллерии Г.Ф. Одинцове сказано «военачальник» и больше ничего, и т.д.)[35]. В случае переиздания книги сведения было бы полезно унифицировать.

В завершение хотелось бы сказать следующее. Книга интересна не только своей темой, но и качеством исполнения: солидный уровень подборки материала и его анализа, предельная объективность, лёгкий для восприятия язык. Мы видим кремлёвские приёмы с разных сторон – и с исторической, и с материальной, и с культурной, и с психологической. Монография В.А. Невежина – приглашение историкам заняться и другими проявлениями «парадной повседневности» того времени: военными и физкультурными парадами, процедурами награждения в Кремле, торжественными заседаниями в честь юбилейных дат или важных событий и др. Хотелось бы надеяться, что и эти темы найдут своих исследователей и будут изучены столь же обстоятельно.

Материал подготовлен И.А. Христофоровым

[35] Встречаются (не только в подборке, но и в основном тексте) и неточности: генерал-лейтенант авиации Иван Проскуров назван Иосифом (с. 509), в отношении генерала армии А.А. Белобородова указано лишь звание генерал-майора, полученное им в 1941 г. (с. 486), А.А. Игнатьев назван генералом царской армии (с. 244–245), хотя генеральское звание он получил уже при Временном правительстве, и т.д.

В.А. Тишков. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013. 649 с.

Монография академика РАН Валерия Александровича Тишкова – фундаментальное социально-антропологическое и историко-философское исследование национальной идентичности людей, осознающих себя, несмотря на радикальные трансформации 1917 и 1991 гг., причастными к пространству Российской империи – СССР – Российской Федерации (с. 5). По собственной формулировке автора, книга «обосновывает до этого постыдно игнорированный *феномен российской историко-культурной и гражданско-политической общности и её многообразное единство*».

Монография состоит из четырёх основных частей: 1. Теория и история российской идентичности; 2. Советский проект; 3. Социология российской нации; 4. Русский мир. Несколько глав написаны в соавторстве с В.В. Трепавловым, Т.Ю. Красовицкой, Д.А. Аманжоловой, О.Е. Казьминой, В.В. Степановым, М.В. Романовым (подробнее см. с. 36–37). Книга имеет богатый иллюстративный материал, множество сравнительных таблиц, графиков и диаграмм. Она написана на основе новейших научных представлений об обществе, государстве и нации. Этнография, история, философия и политика в этом труде неразрывно связаны, а в центре монографии – становление категорий «россияне» и «российский народ».

Утверждение представления о российском народе как о гражданской нации, убедительно показывает В.А. Тишков, и есть процесс формирования национальной идентичности (нациестроительства). В основе его – осознание россиянами того, что наша страна – национальное государство и мы – единый народ: многообразный и цельный, с общими языком, ценностями, песнями, праздниками, переживаниями за победы и драмы своей страны (с. 36). Именно национальное самосознание делает россиян народом-нацией (с. 3). При этом применительно к нации автор не делает различия между понятиями «самосознание» и «идентичность» (с. 4, 64). Ещё в 1918 г. П.Б. Струве писал, что «нация конструируется и создаётся национальным сознанием» (причём термин «конструирование» был использован им в том же смысле, как его понимает современная теория социального конструктивизма – с. 20, 38). И вот спустя столетие очевидные тогда истины нуждаются в новом понимании и обосновании.

В основе авторского подхода – понимание того, что «государство Российское было, есть и будет», что оно во все времена оставалось постоянным фактором истории для его жителей и внешнего мира (с. 6). Новаторски для общественного сознания звучит представление Тишкова о российском государстве как государстве национальном, каковым оно стало «со времени поздних Романовых» и оставалось в период существования СССР (с. 7). Нельзя не согласиться с автором, что для самого существования России жизненно важно утверждение в нашем научном и общественно-политическом языке понимания «нации» как сообщества граждан одного государства – понимания, которое давно утвердилось во всём мире (с. 9). Автор предлагает использовать понятие «российский народ-нация» при сохранении категории «нация» в отношении всех этнических общностей страны.

Существование наций как этнических общностей, к примеру, каталонцев и басков в Испании, шотландцев в Великобритании, квебекцев в Канаде, столь же бесспорно, как и существование американской, испанской, британской, канадской, австралийской, бразильской, индийской и китайской общегражданских наций. Почему же Россия никогда не рассматривается в этом ряду как *национальное* государство? Опираясь на общемировую практику, необходимо, по твёрдому убеждению автора, ввести в нашу жизнь на всех уровнях и во всех общественно зна-

чимых сферах употребление термина «нация» в отношении «российского народа» (с. 9, 40, 85, 226, 305– 306, 346, 600–601).

Одна из частных проблем, связанных с пониманием категории «российский» как «общий для всех граждан страны независимо от их этнического происхождения» связана с двойственным смыслом англоязычного понятия *Russian*, которое, как известно, означает одновременно и «российский», и «русский» (с. 11, 530). Автор разделяет позицию М.Н. Тихомирова и Б.М. Клосса о том, что понятия Россия, «российский», «россиянин», встречаются ещё в конце XV в. (с. 93, 106). Окончательно утверждаются они в XVIII в. (с. 94–95), а вовсе не во времена Б.Н. Ельцина (с. 11, 109). Совершенно не случайно при погребении Петра I Феофан Прокопович восклицал: «До чего мы дожили, о Россиане?.. Петра Первого погребаем» (с. 101, 106). Одним из столпов именно российского национального самосознания В.А. Тишков обоснованно считает Н.М. Карамзина, которому, наряду с А.С. Пушкиным, принадлежит и приоритет введения понятия «россияне» в современный русский язык (с. 107–109, 126).

Таким образом, в книге всесторонне обосновывается точка зрения, что в России *есть* нация, и миф о том, что её не существует, должен быть развеян (с. 324, 334–335, 338, 346, 529–530, 600–601, 624–625). Автор обстоятельно аргументирует свою позицию (которая сложилась, по его признанию, ещё в 1990-х гг.), приводя и анализируя огромное количество высказываний выдающихся философов, историков и политиков различных эпох. Перед читателем выстраиваются и оказываются призванными к рассудительному, взвешенному диалогу взгляды мыслителей и политических деятелей разных взглядов и стран. В мировой науке категория «нация» рассматривается в бесчисленном количестве исторических, социологических и политологических трудов, но отечественные историки затрагивают эту проблематику крайне редко. Фактически В.А. Тишков стремится преодолеть своеобразное табу отечественного общественно-политического дискурса, призывая к коренному переосмыслению утвердившегося в нашем академическом и общественном лексиконе значения слова «нация» (с. 101–102). Впрочем, как он справедливо отмечает, национальная идентичность конструируется и посредством таких, на первый взгляд, недискурсивных практик, как система паспортизации (с. 315).

Безусловно, не случайно обращение автора к истории отечественной философии. Именно в суждениях таких ее классиков, как Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, В.С. Соловьёв, И.А. Ильин, во многом было заложено основание современному пониманию волнующих общество категорий. Возвращение на рубеже 1980–1990-х гг. в академическое и политическое пространство их взглядов, с типичным для них смешением религиозного мистицизма, мессианства, либерализма, имперскости, апокалипсизма, элитарности и свободы, увы, не послужило продвижению новых представлений об обществе (с. 27). С другой стороны, ярко и актуально звучит, например, сравнение Г.П. Федотовым нации с музыкальным или поэтическим произведением, в котором первые такты или строки необязательно выражают главную тему, иногда раскрывающуюся лишь в конце (с. 40).

Рассматривая историю определения «национальная идентичность», автор обращается к воззрениям как Г.В.Ф. Гегеля, утверждавшего, что «современное общество нашло свою разумную идентичность в современном конституционном государстве», так и немецкого философа Ю. Хабермаса, считающего, что «государственная организация по-прежнему является тем уровнем, на котором общества формируют свою идентичность» (с. 61, 77). В своё время американский историк М. фон Хаген задался вопросами о том, каким образом Российской империи удалось просуществовать столь долгое время, как в её составе уживались разнообразные сообщества и территории, почему, с одной стороны, игнорируется единство Российской империи и Советского Союза, а с другой, – всячески подчеркивается полиэтничный характер обоих государств, что зачастую служит обоснованием не столько межнационального диалога, сколько выводов о будто бы предрешённом их распаде (с. 85–86, 89). Ответ автор находит у П.Б. Струве: «То, что делали и сделали

московские цари, уже было в одно и то же время и образованием национального государства, и созданием империи» (с. 86, 89). Двойственность российского государства (империя и национальное государство) является для Тишкова отправной точкой размышлений о российском народе-нации как в историческом, так и в современном контексте. Исследователь категорически не приемлет взгляда на российский народ как на «вненациональную» или «наднациональную» общность людей, считая его драматическим заблуждением многих политиков и учёных. По его мнению, именно российскую идентичность следует считать единственно надёжным выражением единства страны (с. 86–87).

Обратимся к логике рассуждений автора о том, что означают термины «национальность» и «нация», что служит препятствием для осознания «российской нации», что такое «народ», этническое меньшинство и большинство. Понятия «народ» и «национальность», как отмечает Тишков (с. 41–42), лишь в России и ещё нескольких странах, например, в Китае считаются синонимичными и относятся именно к этнической принадлежности. В остальном же мире «национальность» означает гражданство. Но в нашей стране «этническое» понимание национальности укоренилось не только в науке и в общественном сознании, но и на государственном уровне, что, в частности, отражается и в номенклатуре общегосударственных переписей, в ходе которых гражданам России предлагается ответить на вопрос о национальной принадлежности. В итоге в переписи 2002 г. только 1% опрошенных не указали свою этническую принадлежность (в 2010 г. – de facto 0.4%).

Советская наука, как и современная практика, не признавала сложную (или двойную) идентичность, не позволяя фиксировать её даже в смешанных браках, не говоря уже о разных уровнях идентичности – этническом и общегражданском. В мировой же практике понятие «нация» неразрывно связано не с этносом, а с «государством», что отражено в категории «нация-государство». Именно так осознают и обозначают себя все суверенные государства мира, входящие в ООН. Получается, что, к примеру, Франция – это национальное государство, так как во Франции все граждане считаются французами, а Россия – нет (с. 42–43).

Автор неоднократно напоминает читателю, что слово «нация» в русском политическом лексиконе встречается с XVIII в., а в дипломатическом протоколе оно употреблялось уже во второй половине XVII в. (с. 48, 59–60). С момента правления Петра I этот термин укореняется как в официальных документах, так и в общественной жизни. Характерным подтверждением этому является проект гр. Н.И. Панина о фундаментальных государственных законах, который, в частности, гласил: «Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было ещё в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ея государем... Отечество купно с государем и корпусом своим представляет нацию... государство его ничем так скоро не может быть подвергнуто конечному разрушению, как есть ли вдруг и не приуготовя нацию, дать ей преимущества». В.А. Тишков делает важное замечание о том, что понятие «русский народ» представляло собой внеэтническую категорию. Так, известная в XIX в. книга М. Забылина об обычаях, обрядах, верованиях и преданиях русского народа включала и сведения о татарских, чувашских, мордовских, черемисских свадьбах, а также о шаманизме тунгусов и самоедов (с. 48–51, 60).

Позднее, в 1930-х гг. предполагалось, что все основные этнические общности СССР станут социалистическими нациями (Сталин даже определил их количество – 60). Однако известный этнограф С.А. Токарев, «не будучи обременённым сталинскими догмами», писал, что в современной научной литературе встречаются попытки «расклассифицировать» народы нашей страны на «нации», «народности» и «этнографические группы». Он справедливо считал такую классификацию, проводившуюся часто по формальным признакам, надуманной и ведущей к бесконечным спорам о том, является ли такой-то «народ» «нацией» или нет (с. 53–54, 60). В советской этнографии считалось, что этническое и национальное – синонимы. Отказываясь от этого представления, по

мнению автора, не следует изобретать и его суррогатов (этносоциальный организм, этникос и проч.), свойственных теории времён Ю.В. Бромлея, которые никак не совместимы с конкретным полевым этнографическим материалом (с. 61–62).

Огромное значение в становлении национальной идентичности, по глубокому убеждению автора, имеют собирательные (как внешние, так и внутренние) образы страны и народа. Тишков определяет национальную идентичность как общее представление граждан о своей стране, её народе и как чувство принадлежности к ним. Исследователь приходит к однозначному выводу о том, что национальная идентичность сограждан не менее важна для государства, чем охраняемые границы, конституция, армия и другие институты (с. 65–66). Очевидны поэтому негативные результаты отсутствия в Конституции РФ определения российского народа как гражданской нации (с. 70–71). Автор отмечает, что с советских времен радикальных подвижек в отношении общественного восприятия категорий «народ» и «нация» не произошло не только в среде государственных служащих, но и среди учёных-гуманитариев. Он с сожалением констатирует, что государственный гражданский национализм и феномен российского народа остаются вне научной проблематики. И это при том, что возникновение российского национализма можно отнести ко временам Петра I и М.В. Ломоносова, когда самого понятия «нация» ещё не существовало (с. 94, 100–101).

По вопросу становления национализма в России автор разделяет мнение американской исследовательницы Л. Гринфельд, обращавшей особое внимание на вклад Петра I и Екатерины II. К концу XVIII в. «матрица» национального самосознания для будущих поколений россиян была создана. Екатерина II отчётливо понимала, как важно «создать, сплотить, охранять» мир множества различных народов России (с. 98, 103–104, 106, 122, 127, 179). О сплочении единой государственной нации в лице российского народа мечтал и Александр I, подтверждением чего служит проект М.М. Сперанского (с. 116, 121–122).

И тем не менее в историографии история «национального вопроса» в России сводится к истории «национальных движений». В результате из национальной истории российского государства выпадает история поляков, финнов, прибалтийских народов, обжитой части Алеутских островов, Аляски и крепости Росс в Северной Калифорнии (с. 78–79, 89). А сама Россия часто мыслится как «наднациональная» целостность или общность (с. 83–84, 89). Автор справедливо оценивает эту ситуацию как «неизживаемое заблуждение» о том, что есть «национальное» и что есть «этническое».

Ключевая роль в деле становления национально-государственной идентичности отводится единому языку (дискуссионным вопросам о русском языке и словесности в книге уделяется также много внимания). Употребление в России русского языка как lingua franca началось вовсе не в XX в. Общий язык осознавался как «российский»: недаром М.В. Ломоносов создал в 1755 г. именно «Российскую грамматику» (с. 96–97). К концу XVIII в. завершился процесс складывания русского литературного языка. Одновременно происходило становление российской интеллигенции, что можно считать показателем формирования национального самосознания (с. 103, 106). Важно и то, что «российское дворянство оказывалось этнически открытым сословием». В XVI–XVII вв. происходил приток аристократии тюркского происхождения, а в XVIII в. – остзейских немцев. (с. 177). Автор отмечает также славяно-финское взаимодействие, культурное взаимовлияние русского и коренного (аборигенного) населения, к примеру, ительменов, приамурских племен, калмыков, немусульманских народов Поволжья, населения Северного Кавказа (с. 158–174).

В XVIII–XIX вв., как уже говорилось, понятие «нация» означало прежде всего «самостоятельное политическое образование или государство» (с. 179). В трактате П.И. Пестеля «Русская правда» есть глава, целиком посвященная политике в отношении разных групп российского населения и формированиию единого российского народа. Пестель по сути приравнивает понятия «народ» и «нация» (с. 180–181). Тишков приходит к заключению, что с конца XVIII до конца XIX в., т.е. на протяжении почти столетия, в стране домини-

ровала идея общерусской нации (с. 183). Неотъемлемой её частью становились и сибирские земли. П.П. Семёнов-Тян-Шанский писал, что с конца XIX в. Сибирь из азиатской колонии превратилась в «русскую землю», неотрывную часть русской нации (с. 184–187). «В основе нации всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая культурная работа, общие культурные чаяния», нация связана и обретает силу и возможности развития в рамках определенного государства (с. 144, 155). Как современно и актуально звучат эти слова П.Б. Струве!

Главной причиной краха Российской империи, как и распада Советского Союза, Тишков считает недостаточную степень развития общегражданской российской идентичности (с. 190–191). Напрашивается комментарий: конечно, далеко не все народы, живущие на территории России, в одинаковой степени считают себя частью российского народа. Однако можно поставить вопрос и по-другому: разве не очевидно, что у всех народов России есть общность истории?

Исследователь приходит к однозначному выводу и о том, что этнополитика и большевистского, и белых режимов также определялась представлением об общегражданской нации. Так, при установлении военной диктатуры в Сибири во главе с адмиралом А.В. Колчаком в 1918 г. правительство обещало всем, без различия религий и национальностей, получение защиты государства и закона (с. 200–201). Принятая в самые первые дни Октябрьского переворота Декларация прав народов России утверждала категорию «народы России» (понятие «нация» не использовалось), а объединяющей категорией выступало определение «трудящийся народ» (с. 211). При этом руководящие должности в Наркомнаце занимали представители около полусотни национальностей. Характерно, что среди них 126 человек владели двумя языками (русским и родным), 92 – тремя, 78 – четырьмя, 38 – пятью, 19 – шестью, 8 – семью (с. 215–216). В 1918 г. была создана общая культурно-просветительная комиссия Наркомнаца (для нерусских народов). На одном из совещаний Госкомиссии заместитель наркома просвещения историк М.Н. Покровский жёстко отстаивал позицию поддержки общегосударственных задач, а не отдельных национальных культур. Он уверенно заявлял, что создание национальной культуры на средства центра – не что иное, как фактор культурного раздробления России (с. 217–218).

Однако после 1917 г. категории «российский народ» и «россияне» естественным образом ушли из официальной лексики из-за того, что из названия государства исчезли слова «Россия» и «Российская». «Конструирование наций» стало для большевиков своего рода «новой религией» (с. 222–223). Одна из сторон этой деятельности – изучение этнического (племенного) состава населения с целью превращения этнических групп в нации (с. 244). При этом на официальном уровне советская теория отвергала национализм как буржуазную идеологию. В итоге идеологи уже брежневского времени возводили «советский народ» до уровня «нового типа исторической общности людей», типологически невиданной «интернациональной общности». Тишков убедительно обосновывает мысль о том, что «феномен советской идентичности» (несмотря на отсутствие термина «идентичность»), безусловно, существовал на протяжении длительного времени, а в 1990-х гг. советский народ распался вовсе не потому, что был некой «аномалией», а по причине раскола элит и краха государственности. Иными словами, это произошло во многом из-за отсутствия единства общегражданской нации. Предостережением звучат слова автора о том, что и сегодня для этнонационалистов Россия как общенациональное государство не существует (с. 225–227, 229–231, 249). Тишков приводит слова Г.П. Федотова о том, что «Россия – не Русь, а союз народов», отмечая важное обстоятельство: философ считал национальное сознание многослойным, не взаимоисключающим, а наоборот, включающим в себя все уровни вплоть до общегосударственного, российского (с. 629–630).

Автор также доказывает, что местная идентичность никак не противоречит российской, а языковое и религиозное многообразие вовсе не препятствует гражданскому единству (с. 355, 371, 372, 374, 508–509). Согласно проведенному в

2008 г. в 14 регионах России опросу городского населения, самый высокий процент респондентов, согласных называть россиян нацией, оказался в Сыктывкаре и Екатеринбурге (с. 345, 379–381), где издавна существует характерная «уральская толерантность»[1] (с. 38). Рассмотрению религий по отношению к понятию «идентичность» Тишков посвящает отдельные главы, которые фактически могут служить кратким курсом истории религий, в разные эпохи распространенных на российском пространстве. Особое внимание закономерно уделяется взаимодействию русско-православного и тюрко-исламского (и просто тюркского) миров в российском пространстве (с. 404–405, 413, 445, 449–451, 504–505).

Подводя итог, можно сказать, что рецензируемая книга – первый в отечественной и зарубежной историографии скрупулёзный анализ категорий «нация» и «народ» в российском контексте с момента их зарождения до настоящего времени. Вывод автора однозначен: в нашей стране существует полиэтническая гражданская нация при сохранении богатого этнокультурного многообразия. Этнография народов, включенных в Российскую империю и в последующем в Российскую Федерацию, была разной, но история их с момента их включения в общее государство, становилась общей – российской историей, или историей российского народа.

Л.И. Миссонова

Примечание

[1] Подробнее см.: *Головнев А.В.* Оттенки этничности на Урале // Антропология социальных перемен / Под ред. Э.-Б. Гучиновой и Г.А. Комаровой. М, 2011. С. 443–444.

Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / Отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. М.: Новый хронограф, 2012. 448 с., ил.

Коллективная монография, изданная под грифом Института российской истории РАН в рамках целевого конкурса РГНФ «1150 лет российской государственности», раскрывает роль этничности в истории России от славянского расселения в Восточной Европе до рубежа XX–XXI вв. Книга открывается главой «Древняя Русь: этнический аспект становления и развития государственности», в которой В.Я. Петрухин исследует вопросы, вызывавшие на протяжении последних двух столетий острые дискуссии: историко-этнографический контекст легенды о призвании варягов, огосударствление племенных территорий, конфессиональная основа формирования русского народа, политические и этносоциальные предпосылки раздробленности княжеств. Сопоставление различных точек зрения позволило автору приподнять завесу над многими сюжетами этнической и религиозной истории Древней Руси.

В.В. Трепавлов осветил проблему миграции русских из центральных регионов России в Поволжье, Приуралье и Сибирь в XVI–XVIII вв., отметив, что число переселенцев из столетия в столетие увеличивалось в связи с социальным расслоением в крестьянской среде и ужесточением крепостнических порядков. В начале освоения свободных земель практиковалось организованное, санкционированное властями переселение, но от него вскоре отказались в связи с нарастанием стихийной миграции, которая выбрасывала тысячи русских земледельцев на Волгу, в Заволжье и Зауралье. Выдвинутый в своё время в пропагандистских целях тезис «Россия – тюрьма народов», как известно, на протяжении XX в. широко использовался в общественно-политической литературе. В 1980-х гг., в трагический период разрушения союзного государства, эта своего рода концепция приобрела значение лозунга, который звал нации союзных и автономных республик «на баррикады», многократно усиливая митинговую стихию. Не упоминая о нём, Трепавлов по сути развенчивает его на конкретном историческом материале, исследуя региональные особенности этнической политики царизма в Поволжье, на Южном

Урале, в Приуралье и Сибири. Опираясь на документальные свидетельства, автор показывает, что на присоединённых землях традиции племенной организации сочетались с установлением власти русских наместников – воевод: харизматические личности из среды местной знати вовлекались в администрацию. Чтобы утвердиться в Поволжье, правительство инициировало христианизацию края, но проводило её не огнём и мечом, а путём предоставления местной знати и отдельным социальным группам привилегий в наделении землёй, привлечения к царской службе и т.д. Татарские, чувашские, марийские и удмуртские мурзы, переходя в категорию служилых людей, освобождались от выплаты ясака, наделялись поместьями. Особый статус приобрели башкиры, которые в обмен на военную службу и уплату ясака получали от царей грамоты на наследственное владение своими исконными территориями. В Сибири, как показывает Трепавлов, многоукладность хозяйства крестьян-переселенцев, отсутствие социального барьера между ними и коренным населением, а также охранительная политика правительства по отношению к ясачным обеспечивали мирное соседство. Неудивительно, что пренебрежение и высокомерное обращение с местными жителями никогда не были присущи основной массе славянского населения края, а присоединяемые сибирские просторы не являлись колониями в их европейском понимании.

Основываясь на достижениях отечественной и зарубежной историографии, А.И. Миллер анализирует теоретические аспекты национальной политики царизма в конце XVIII – начале XX в. Если Екатерина II проводила политику ограничения власти окраинных элит (Лифляндия, Эстляндия, Украина), то Александр I взял курс на расширение автономии вновь присоединяемых территорий (Великое княжество Финляндское, Бессарабия, Грузия, Польша). При Николае I эта политика сохранялась лишь в отношении некоторых окраин (Остзейский край, Финляндия, Грузия), что отвечало интересам стабилизации и консолидации империи.

В отечественной историографии нет специальных исследований, посвящённых русификации региональных культур в масштабах всей Российской империи. В многочисленных публикациях представителей национальных элит русификация (как правило, «насильственная») штампуется вне времени и пространства, без учёта различий в системе государственного управления. Вопреки привычным оценкам, Миллер отмечает, что ситуации исключительно насильственной или добровольной ассимиляции были лишь крайностями. Например, мотивы освоения русского языка имели множество вариантов у разных народов. К сожалению, данный вопрос ещё очень мало исследован, отчасти потому, что национальные научные школы, которые «были и во многом остаются сосредоточены на теме оппозиции имперской власти», до недавнего времени не слишком интересовались этим сюжетом (с. 108). Русификация исследуется Миллером в параграфах «Польский вопрос», «Украинский вопрос», «Еврейский вопрос», «Российская империя и ислам» на материалах конфессиональной политики второй половины XIX в. Автор проявил глубокое знание проблемы, его трактовка региональных особенностей правительственного курса, несомненно, вызовет интерес и у этнологов, и у политологов. Другие параграфы, написанные Миллером, посвящены мобилизации этничности накануне и в период Первой мировой войны.

Т.Ю. Красовицкой предпринята попытка исследовать роль этнического фактора в реализации права народов на самоопределение в 1917–1929 гг. Исследовательница пришла к выводу, что, несмотря на противоречия в национальной политике большевиков, их действия по осуществлению принципа самоопределения отвечали интересам народов России. Стихийно развернувшийся процесс федерализации создавал угрозу сохранению единства страны, и в начале 1920-х гг. идея возрождения российской государственности стала ведущей в политике правительства РСФСР. На основе уникальных документов Красовицкая характеризует разногласия среди членов ЦК ВКП(б): И.В. Сталин воспринимал федерализм как переходную ступень к будущему социалистическому унитаризму, а В.И. Ленин был убеждён, что образование национальных государств

не противоречит принципу федерализации страны. Цитируя высказывания национальных лидеров, которые сталкивались на поле бурных дискуссий, Красовицкая показывает, как этатизирующийся национализм стремился освоить политические институты новой государственности.

Существенное внимание в данной главе уделено политике и практике коренизации. С принятием в 1924 г. Конституции СССР и до конца 1920-х гг. в управлении культурой сохранялась децентрализация, и все её сферы находились в ведении республиканских наркоматов просвещения. В образование внедрялся этнический компонент, в РСФСР школы работали на 104 языках, но административно-командный характер коренизации создавал основу для полномасштабной советизации. Власти требовали полной лояльности элит титульных национальностей, которые в свою очередь стремились к независимости от центра и национально-культурной автономии. В результате в Белоруссии и на Украине, на Кавказе и в Средней Азии «национал-уклонизм» со временем переквалифицировали в «буржуазный национализм».

Обращаясь к советской этнополитике 1929–1941 гг., Д.А. Аманжолова констатирует, что СССР, оставаясь по форме союзным, договорным, так называемым федеративным объединением, в котором государственность получили почти 40 народов, фактически превратился в унитарное государство с командно-административным управлением. Конституция 1936 г. узаконила расширение компетенции союзных органов власти, усиление централизации во всех сферах жизни народов. Вместе с тем советская идеология и политическая практика тесно связали этничность с административными образованиями. При этом соблюдение принципов федерализма обеспечило справедливость и безусловную прогрессивность развития многонационального государства в сравнении с капиталистическим миром, поделённым на метрополии и эксплуатируемые ими колонии (с. 216).

Опираясь на архивные документы, Аманжолова исследовала особенности межкультурной интеграции и социально-культурной модернизации национальных меньшинств, особенности языковой политики, имевшей глубокое символическое и политическое значение. В 1930-х гг. решалась дилемма: поддерживать языки малочисленных народов с их ограниченной сферой употребления или расширить обучение русскому языку. Автор тактично объясняет государственную необходимость ликвидации национальных школ и национальных педагогических институтов в 1938 г., принятие постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». По справедливому мнению исследовательницы, эта акция имела далеко идущие последствия для социально-культурного развития народов: стремительно расширялась система подготовки кадров с высшим и средним специальным образованием. Проводимая в то же время политика коренизации и унификация письменности для 89 народов привели к впечатляющим прогрессивным переменам (с. 221).

Особое внимание Аманжолова уделяет переселенческой политике 1930-х гг., депортации раскулаченных крестьян на Север, Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Собранный ею материал ломает стереотипное представление о направленности сталинских репрессий преимущественно против титульных наций автономий и отдельных этнических групп. Как свидетельствует статистика, русские и белорусы пострадали от них не меньше. В целом же Большой террор 1937–1938 гг. был направлен прежде всего против партийно-государственной элиты и других категорий номенклатуры (с. 227).

Н.Ф. Бугай и Е.Ю. Зубкова анализируют противоречивый характер этнонациональной политики в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941–1960-е гг.), когда проявление массового патриотизма представителей разных народов на фронтах и в тылу сопровождалось ликвидацией отдельных автономий. В монографии воссоздана эпопея насильственного переселения калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар в отдалённые районы Советского Союза.

Особый интерес вызывает трактовка авторами национальной политики после-

военных лет. На основе широкого круга архивных документов исследуется слабо изученное в отечественной историографии ужесточение политического курса в начале 1950-х гг.: по всей стране с подачи ЦК ВКП(б) развернулась борьба с «буржуазными космополитами» и «буржуазными националистами». По мере возникновения «эстонского», «латвийского», «мингрельского» дел, направленных непосредственно против региональных элит, в союзных и автономных республиках были проведены массированные идеологические кампании с разоблачением всякого рода «уклонистов» в науке, литературе, искусстве. Ярко проявился в государственной политике и антисемитизм: общественность страны была потрясена официальными публикациями по «делу Еврейского антифашистского комитета» и по «делу врачей».

В начале 1970-х гг. под прикрытием коммунистической фразеологии и концепции «дружбы народов» возрождается имперская идеология. В то же время обостряются межэтнические отношения: вспыхивают осетино-ингушский, армяно-азербайджанский и абхазо-грузинский конфликты. Бугай и Зубкова показывают политические и социально-экономические предпосылки ухудшения ситуации в национальных республиках. Быть может, наиболее выразительно они раскрываются в разделе «Балтия: мигранты, движение за суверенитет и антирусские настроения».

Л.М. Дробижева выявляет этнонациональный компонент в Конституции СССР 1977 г., этнодемографические и социальные тенденции 1970–1980-х гг., соотношение мифов и реальности в историческом бытии народов, роль этничности в политических процессах конца 1980-х гг. Характеризуя СССР как федеративное государство, исследовательница отмечает, что его устройство сохраняло конституционную асимметрию, при которой одни из субъектов имели больше прав, чем другие. Несоответствие экономического потенциала политическому статусу провоцировало конфликты. Как указывает Дробижева (не уточняя, какие факторы влияли на эти процессы), в 1970–1980-х гг. в Закавказье, Средней Азии и Казахстане росла доля коренного населения и снижалась доля русских, в Грузии и Азербайджане сокращалась доля армян, в Армении – азербайджанцев. Но вместе с тем советский федерализм позволял разрешать возникавшие на националистической почве противоречия, исключая насильственные формы их регулирования. В частности, республики Закавказья проявили политическую волю и вопреки противодействию «ортодоксов» языкам титульных национальностей был придан государственный статус. Развитие индустриализации и урбанизации республик способствовало росту удельного веса лиц умственного труда: в 1979 г. у 6 из 15 титульных национальностей их доля была такая же, как и у русских (по переписи 1959 г. – только у 4). При этом в составе национальной интеллигенции уже преобладали группы, занятые производительным и интеллектуальным трудом, что справедливо оценивается в книге как «принципиальное изменение в положении народов» (с. 348).

Размышляя о том, была ли дружба народов СССР мифом или реальностью, Дробижева приводит данные социологов, изучавших межличностные отношения в союзных республиках в 1980-х гг. Так, в Молдавии 82% молдаван и столько же русских, 81% евреев, 77% украинцев заявили тогда, что национальный состав производственных коллективов для них не имеет значения; в Грузии такого же мнения придерживались 80% грузин, армян и азербайджанцев. «Тем не менее, – пишет исследовательница, – в 1983 г. в связи с 200-летием Георгиевского трактата была подготовлена инсценировка на тему русско-грузинской дружбы, на которую протестной акцией среагировала грузинская интеллигенция». А когда в Эстонии не разрешили концерт панк-группы, молодёжь выступила с лозунгом «Русские – домой!» (с. 359). Сопоставление более чем странное: с одной стороны, мнение производственных коллективов, с другой – группа бунтующей молодёжи. Однако, по мнению Дробижевой, и в 1980-х гг., и в наши дни «реально говорить о дружбе народов нельзя» (с. 358). Между тем, оценивая межнациональные отношения в таком громадном многонациональном государстве, каким был СССР, методологически правильно опираться не на отдельные проявления

протеста местной интеллигенции, а на события общегосударственного значения. Например, в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. все народы СССР были спаяны единым стремлением отстоять свободу и независимость общей Родины. В Среднюю Азию и Казахстан из Центральной России было эвакуировано более 200 промышленных предприятий с производственным контингентом и оборудованием. Все были приняты, устроены, обеспечены жильём и питанием по условиям военного времени. Во всяком случае, ни в Алма-Ате, ни в Ташкенте, ни во Фрунзе эвакуированные граждане не умирали на улицах от голода. Учёные Академии наук СССР, эвакуированные вместе с институтами в Ташкент и Алма-Ату, были приняты правительствами УзССР и КазССР с особым почётом и поставлены на повышенную норму продовольственного обеспечения. 200 тыс. детей, прибывших из прифронтовой полосы, в том числе из блокадного Ленинграда, нашли приют в Узбекистане, тысячи сирот были приняты в узбекские семьи. Женщины «коренных национальностей» Средней Азии сдали в Фонд обороны на строительство танков десятки килограммов фамильных драгоценностей из золота и серебра. Об этом написаны монографии, но многие современные историки, политологи и журналисты не хотят этого замечать.

В заключительной главе монографии академик В.А. Тишков рассматривает важнейшие явления и процессы общественно-политической жизни постсоветской России. В центре внимания учёного – «смена вех», кризис советского федерализма, драма разрушения государственных основ СССР, создание новой федерации и её конституции, проблемы национально-культурной автономии, своеобразие языковой политики в субъектах Российской Федерации, причины и характер межнациональных конфликтов и сепаратизма. Обобщение большого фактического материала позволило воссоздать сложнейшую мозаику тотальной катастрофы, которую пережила страна в 1990-х гг., столкнувшись не только с политическими, экономическими и идеологическими потрясениями, но и с кризисом национально-государственной и гражданской идентичности. Систематизировав многочисленные проявления межэтнических конфликтов, Тишков провёл градацию наиболее взрывоопасных регионов в СССР: республики с историческими претензиями к верховной власти относительно трактовки «добровольного вхождения» в состав России и автономии, требовавшие восстановления исторической справедливости, нарушенной в период депортаций и политических репрессий. В РСФСР сформировались три основных очага этнической нестабильности: на Северном Кавказе, в Волго-Уральском регионе (с центрами повышенной конфликтности в Татарстане и Калмыкии) и на юге Восточной Сибири (Тыва, Бурятия, Республика Алтай). Как указывает автор, в основе этноконфликтов лежали исторические, территориальные и межгрупповые разногласия, традиционализм враждующих группировок, снижение общего социально-экономического развития регионов и т.д.

В параграфе «Особенности российской этнополитики начала XXI в.» В.А. Тишков излагает свою концепцию гражданской нации. Вопреки представлениям о «многонациональном» народе России, ведущий этнолог Российской Федерации полагает, что *российский народ – многоэтничная гражданская нация, некая многокультурная общность*. По мнению академика, это «единая реализуемая формула устройства многоэтничной страны» (с. 440). При всей спорности данной доктрины следует признать, что написанная, В.А. Тишковым глава является серьёзным вкладом в разработку теоретических основ отечественной этнополитики.

Вместе с тем рецензируемое издание имеет и существенные недостатки. Так, сюжеты, связанные с конфессиональной историей, не получили в монографии достойного отражения, в большинстве случаев они обойдены, несмотря на их явную актуальность в наши дни и освещение в новейшей историографии, с которой, по-видимому, не все авторы книги знакомы. Ничего не сказано и о роли христианского, мусульманского, буддийского духовенства в сохранении духовных ценностей и исторических традиций народов. В частности, исследователи обошли молчанием стойкое противодействие мусульманского духовенства Татарской АССР и Башкир-

ской АССР отмене арабского алфавита и насаждению латинской графики в 1920-х гг. Авторы не сочли нужным показать и вклад русской (российской) интеллигенции в развитие национальных культур: деятельность выдающихся лингвистов России по созданию алфавитов для бесписьменных народов, участие педагогов в организации светских школ, в становлении системы высшего и среднего образования в автономиях. В ряде глав читателю зачастую предлагается история без исторических деятелей.

Редактирование книги вызывает недоумение: одни главы написаны хорошим литературным языком, другие, напротив, изобилуют стилистическими погрешностями. Часто неоправданно используются современные выражения («политработники нерусской национальности», «языки нерусских народов» (с. 203, 264 и др.). Иногда читатель как через колючий кустарник пробивается к смыслу авторского высказывания. Не всегда указаны работы, в которых подробно анализируются документы, цитируемые в книге без ссылки на источник (с. 197–198)[1]. Уничижительный характер носит применение к территориально-административному делению СССР термина «матрёшка». Плохо продумано и оформление книги. Прекрасно подобранные авторами фотографии размещены хаотично и не соответствуют содержанию текста. Так, иллюстрации «Половецкая каменная баба», «Русский полон» и другие вставлены в главу «Этнополитика в годы Великой Отечественной войны» (с. 270–273), что, по меньшей мере, бестактно и неуместно. Ценные фотографии, выявленные авторами в государственных и личных архивах, в основном публикуются впервые, но без ссылок на дела и фонды, в которых они хранятся. Не делает чести художнику С. Щербине и «картинка» на обложке, символизирующая многонациональный состав России. На ней изображено скопище лиц неизвестного этнического происхождения. Судя по их головным уборам, в России преобладают не славянские, а азиатские этносы. По обложке трудно понять, какой стране посвящена монография.

Впрочем, эти замечания не снижают значения данного коллективного труда, который создан на основе обширного документального материала, выявленного в архивах и в новейшей специальной литературе. Это глубоко научное исследование на актуальную тему, дополняющее отечественную историографию постановкой новых проблем и нетривиальной (хотя и не бесспорной) оценкой важнейших аспектов этнической истории Российского государства.

В.Г. Чеботарёва

Примечание

[1] См.: *Чеботарёв В.Г.* Национальная политика Российской Федерации. 1925–1938. М., 2008. С. 32–37.

Н.Б. Хайлова. Центристская модель модернизации российской экономики в начале XX века. М.: Финансовый университет, 2013. 220 с.

Выход в свет монографии старшего научного сотрудника Института российской истории РАН кандидата исторических наук Н.Б. Хайловой – значимое событие для исследователей общественной мысли, политических партий и движений, социально-экономической жизни пореформенной России. Феномен русского дореволюционного либерального центризма, которому посвящена книга, начал изучаться сравнительно недавно[1], и Н.Б. Хайловой принадлежит здесь достаточно видная роль. Она – автор ряда концептуальных статей[2], под её редакцией вышел сборник документов, посвящённый партиям демократических реформ (ПДР), мирного обновления (ПМО) и прогрессистов[3].

В центре внимания Н.Б. Хайловой находится понятие «центризм». По её мнению, этот термин можно понимать как в широком смысле («общекультурное явление, связанное с осознанным стремлением к диалогу и согласию»), так и в смысле политическом – как «состояние

сознания и деятельности политических сил, характеризующееся умеренностью, склонностью к компромиссам, дистанцированием от догматизма и экстремизма, неприятием методов насилия и принуждения, стремлением к осуществлению своих целей исключительно в рамках закона». При этом центристская политическая модель подразумевает эволюционный тип развития с сохранением исторической преемственности. «Стрежневая формула политического центризма, – отмечает автор, – обеспечение баланса интересов всех социальных групп и государства» (с. 3). В монографии рассматриваются теоретические представления российских либералов-центристов, восприятие ими различных аспектов экономического и общественно-политического развития России в конце XIX – начале XX в. (аграрный вопрос, положение рабочих, значение и характер собственности, сбалансированность экономики, налоговая реформа, развитие предпринимательства и др.). Большое внимание уделяется закреплению центристских идеалов в программах ПДР, ПМО и партии прогрессистов.

Несмотря на то что либеральный центризм был в дореволюционной России далеко не самой влиятельной общественно-политической силой, Н.Б. Хайлова не соглашается с распространённым среди отечественных и зарубежных исследователей мнением о том, будто он вовсе не оставил заметного следа в истории России. Напротив, исследовательница признаёт самостоятельную ценность центризма и его политического опыта начала XX в., указывая на реализм и взвешенность позиций либералов-центристов, важность для них связи политики с культурой и нравственностью (с. 5–6, 25, 210–211).

Как пишет Н.Б. Хайлова, либеральный центризм был основан на стремлении укреплять в России основы Великих реформ 1860–1870-х гг., подталкивать правительство к осуществлению преобразований в интересах большинства населения. Будучи реалистической моделью общественного развития, центризм не принимал крайностей ни классического либерализма, ни социализма. Он был попыткой адаптировать к пореформенной действительности как либерально-демократические традиции русской интеллигенции, так и новейшие течения европейской мысли. Поэтому центризм являлся плюралистическим феноменом, открытым для воздействия разных идеологий, включая народничество (интерес к особенностям сельского хозяйства и особенно крестьянской общины, к артельной организации труда, возможности отчуждения помещичьих земель), марксизм (признание объективных законов общественного прогресса и роли государства в этом процессе), германский катедер-социализм (поиск «срединного пути» при решении политических и социально-экономических задач) и др. С другой стороны, крайности этих учений (например, экономический детерминизм и нивелирование роли личности в марксизме) русскими центристами не принимались. При решении основных вопросов своего времени они стремились к социальной справедливости, пытались учесть интересы большинства населения и достичь сбалансированного развития государства (с. 47, 49, 58–59, 79, 82, 110–119, 165, 169, 171 и др.). При этом, по мнению Н.Б. Хайловой, не следует считать центризм эклектичным направлением общественной мысли. Идеологи центризма стали в России пионерами социально ориентированного «нового» либерализма, а широта взглядов его лидеров вполне соответствовала неустойчивой ситуации в стране, характерной для переходного периода (с. 212–213).

Носителями центристских идей в конце XIX – начале XX в. были такие выдающиеся русские учёные – историки, социологи, экономисты, как М.М. Стасюлевич, М.М. Ковалевский, К.К. Арсеньев, А.И. Чупров, А.С. Посников, И.И. Иванюков, В.Г. Яроцкий, А.М. Рыкачёв и др. Их взгляды подробно анализируются на страницах монографии Н.Б. Хайловой, что делает её полезной и для истории науки в России. Не менее ценна она также для изучения русской периодической печати, поскольку на её страницах часто встречаются сведения о журнале «Вестник Европы», газете «Русские ведомости» и других изданиях, в которых публиковались русские центристы. Наука, публицистика и политика тесно перепле-

тались в деятельности русских либералов-центристов. Поэтому в монографии детально освещаются позиции центристских политических партий, которые автор сопоставляет с программами партий кадетов и октябристов. Отношение центристов к их соседям по либеральному лагерю, как показано в книге, было дифференцированным. К примеру, в октябристах они сперва видели сторонников «вполне благоразумных» принципов, а затем – защитников «приказного строя» и членов «партии последнего правительственного распоряжения». Симпатизируя кадетам, центристы не признавали строгую дисциплину и партийную иерархию; ту или иную программу они рассматривали не как свод жёстких и обязательных требований, а как некий условный ориентир, насилие как средство политической борьбы было для них категорически неприемлемо (с. 9–10, 13).

Необходимым условием для нормального развития страны центристы считали сбалансированность различных отраслей экономики (с. 79). Залог её процветания они усматривали в сосуществовании разнообразных форм собственности (в первую очередь земельной), которая представляла собой, по их мнению, не только экономическое явление и юридический институт, но и нравственную категорию, тесно связанную с «областью психологии» (с. 89–90). Н.Б. Хайлова уделяет большое внимание взглядам идеологов центризма, размышлявших об организации и производительности труда, о путях развития пореформенной деревни, роли общины, возможности сочетания личного и общинного ведения хозяйства и др., а также анализу аграрных программ ПДР и ПМО (с. 123–144). Как и в своих более ранних публикациях, исследовательница указывает на то, что разработки ПДР отличались «всесторонней обоснованностью, максимально возможной детализацией и определённостью» (с. 124), предусматривая допустимость отчуждения частновладельческих земель за выкуп, при значительной роли в этом процессе государства, а также создание государственного земельного фонда и установление высшего размера частного землевладения (с. 125–129). Отметив близость решений аграрного вопроса, предлагавшихся ПДР и партией «Народной свободы», Н.Б. Хайлова пишет, что программа, принятая кадетами на III съезде в апреле 1906 г., была фактически заимствована у ПДР. При этом программа ПДР оказалась даже левее кадетской, поскольку в ней больше внимания уделялось интересам крестьянства, а идея государственного земельного фонда приближала её к проектам эсеров и народных социалистов (с. 136–138). Более умеренны были намерения мирнообновленцев (см. с. 140–144). Неудивительно, что столыпинская реформа оценивалась центристами как прогрессивная по целям, но несостоятельная по методам. Они резко осуждали применение насилия при её проведении и повсеместное использование единого шаблона, без учёта местной специфики земельных отношений. Идеологи центризма настаивали на том, что судьбу общины должна решить «сама жизнь». Критиковалась ими и переселенческая политика правительства, в целом характеризовавшаяся как непроизводительная трата государственных средств. Действенным же средством решения как крестьянской, так и многих других социально-экономических проблем центристы считали переход к подлинно конституционному режиму (с. 145–153).

В то же время программа ПДР по рабочему вопросу имела больший уклон «вправо», соприкасаясь с некоторыми установками октябристов (недопустимость стачек в ряде производств, невозможность немедленного введения 8-часового рабочего дня), и лишь в вопросе об улучшении условий труда проявлялась «яркая социальная окраска экономической программы ПДР» (с. 173–175). Как показывает Н.Б. Хайлова, таким промышленникам-прогрессистам, как А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.И. Четвериков и др., были свойственны уважительное отношение к рабочим и «искренняя забота не только об условиях их труда, но и о быте (питание, жильё, медицинское обслуживание, образование, культурный досуг)». Опыт московских либеральных предпринимателей – будущих прогрессистов привлёк внимание властей, и некоторые из них ещё с 1880-х гг. привлекались для

подготовки законопроектов, касавшихся организации производства, условий труда и быта рабочих (с. 205–207). Предложенная ими «модель социального партнёрства власти, бизнеса и общества постепенно находила позитивный отклик как во властных структурах, так и среди россиян» (с. 209). Это была попытка на практике примирить в России «капитализм и демократию». Более того, их опыт актуален и для современного поиска форм социальной ответственности бизнеса.

В целом, тематика монографии Н.Б. Хайловой шире той, что заявлена в заглавии. В ней не только раскрывается «центристская модель модернизации российской экономики», но и анализируются важные вопросы социальной, политической и культурной жизни дореволюционной России.

Однако у книги есть и отдельные недостатки. Как пишет исследовательница, центристы претендовали на защиту интересов широких слоёв населения, при этом численность ПДР, ПМО и партии прогрессистов оставалась весьма невелика. Интересно было бы проследить восприятие идеалов этих партий не только в среде интеллигенции, но и в широких массах, выявив причины их непопулярности. Очевидно, что они были глубже, чем недостаток организационных способностей русской либеральной профессуры. Библиографический список в книге довольно обширен, но он включает только русскоязычные исследования, тогда как, например, американские историки проделали весьма большую работу по изучению истории русской буржуазии и, в частности, партии прогрессистов[4]. Кроме того, каждую из трёх глав монографии («Теоретико-методологические основы центристской концепции», «Проблема собственности: Поиск оптимальных форм организации производства и налогообложения» и «Социальное партнёрство: власть – бизнес – общество») можно было бы разделить на параграфы, что позволило бы лучше структурировать материал. Жаль также, что книга вышла тиражом всего в 100 экземпляров. Это, вероятно, затруднит популяризацию её оригинальных идей.

Между тем исследование Н.Б. Хайловой актуализирует опыт центризма (да и либерализма в целом) как значимого направления общественно-политической мысли, выдвинувшего собственный – отнюдь не «импортный», а укоренённый в русской действительности – вариант переустройства страны в переломную эпоху (с. 6, 213–214). Идеи центристов, по мнению исследовательницы, сегодня могут быть полезны не только для понимания российской истории, но и для модернизации современного общества.

Н.В. Макаров

Примечания

[1] Отдельные аспекты этой проблематики освещаются в следующих работах: *Шевырин В.М.* Мирнообновленцы: в поисках «третьей силы» // Полис (Политические исследования). 1993. № 4. С. 165–168; *Вишневски Э.* Либеральная оппозиция в России накануне Первой мировой войны. М., 1994; *Шелохаев В.В.* Либеральная модель переустройства России. М., 1996; *Селецкий В.Н.* Прогрессизм как политическая партия и идейное направление в русском либерализме. М., 1996; *Петров Ю.А.* Московская буржуазия в начале XX века: Предпринимательство и политика. М., 2002; Модели общественного переустройства России. XX век / Отв. ред.: В.В. Шелохаев. М., 2004. С. 230–383; *Вишневски Э.* Капитал и власть в России. Политическая деятельность прогрессивных предпринимателей в начале XX в. Изд. 2. М., 2006; *Шевырин В.М.* Рыцарь российского либерализма: Граф Пётр Александрович Гейден. М., 2007; *Шелохаев С.В.* Д.Н. Шипов: Личность и общественно-политическая деятельность. М., 2010.

[2] *Хайлова Н.Б.* Проблема центризма в русском либерализме в начале XX века // Русский либерализм: Исторические судьбы и перспективы. Материалы научной конференции. Москва, 27–29 мая 1998 г. М., 1999. С. 293–305; *она же.* Проблема центризма в русском либерализме в начале XX века (вместо предисловия) // Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы. 1906–1916 гг. М., 2002. С. 8–20; *она же.* «Старое возродилось в новом...»: Либералы-центристы о преобразованиях П.А. Столыпина // П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России. К 100-летию со дня гибели П.А. Столыпина. Международная научно-практическая конференция. Москва, 28–30 сентября 2011 г. М., 2012. С. 72–83.

[3] Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы. 1906–1916 гг. / Сост. Н.Б. Хайлова. М., 2002.

[4] *Ruckman J.A.* The Moscow business elite: A social and cultural portrait of two generations, 1840–1905. Chicago, 1984; *Thurston R.W.* Liberal city, conservative state: Moscow and Russia's urban crisis, 1906–1914. N.Y.; Oxford, 1987; *Owen Th.C.* Capitalism and politics in Russia: A social history of the Moscow merchants, 1855–1905. Cambridge (Mass.), 2008; *Rieber A.J.* Merchants and entrepreneurs in Imperial Russia. Chapel Hill, 1982; *Вест Дж.Л.* Буржуазия и общественность в предреволюционной России // История СССР. 1992. № 1. С. 192–201; *Уэст Дж.Л.* Кружок Рябушинского: русские промышленники в поисках буржуазии (1909–1914) // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 299–329; *West J.L.* Old Believers and new entrepreneurs: Old Belief and entrepreneurial culture in Imperial Russia // Brumfield W.C., ed. Commerce in Russian urban culture, 1861–1914. Washington; L., 2001. P. 79–89; *Уэст Дж.* Видение предпринимательского будущего России: утопический капитализм Павла Рябушинского // Купеческая Москва. Образы ушедшей российской буржуазии / Отв. ред. Дж. Уэст, Ю.А. Петров. М., 2007. С. 224–237.

Церковный голос России*

Вопрос о том, кто, каким образом и с какими намерениями передавал в 1920–1930-е гг. за рубеж сведения о положении Православной Церкви в России, до сих пор остаётся слабо освещённым в историографии. Как справедливо указывает в своей книге известная исследовательница церковной истории О.В. Косик, для ведения и благословения такой деятельности существовали, по крайней мере, две главные причины. Информирование зарубежья (и в первую очередь эмигрантов) должно было вызвать выступления духовных лиц, религиозных, политических и общественных организаций, и даже правительств других стран в защиту Русской Церкви, а также способствовать оказанию материальной помощи ссыльным и заключённым. Не менее важной для православных, оставшихся в СССР, была и моральная поддержка со стороны эмигрировавших церковных деятелей, особенно при выборе тактики действий в сложных и конфликтных ситуациях, нередко спровоцированных властями, как, например, обновленческий раскол или отход части духовенства и мирян от митрополита Сергия (Страгородского) в связи с его Декларацией 1927 г.

Для ознакомления эмиграции с реальным положением Церкви в оставленной стране составлялись сводки, исторические обзоры, очерки. Так было положено начало первым трудам по истории Церкви в эпоху гонений. Полагая, что «деятельность М.Е. Губонина, А.П. Вельмина, Г.А. Косткевича, М.А. Новосёлова и других, до сих пор неизвестных собирателей церковных материалов, не может быть оставлена без внимания и должной оценки серьёзных церковных историков», Косик стремится «восполнить пробел, чтобы по достоинству оценить труды тех, кто в первые десятилетия советской власти собирал свидетельства о церковной жизни, проникал в суть разворачивающихся событий, сохранял и передавал за границу эти материалы». При этом она внимательно относится к выявленным документам, учитывает напряжённую информационную борьбу СССР и недружественных ему государств, а также работу в этой сфере органов госбезопасности. В 1920–1930-е гг. действительно широко использовались фальсификации, подделки, которые были созданы для борьбы с Церковью, инакомыслящими и организациями, существовавшими вне официальных структур. Посему историку зачастую приходится сталкиваться не только с информацией о Церкви, но и с профессиональной дезинформацией.

Власти в России, строившие новое общество, чувствительно относились к утечке церковной информации за границу. Вмешательство Европы во внутреннюю политику большевиков, пусть даже на уровне пуб-

* *Косик О.В.* Голоса из России: Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР (1920-е – начало 1930-х годов). М.: ПСТГУ, 2011. 280 с.

личных заявлений и газетных требований, было крайне нежелательным, мешало осуществлению задуманных проектов, создавало советскому правительству ненужные барьеры в дипломатических и экономических контактах с другими странами. Поэтому любая связь с иностранными государствами расценивалась советской властью как тяжёлое преступление. Тем не менее при чтении книги возникает ощущение, что в СССР существовал ряд (альтернативных и независимых?) центров сбора и передачи за рубеж сведений о жизни Церкви.

Церковь и её правящие учреждения (Синод, епархиальные власти, Священный собор) в первые годы советской власти были почти лишены возможности сноситься между собой и с паствой: наставлять, осведомлять и поучать её. После захвата синодальных, лаврских и монастырских типографий и закрытия периодических церковных изданий, утверждает О.В. Косик, единственным средством оповещения верующих о событиях в Церкви и, в частности, о посланиях патриарха, стали листовки и небольшие брошюры, которые удавалось напечатать при помощи небольших полиграфических средств, уцелевших после реквизиции. К середине 1920-х гг. Церковь почти полностью лишилась возможности издавать свою продукцию. Тем важнее стал поиск надёжных каналов передачи за границу сведений о Церкви в России. Благодаря мужественным действиям лиц, близких к патриарху, наиболее важные его послания увидели свет на страницах зарубежных изданий. Одним из его смелых сподвижников был Н.В. Нумеров, с 1921 г. работавший делопроизводителем Священного Синода и Высшего церковного совета при патриархе Тихоне. Именно Нумеров составил список архиереев, содержавший их полные титулы и сведения о хиротониях, вывезенный неким Г. Вальтером из России в Берлин и переданный управляющему западноевропейскими русскими приходами архиепископу Евлогию (Георгиевскому). В свою очередь, владыка Евлогий направил копию списка в канцелярию Высшего церковного управления за границей в Сремских Карловцах (Королевство СХС), где с тревогой и болью следили за событиями в Русской Церкви. Нумеров также дал подробную справку о состоянии каждой епархии. Это первый дошедший до современных историков документ, в котором указаны действующие кафедры и отражены перемещения архиереев.

Корреспонденция из России широко использовалась в издававшейся в Сремских Карловцах газете «Церковные ведомости» – печатном органе Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей. Её редактором был секретарь Архиерейского Синода Е. Махароблидзе, обычно писавший редакционные вступления к материалам о церковной жизни в советской России.

О.В. Косик пришла к выводу, что, по крайней мере, до осени 1925 г. Архиерейский Синод в Сремских Карловцах прямо или опосредованно получал информацию, исходившую из круга деятелей, близких к Даниловскому монастырю и его настоятелю архиепископу Феодору (Поздеевскому). Представители «Даниловского синода» занимали в церковной политике правую позицию (с. 45). К их числу принадлежал и бывший обер-прокурор Святейшего Синода и активный участник Поместного собора 1917–1918 гг. А.Д. Самарин. В архиве Джорданвилльской Свято-Троицкой духовной семинарии (Русская Православная Церковь за границей) хранится его письмо, в котором говорится о влиянии ОГПУ на деятельность патриаршего управления: «Всякий, пошедший на малейшее соглашение с ГПУ, становится через несколько времени его полным рабом». По мнению Самарина, эта участь постигла и окружение патриарха Тихона. «Вся Москва убеждена, – писал он про архиепископа Тверского Серафима (Александрова) и профессора Московской духовной академии протоиерея В.П. Виноградова, – что эти два лица являются тайными агентами ГПУ и проводниками всех его замыслов в патриаршем управлении. Их близость с Тучковым, главным следователем по церковным делам в ГПУ, их постоянные визиты к Тучкову и таинственные совещания с ним, их поведение в патриаршем управлении подтверждают это». К сожалению, в книге не уточняется, соглашается ли её автор с данной оценкой.

Каковы были каналы передачи важнейшей церковной информации от патриарха Тихона за границу и обратно? Патриарх получал письма через иностранные посольства и миссии Латвии, Эстонии, Финляндии,

Польши, иногда Чехословакии. Обычно их приносили чиновники или курьеры. В пересылке корреспонденции активное участие принимали архиепископ Финляндский Серафим (Лукьянов) и епископ Рижский Иоанн (Поммер), проживавшие и служившие за пределами Советского Союза. Использовались также семейные и дружеские контакты и даже контрабанда.

Большую роль в передаче документов патриарху Тихону и от него сыграл архимандрит Жировицкого монастыря Тихон (Шарапов), впоследствии епископ. В 1922 г. он подробно описал в своих записках посещение патриарха и передачу ему портфеля с церковными документами прямо в алтаре храма во время богослужения (эти записки воспроизвёл под заголовком «Дипкурьер» М.Е. Губонин, познакомившийся с епископом в среднеазиатской ссылке). С огромными трудностями проникнув в алтарь, иеромонах, воспользовавшись замешательством, подошёл к патриарху: «При моём быстром приближении он обернулся, взглянул как-то мельком на меня и, отвернувшись опять к престолу, произнёс, "ничтоже сумняся", как будто мы с ним вчера только виделись: "А!.. Приехал?.. Когда же ко мне-то?" Я скороговоркой сказал, что через несколько дней. Он кивнул слегка головой. "У меня, Ваше святейшество, – проговорил я, – портфель тут с собою для Вас. Как мне передать его Вам?.. Где?" Он мотнул головой в сторону и пробурчал лаконично: "Отдай вон – Крониду!" Я немедленно передал портфель последнему наместнику Свято-Троице-Сергиевой лавры маститому старцу, архимандриту Крониду, стоявшему невдалеке и спокойно наблюдавшему всю эту сцену. Я его как-то не заметил раньше. Он с виртуозной ловкостью сунул портфель за пазуху, делая вид, что внимательно застёгивает свою рясу». Тут же на о. Тихона «налетели» иподиаконы со словами: «Гражданин, что Вам здесь нужно?». Но о. Тихон, извиняясь, был внутренне рад, что ему удалось передать ценные документы (с. 54–55). И всё же, несмотря на жертвенность мирян и духовенства, контакты патриарха Тихона с другими государствами были ограниченными, и Косик справедливо называет их «тонкой связующей нитью».

Одним из курьеров, передававших за границу информацию о положении Церкви в СССР, являлся духовный сын киевского священника Анатолия Жураковского Г.А. Косткевич. Рискуя жизнью и свободой, 30 апреля 1927 г. он передал ряд документов польскому консулу Бабинскому, который направил их затем проживавшему в Польше А.П. Вельмину. Благодаря усилиям Косткевича, 29 июля 1927 г. А.В. Карташёв, В.Л. Бурцев, Г.П. Федотов, П.Е. Ковалевский и П.Б. Струве опубликовали от имени Русского национального комитета в Париже список 117 репрессивных епископов. Впоследствии он перепечатывался различными эмигрантскими газетами.

Большое значение для освещения положения Церкви в СССР имела деятельность профессионального журналиста А.А. Ланге, писавшего под псевдонимом Валентинов. На основании поступавших из России сведений он составил «Чёрную книгу (Штурм небес): Сборник документальных данных, характеризующих борьбу советской коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей». В ней говорилось об арестах и ссылках епископов, священников, монашествующих и мирян, о закрытых храмах и монастырях.

Активную работу по сбору, перепечатке и распространению документов вёл М.А. Новосёлов, прославленный Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2000 г. в числе новомучеников и исповедников Российских. Стремясь объединить принципиальных противников Декларации митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г., он составил для эмигрантов и создания общественного мнения в Европе сборник «Дело митрополита Сергия». В книге О.В. Косик также рассматривается деятельность о. Михаила Польского, М.М. Брендстеда, М.Е. Губонина. Автор передаёт напряжённую атмосферу духовной жизни в СССР, где от молитвы в храме до тюремного заключения и мученической кончины был всего один шаг.

В приложениях к книге приводятся документы и фотографии. Кроме того, в неё включены краткие биографические справки о некоторых лицах, именной указатель и список сокращений.

А.А. Корнилов

В.В. Шелохаев. Дневник историка. М.: РОССПЭН, 2013. 510 с.

В последние годы были опубликованы дневники историков старшего поколения: С.А. Пионтковского, М.В. Нечкиной, С.С. Дмитриева и многих других. В советское время вести дневники не рекомендовалось и, например, И.И. Минц уничтожил часть своих дневниковых записей. В.В. Шелохаев принадлежит к поколению ещё работающих советских историков. Именно под его руководством группа исследователей стала в 2003 г. лауреатами Государственной премии РФ по науке и технике за многотомное издание «Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Документальное наследие».

Его дневник охватывает несколько десятилетий плодотворной деятельности на ниве российской исторической науки: с 1974 г. по конец мая 2012 г. От изданных ранее дневников историков записи Валентина Валентиновича отличаются многим: в них есть сугубо личное, связанное с домом, где он родился, его привязанностями и заботами о родителях и родственниках. Это впечатляет, представляет автора как человека весьма порядочного, обладающего большими нравственными ценностями, что, кстати, могут подтвердить не только его ученики, но и мы, относящиеся к числу его давних знакомых и друзей. У В.В. Шелохаева много учеников: по его собственным подсчетам, под его научным руководством за годы преподавания в различных вузах защищено 85 дипломных работ, 20 кандидатских и 12 докторских диссертаций. Кроме того, автор выступал в качестве научного оппонента по 150 кандидатским и 99 докторским диссертациям. Поражают и цифры его публичных выступлений: 140 на «круглых столах», методологических семинарах, на телевидении и радио; 107 – на международных, всероссийских, региональных и прочих конференциях, симпозиумах и коллоквиумах (с. 200–201). В этом сказались и его востребованность как крупного специалиста по истории российского либерализма, и искреннее желание поделиться своими новыми разработками, мыслями и обсудить их с научной общественностью. В.В. Шелохаев с большой теплотой называет имена своих учителей, друзей и коллег, сотрудничество с которыми стало частью его исследовательской и личной жизни. Особо вспоминает он своего учителя Л.М. Иванова (1909–1972), «кристально чистого, честного» человека (с. 39).

Но главное, что отразилось в дневнике Валентина Валентиновича – это его занятия историей. В январе 1974 г. он отметил, что ему несказанно повезло тем, что в 1968 г., после поступления в аспирантуру Института истории СССР, сбылась его «давнишняя мечта полностью посвятить себя науке» (с. 7). В 1971 г. он защитил кандидатскую, а в 1984 г. докторскую диссертации, посвященные истории партии кадетов. История российского либерализма и в дальнейшем была для него основной в научных поисках и работе.

Дневник Шелохаева – важный исторический источник о состоянии и развитии российской исторической науки в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Читатель узнаёт, например, о том, как автора дневника и его молодых коллег в обязательном порядке заставляли писать на заданные темы: о рабочем классе, создавать с марксистских позиций сочинения о революции 1905–1907 гг. или критиковать зарубежных «фальсификаторов» российской истории. Это наблюдения о том страхе, который испытывали известные советские историки, когда им напоминали о прошлом их родственников. «Постоянно вспоминаю наш приватный разговор с П.Г. Рындзюнским. Когда писал кандидатскую диссертацию, встретил эту фамилию в кадетском журнале “Вестник партии народной свободы”. Сказал ему об этом. Нужно было видеть испуг в глазах Павла Григорьевича, хотя на дворе уже был 1969 г. Он как-то съёжился, но всё же признался, что это его отец, который был членом московского комитета партии кадетов» (с. 10). И тогда же характерная реплика Шелохаева, понятная многим историкам советской поры (март 1976 г.): во время работы о численности и социальном составе кадетской партии он увидел некорректность ленинских оценок: «Это была партия по преимуществу интеллигентов, выражавшая идеи общенационального развития страны. Надо будет это как-то “стыковать”. Боже, как всё это надоело!» (с. 24). Тогда оценки Ленина

критике не подлежали. Или о том, как в начале 1980-х гг. у Валентина Валентиновича стала формироваться идея создать в будущем историю политических партий России, тем более что прежние теоретико-методологические подходы к изучению небольшевистских партий не давали объективного представления об их реальной истории (с. 70). Соглашаясь с автором, мы бы дополнили, что его замечания касаются и истории большевистской партии.

С болью, сочувствием и тоской пишет Шелохаев о представителях «нового направления» в исторической науке: сотрудниках Института истории СССР АН СССР П.В. Волобуеве, К.Н. Тарновском, А.Я. Авреxе и др. По его мнению, «все они верные марксисты-ленинцы... Если бы власть была умнее, то этих учёных надо было носить на руках и всячески лелеять» (с. 74), а их подвергли жестокой критике, многих перевели на другие места работы и т.д. Без дневников трудно ныне представить и историю написания последних «Очерков истории КПСС», предпринятых в перестроечное время. Тогда Шелохаев сделал для себя вывод о том, что «так называемая революционная целесообразность делала из политиков откровенных циников», что с нравственностью у большевиков «было не всё в порядке» (с. 108). Историк ярко описывает как во время крушения СССР и КПСС стали исчезать ранее ведущие историко-партийные институты и как складывалась судьба работающих там историков, в том числе и самого автора. Именно тогда у возглавляемой им группы историков возникла идея начать создание энциклопедии «Политические партии России», которая была опубликована в 1996 г. в созданном ими же издательстве РОССПЭН (с. 123, 151). Он писал о житейских и иных трудностях той поры, заключая: «Жизнь испытывала нас на прочность, мы обязаны были выстоять. Рядом со мной были верные друзья, преданные науке, которая в этот период и стала нашей единственной спасительницей» (с. 125). Его первые впечатления от происходящего в стране в 1990-х гг. были неутешительны: «Мечтали освободиться от «коммунистического диктата» и попали в жестокие лапы «демократического безумия» (с. 141). После августовских событий 1991 г. он дал себе зарок, что больше ни в какие партии вступать не будет (с. 160).

Немало в дневнике и мыслей о будущем переустройстве страны и жизни её граждан. В.В. Шелохаев писал об этом во многих статьях, книгах, рассказывал в выступлениях. Но наиболее откровенен он в дневнике. Это касается его мыслей о том, что единая национальная идея не может быть создана в многонациональной стране (с. 202); что в массовом сознании россиян укоренилось представление о невозможности найти консенсус с властью; что реформы, проводимые «сверху», никогда не доводились до конца и всегда носили мобилизационный характер, ухудшающий жизнь населения (с. 204–208). Он считает стратегической ошибкой властей перенесение западноевропейского опыта модернизации в Россию, страну с запаздывающим развитием, и называет условия, при выполнении которых модернизация, по его мнению, всё же может пройти успешно. Среди них – формирование личности, гражданского общества и качественно иной политической системы (с. 210–211). И с горечью заключает, что исторический опыт проведения модернизации властями не используется (с. 228–229).

Автор много пишет о триаде «личность – общество – власть». Он сожалеет, что власть в России «всегда держала под своей пятой и отдельного человека, и общество в целом, не давая им подняться с колен». Отсюда – «состояние безысходности», которое зачастую вынуждает человека не жить, а вести борьбу за выживание. Шелохаев заключает, что со времени публикации первого «философического письма» П.А. Чаадаева прошло много времени, «но суть затронутых им проблем осталась прежней: индивидуум не стал личностью, общество не стало современным, а власть по-прежнему не дает им развиваться... Главное состоит в том, что власть ничего не хочет менять, ибо её вполне всё устраивает». И всё это происходит в начале XXI века (с. 233, 235).

Последние страницы дневника Валентина Валентиновича, посвященные жизни страны и современному состоянию исторической науки, полны пессимизма и боли. Это не обывательские переживания, а аналитическое заключение талантливого историка-профессионала, хорошо знающего, чем

заканчивались подобные смутные времена для страны и общества. Он много пишет о П.А. Столыпине, называя его выдающимся государственным деятелем России (с. 273), сожалея, что подобных ему преобразователей в числе нынешних лидеров страны не существует. Шелохаев уверен, что в России «нерешенные в прошлом проблемы рано или поздно начинают приобретать лавинообразный характер» и «на долю ныне живущих поколений выпала нелегкая задача поиска их решений... Борьба за власть затмила глобальную задачу проведения объективно назревших системных реформ в СССР, а затем в России. К сожалению, эта борьба в разных формах продолжается и сейчас, и конца ей пока я не вижу» (с. 282). Он сожалеет и о том, что «ни в 1917 г., ни в 1991 г. человек в России так и не смог распорядится свободой», всем стал распоряжаться всесильный бюрократ (с. 295, 303, 322, 331). Автор уверен, что его поколение, «честно сделавшее научную карьеру в СССР, продолжает, стиснув зубы, трудиться на научной ниве, ибо это единственное, что у них осталось в жизни» (с. 316). И еще. Он верит в талантливую молодежь, для которой «национальные интересы России – не пустой звук или пропагандистский трюк» (с. 349). Трудно не согласиться и с его мнением о том, что «идеалистическим порывом российской интеллигенции в августе 1991 г.» воспользовались люди, «преследующие не гуманистические, а сугубо меркантильные цели. Как говорится, результаты налицо» (с. 356). Но веры в будущее возрождение России автор не утратил (с. 409). Как человек сугубо творческий, пишет он и о занятиях новым проектом «Реформы в России» (с. 411).

Такое объемное и сугубо личное произведение как дневник всегда содержит в себе немало полемичного. Отметим некоторые детали. В.В. Шелохаев считает первым политическим процессом в советской России суд над деятелями Тактического центра (16–20 августа 1920 г.) в Москве (с. 249). Но ещё раньше, 27 ноября 1918 г. Верховный революционный трибунал осудил руководство партии левых эсеров. При чтении дневника у нас появился и общий вопрос об отношении к когда-то сделанным записям, отражающим точку зрения, не соответствующую сегодняшнему взгляду. В ноябре 1984 г. автор побывал в качестве оппонента в Казани и посетил Кокушкино – место первой ссылки молодого В.И. Ленина (с. 68). Тогда сам факт ссылки считался непреложной истиной. В настоящее время открыты документы, позволяющие взглянуть на историю студенческой сходки в Казанском университете 4 декабря 1887 г. иначе. Оказалось, что во главе её стоял не первокурсник юридического факультета В.И. Ульянов, а студент естественного факультета Е.Н. Чириков (1864–1932) – будущий известный писатель и общественный деятель. Никто из участников сходки не был арестован, но 39 студентов, в том числе и Ульянова пригласили в полицейский участок. Они провели вместе ночь и на следующий день все написали заявления на имя ректора с просьбой отчислить их из числа студентов университета (см.: В.И. Ленин и Татария. Казань, 1970. С. 32). Таким образом, их не исключали из университета, а они сами его покинули. По полицейским данным, Ульянов оказался в числе 27 пассивных участников сходки. Чирикову полицейские посоветовали покинуть город. На вопрос о своих дальнейших планах Ульянов сказал, что поедет в с. Кокушкино, где находился дом его деда доктора А.Д. Бланка, завещанный тем дочерям, среди которых была и мать Ленина – М.А. Ульянова. 7 декабря 1887 г. Ульянов уехал в Кокушкино, а затем свободно посещал Казань. Так что это была вовсе не ссылка, а решение самого В.И. Ульянова из студенческой солидарности покинуть университет и поехать в родной ему дом за 40 км от Казани. В таких случаях, видимо, следует как-то комментировать изменения в оценках тех или иных событий, произошедшие в последние годы.

Эти небольшие соображения, конечно, нисколько не снижают интереса к дневнику В.В. Шелохаева. Завершается публикация записью от 25 мая 2012 г. Очень хотелось бы прочитать продолжение этих честных и откровенных записок российского историка.

А.А. Литвин, А.Л. Литвин

Сколько лет Чебоксарам?

С какой даты следует отсчитывать возникновение того или иного города? Вопрос этот довольно сложен. Поясним это на примере российской столицы. Хорошо известно, что первое летописное упоминание Москвы относится к апрелю 1147 г., когда Юрий Долгорукий пригласил сюда своего союзника князя Святослава. Но, строго говоря, городом Москва стала в 1156 г., только после строительства деревянной крепости. Между тем несомненно, что Москва существовала как поселение еще до первого своего летописного упоминания. При строительстве храма Христа Спасителя в XIX в. на пятиметровой глубине был обнаружен клад арабских монет, две из которых датируются 862 и 866 гг. На основании этого археолог А.Г. Векслер в своих публикациях в СМИ предлагал удревнить историю Москвы. Тем самым встает проблема, что следует признать исходной точкой истории города: основание крепости, первое упоминание в письменных источниках, или находку древнейших артефактов, подобно тому, как некоторое время назад Казань отметила свое тысячелетие в результате обнаружения на территории казанского кремля двух старинных арабских монет. Этим вопросам, применительно к первоначальной истории города Чебоксары, была посвящена состоявшаяся 26 сентября 2013 г. в Чувашском государственном институте гуманитарных наук (ЧГИГН) Всероссийская научно-практическая конференция «Город Чебоксары и его округа в эпоху Средневековья».

Дискуссию открыл доклад д.и.н. *К.А. Аверьянова* (ИРИ РАН) «О времени возникновения города Чебоксары». В литературе бытовало, по крайней мере, три даты возникновения Чебоксар: 1371, 1469 и 1555 гг. Но если первая дата – явно ошибочная и возникла в результате опечатки в одной из книг, то две другие дали повод для проведения соответствующих юбилеев. В 1955 г. торжественно отмечалось 400-летие основания Чебоксар на основании того, что летом 1555 г. здесь была построена крепость: её возведение именуется в источниках «основанием града». Впрочем, к этому времени уже было известно летописное известие 1469 г., когда при описании похода «судовой рати», посланной Иваном III на Казань, упоминаются Чебоксары: «А начевали на Чебоксаре, а от Чебоксари шли весь день, да и ночь ту всю шли, и приидоша под Казань на ранней зоре майя 21». На основе этого свидетельства в 1969 г. отмечалось 500-летие столицы Чувашии.

Определенные коррективы в эти представления внесли археологические раскопки 1969–1973 гг. В общей сложности было обнаружено 13 строительных периодов, а находки в самом нижнем слое датировались XIV в. Изученный археологами район Чебоксар имел ярко выраженный ремесленный характер. Об этом свидетельствовали находки остатков ремесленных мастерских, а также небольшие размеры дворовых участков (до 150 м^2), что явно не характерно для сельских поселений. Все это заставило исследователей утверждать, что со времени своего возникновения Чебоксары представляли собой не рядовое сельское поселение, а город, центр ремесла и, очевидно, торговли. Не исключали они возможности и того, что последующие раскопки смогут удревнить дату возникновения Чебоксар до конца XIII – начала XIV в.

В начале 1990-х гг. Е.И. Иванов обратил внимание на три западноевропейские карты 1367, 1375 и 1459 гг. На первых двух на месте Чебоксар был изображен город без указания названия, а на последней – помещен г. Веда-Суар (*чув.* Вăта Сăвар, «Средний Сувар»). Это вызвало оживленную дискуссию в местной прессе и различные предположения о дате возникновения города. В этом качестве предлагались 1295, 1200, 1024 гг. Поскольку западноевропейская картография XIV–XV вв. даёт крайне искажённые сведения по географии Восточной Европы, обсуждать научный смысл подобных дат не имеет смысла. Тем не менее споры имели очень важный результат. Местный историк-архивист В.А. Нестеров предположил, что Чебоксары в указанный период не являлись городом, а представляли собой поселение сезонного типа на Волжском пути, где суда останавливались на зимовку и ремонт. Тем самым вполне удовлетворительно объясняется ремесленный характер поселения на месте современных Чебоксар, выявленный при археологических раскопках рубежа 60–70-х гг. XX в.

Существовали ли другие аналогичные поселения на Волге? Под 1521 г. «Казанский летописец» содержит свидетельство о существовании подобных поселений «на Девичиих водах» (между Самарой и Саратовом), где московские рыболовы «живяху лето все». Очевидно, таким же сезонным поселением являлись в этот период и Чебоксары. Жизнь здесь оживала летом, а зимой, когда рыбопромышленники возвращались домой, замирала. Его возникновение, вероятно, относится к середине XIV в. В этот период в результате «великой замятни» в Орде началась эпоха переворотов, а границы русских княжеств (в первую очередь Нижегородского) отодвигались все дальше на восток, вплоть до нижнего течения Суры. Первое летописное упоминание Чебоксар относится к 1469 г. и именно эту дату следует признать исходной точкой в истории города.

Роли и значению речки Чебоксарки, давшей название городу, и во многом определившей его первоначальную инфраструктуру (устройство мельниц, фабрик), было посвящено выступление чебоксарского краеведа *С.А. Петрова.* Значительный интерес вызвал доклад д.филол.н. *Н.И. Егорова* (ЧГИГН) «Ранняя история города Чебоксары в зеркале топонимики». Он отметил, что в настоящее время существуют около 30 версий происхождения названия города. Во многом это объясняется тем, что в настоящее время город имеет русский, чувашский, татарский и марийский варианты наименования. Судя по всему, исходным является марийский вариант (точнее, булгарский, занесённый в марийский язык). Современное написание «Чебоксары» проникло в русский язык через посредство татарского языка (именно так поселение именовали в письменных документах чиновники Казанского ханства). Егоров проанализировал и внутригородские топонимы: названия холмов, рек и ручьев, оврагов, крепостных башен, улиц. Большинство из них имеют русское происхождение, но некоторые (в первую очередь гидронимы) позволяют выяснить этнический состав прежнего населения этой территории.

Изучению ранней истории Чебоксар был посвящен доклад к.и.н. *Ю.В. Гусарова* (ЧГИГН). Несмотря на то, что первые описания города появились ещё во второй половине XVIII в., долгое время работы по ранней его истории носили краеведческий и описательный характер (в частности, давались сведения о состоянии города, его населении, архитектурных памятниках, записывались устные предания о возникновении). Только во второй половине XX в. этой проблематикой стали заниматься профессиональные исследователи. В этой связи особо следует упомянуть работы известного чувашского историка В.Д. Димитриева (1924–2013).

Ранняя история Чебоксар, так же как и многих других российских городов, нашла отражение в исторических преданиях местного населения. Их анализу было посвящено выступление *С.В. Гончаровой* (ЧГИГН). Первая известная легенда была записана ещё в 1760-х гг., а последние относятся к 1970-м гг. и продолжают бытовать по сей день. Они повествуют о возникновении города на месте чувашской деревни Шобоксар, которая позднее была перенесена на новое место, о наличии здесь чувашских святилищ, основании города рыбаком (рыбаками) и т.д. Насколько верно эти предания отражают реальность, говорить сложно, поскольку с течением времени в подобных рассказах возникают всё новые и новые детали, проникающие в них из научной и научно-популярной литературы.

Представления о том, что представляла собой здешняя местность до основания города, могут дать данные археологии. Особое внимание в этом плане заслуживает выступление к.и.н. *Н.С. Березиной* и к.и.н. *В.Г. Харитоновой* (ЧГИГН) о раскопках 2012–2013 гг. на Шинепорсинском святилище в округе Чебоксар, которое, очевидно, было сходно по типу с имевшимся и в Чебоксарах. Располагавшееся на речном мысу, святилище укреплялось валами с проходами, где когда-то имелись ворота. Были обнаружены кострища с костями тысяч жертвенных животных. Судя по находкам мелких монет (последняя из них датируется 1898 г.) и «нухраток» (подражаний монетам), святилище существовало с перерывами с IX до конца XIX в.

К сожалению, точных данных об этническом составе местного населения в эпоху Средневековья у нас нет. Отдельные сведения может дать анализ археологических памятников. *М.И. Федулов* (Чебоксарский государственный университет) рассказал о

раскопках 2012–2013 гг. Анаткасинского могильника. Так же как и Шинепорсинское святилище, он располагается на речном мысу, рядом с ним находилась чувашская кереметь (святилище). Несмотря на то, что могильник был разграблен еще в древности, археологам Йошкар-Олы и Чебоксар удалось обнаружить здесь материалы, которые датируются X–XI вв. И хотя этническая принадлежность могильника остаётся пока неясной, с определенной степенью уверенности можно говорить, что в захоронениях прослеживается булгарское влияние.

Л.В. Акилбаев (Марийский НИИ языка, литературы, истории) провёл анализ торговых и этнокультурных контактов древнемарийского населения в IX–XII вв. Предметом его изучения стали височные кольца, носившиеся в составе головного убора. Любопытно, что они характерны для мужских погребений и входили в состав марийского мужского костюма. Аналогии с ними находятся среди древнего удмуртского населения по Верхней Каме и Чепце. Данный факт говорит о значительных миграциях древнего населения Среднего Поволжья.

Е.П. Михайлов (ЧГИГН) остановился на истории археологического изучения Чебоксар. Первые случайные находки в городе были сделаны при проведении земляных работ еще до революции 1917 г., но планомерное археологическое исследование началось только в середине 1960-х – начале 1970-х гг. и было связано со строительством Чебоксарской ГЭС. В этот период было вскрыто около 300 м^2. В 1979–1980 гг. проводились небольшие раскопки посадской части; масштабное археологическое изучение города возобновилось только в начале XXI в.: в результате раскопок 2005–2006, 2009 и 2013 гг. было исследовано еще около 300 м^2 территории. Найденный археологический материал свидетельствует о взаимодействии различных этносов на территории города, однако все находки – не старше середины XIV в.

Уточнить данные археологии позволяет использование методов естественных наук. Доклад к.и.н. *Е.М. Макаровой* (Казанский федеральный университет) был посвящен анализу антропологического состава населения Чебоксар в XVI–XVII вв. В 2006 г. в старой части города строители наткнулись на человеческие останки. В результате срочно организованных археологических работ было выявлено несколько десятков погребений. Случайно обнаруженная во время раскопок монета 1547 г. позволила говорить о том, что перед нами кладбище первых жителей Чебоксар, относящееся ко второй половине XVI в. Весьма характерно значительное преобладание мужского населения. Из обнаруженных 97 останков лишь 63 принадлежат взрослым (13 из них – женские). Пик взрослой смертности приходился на 30–55 лет, а средняя продолжительность жизни составляла 37.7 лет (с учетом детской смертности понижалась до 25.5 лет). Подобные цифры в целом соответствуют подобным выборкам этого времени по другим регионам России. Краниологический анализ позволяет говорить о том, что первыми обитателями чебоксарской крепости были выходцы из Тверской земли. Также прослеживается монголоидный признак смешения с местными жителями.

Наблюдения антропологов подтверждаются и другими естественно-научными данными. К.и.н. *Н.В. Харламова* (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН), анализируя население Чебоксар XVI в. по данным одонтологии, по изменчивости зубных признаков выяснила, что в первые десятилетия своего существования город был многонациональным.

О чебоксарском кремле – важном оборонительно-крепостном комплексе середины XVI–XVII вв. в Среднем Поволжье – рассказала к.архит. *И.В. Назарова* (Казанский государственный архитектурно-строительный университет). Строительство крепости осуществлял Пушкарский приказ, а дальнейшее её функционирование возлагалось на приказ Казанского дворца. Судя по данным 1637 г., местный гарнизон состоял из 47 дворян и детей боярских, а город, помимо кремля, состоял из посада и слобод. Деревянная чебоксарская крепость просуществовала до пожара 1704 г., после чего больше не восстанавливалась. Известное представление о форме крепости дают сохранившиеся планы города 1789 и 1796 гг., а о внешнем её облике можно судить по гравюре

Н. Витсена 1682 г., на которой видна характерная «тарасная» конструкция деревянных стен.

Центром чебоксарской крепости являлся воеводский или «государев» двор. Его истории во второй половине XVI–XVIII вв. было посвящено сообщение *Д.В. Басманцева* (ЧГИГН). Писцовые и переписные описания городов обычно фиксировали состав таких дворов и различные жилые и служебные постройки. Однако по Чебоксарам подобные источники не сохранились, поэтому приходится привлекать материалы XVIII в.: описи 1729 и 1770-х гг., план города 1765 г.

Более наглядно представить облик города и его укреплений позволяют методы компьютерного моделирования. О создании трёхмерной модели Чебоксарской крепости и города в XVIII–XIX вв. говорилось в выступлении *И.К. Кугуракова* (ЧГИГН). При создании музейных макетов применяются различные масштабы (для зданий – 1:10 или 1:50, а для города – 1:1000). Но в последнем случае крайне трудно показать архитектурные детали отдельных сооружений. Проблему масштаба снимает использование виртуальной модели, которую пользователь может по своему желанию приближать, удалять или разворачивать в пространстве. Поскольку данная методика изначально использовалась для показа археологических памятников, она получила название «виртуальной археологии». В последнее время эта методика довольно быстро развивается, о чём говорит факт проведения в 2012 г. конференции по виртуальной археологии в Государственном Эрмитаже. Как правило, методы компьютерного моделирования используются для популяризации науки. Но они могут быть и видом научной реконструкции, в основу которой кладутся планы города, фотографии, обмеры зданий и т.п.

Несмотря на то, что Чебоксары вплоть до революции являлись относительно малонаселенным городом, это был довольно заметный промышленный центр. В частности, хорошо известно чебоксарское колокольное производство. О существовании здесь предприятий по производству медного литья говорит находка в Чебоксарах штампа для производства складней, о котором рассказал *Д.В. Спрыжков* (Новочебоксарский историко-художественный музейный комплекс). Массовое производство медных складней началось в начале XVIII в. и связано со старообрядцами, которые предпочитали именно их.

Определённое представление о быте горожан дают стеклянные предметы, обнаруженные во время археологических раскопок старой части города в начале XXI в. Сообщение о них сделал *А.О. Кайсин* (Кировский государственный университет). Стекло служит довольно четким критерием зажиточности горожан, поскольку вплоть до XVIII в. оно не было предметом обычной жизни. Широкое использование стекла в России началось только в первой трети XIX в., когда произошла массовая замена прежних слюдяниц оконными стеклами. Средневекового стекла в Чебоксарах не обнаружено, а найденный материал – бутылки, штофы, парфюмерная и аптекарская посуда XVIII–XIX вв. – достаточно типичен для своего времени. Рассказу о средневековых изразцах Чебоксар было посвящено выступление *Н.И. Казариной* (Нижегородский историко-архитектурный музей). Поскольку своего керамического производства в Чебоксарах не было, основная масса изразцов поступала сюда через Макарьевскую ярмарку из Балахны. По сравнению с московскими, балахнинские были более дешевыми и прекрасно расходились по всему Среднему Поволжью.

Подводя итоги, к.филол.н. *Ю.Н. Исаев* (ЧГИГН) отметил, что конференция стала профессиональным разговором учёных различных специальностей по проблемам первоначальной истории Чебоксар, позволила сблизить точки зрения специалистов на время возникновения Чебоксар, характер раннего поселения на этом месте, его первоначальный этнический состав и др. Предполагается публикация сборника материалов конференции.

К.А. Аверьянов

Семинар «Россия и мир: из истории взаимовосприятия» в 2011–2013 годах

С 1994 г. в Центре по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН (ИРИ РАН) работает группа по исследованию международных культурных связей России. На её основе был создан и успешно функционирует междисциплинарный научный семинар по истории взаимовосприятия культур, в который входят учёные ИРИ РАН и других научных учреждений. В течение 1994–2010 гг. состоялись 17 заседаний ежегодного «круглого стола» под общим названием «Россия и внешний мир: из истории взаимовосприятия»[1], Всероссийская научная конференция (ноябрь 2008 г.)[2] и тематический «круглый стол» «Мир в зеркале политической карикатуры» (декабрь 2009 г.)[3]. Во второй половине 1990-х–2012 гг. вышли в свет подготовленные в рамках семинара коллективная монография и сборники научных трудов[4], получившие высокую оценку научной общественности.

1 февраля 2011 г. состоялся 18-й «круглый стол», в котором приняли участие сотрудники ИРИ РАН, других учебных и научных учреждений Москвы, Брянской, Нижегородской и Челябинской областей. Пленарное заседание началось с доклада к.и.н. *П.Н. Грюнберга* (Пушкинская комиссия ИМЛИ РАН) о процессах формирования антивосточных, антирусских представлений в Западной Европе и самовосприятия Российской империи как востока Европы. Проблеме негативного отношения западных стран к современной России посвятил своё выступление «Традиции глобального противостояния России и Запада (середина XIX – начало XXI века)» к.и.н. *В.А. Литвиненко* (Институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ). Продолжило тему сообщение д.филос.н. *И.Г. Яковенко* (РГГУ) «Динамика образа Запада: постсоветские десятилетия», в котором была охарактеризована сложившаяся после 1991 г. историческая ситуация, когда на смену сформированным в советской культуре мифам о капиталистическом Западе (как негативным, так и позитивным) пришло переосмысление и советского опыта, и реалий западного общества. Затем член редколлегии журнала «Обозреватель» д.п.н. *В.Б. Павленко* прочитал доклад о России и Западе как конкурирующих глобальных проектах, каждый из которых сочетает в себе социокультурный фундамент и материальную надстройку. Завершило программу заседания выступление д.филол.н., к.филос.н. *И.В. Кондакова* (РГГУ) «Россия и Китай: соревнование глобалистов», сделавшего вывод о том, что отношения Китая (важнейшего «глобалитета» Востока) с США, Россией и Европой составляют узел современного многополярного мира.

Дальнейшая работа «круглого стола» проходила по секциям, организованным по хронологическому принципу. Выступление д.и.н. *Т.Л. Лабутиной* (ИВИ РАН) затронуло проблему ксенофобии: её зарождение в России во времена правления Ивана IV и Бориса Годунова связывалось с ответной реакцией общества на тесное сближение российской политической элиты с Англией, а сохранение в петровскую эпоху – с реформами, проведёнными по западным лекалам. К.и.н. *С.М. Шамин* (Институт русского языка им. А.С. Пушкина) посвятил свой доклад влиянию малоизвестной картины голландского живописца XVII в. Даниэля Вухтерса «Битва израильтян с амаликянами» на формирование русской живописи того времени. Д.и.н. *О.Г. Агееева* (ИРИ РАН) на основе проведённого анализа мемуаристики и деловой переписки представила процессы восприятия западноевропейскими дипломатами церемониалов встречи, аудиенций и привилегий дипломатов в России XVIII в. и изменения традиционного дипломатического церемониала в сторону принятия европейских новшеств. Проблему идентичности затронул к.и.н. *П.С. Куприянов* (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН), проанализировав материалы о заграничных путешествиях XIX в., исследователь уделил особое внимание сюжетам, связанным со сменой культурного статуса. *П.П. Грюнберг* (ИРИ РАН) в своём сообщении «Восприятие России иностранцами в 1812 г.: немцы, англичане, французы» утверждал, что заведомая предвзятость мнений

побывавших в стране иноземцев обусловливает ценность их положительных откликов. К.и.н. *Т.В. Котюкова* (ИВИ ВА ГШ ВС РФ) рассмотрела особенности отражения представлений мусульман о России в «Туркестанской туземной газете». *А.Ю. Лычко* обратилась к наследию историка, профессора Санкт-Петербургского университета, теоретика и практика научных путешествий И.М. Гревса. Интерпретациям экономической политики С.Ю. Витте германскими экономистами и отчасти публицистами был посвящён доклад д.и.н. *А.Г. Дорожкина* (Магнитогорский государственный университет (МагГУ)).

Работу секции «Россия и мир в XX–XXI вв.» открыло выступление д.и.н. *И.С. Рыбачёнок* (ИРИ РАН), посвящённое проблеме трансформации образов, существующих в политической карикатуре. Д.и.н. *В.И. Шеремет* (ИВ РАН) в докладе «Россия и Турция в канун Первой мировой войны глазами русской и турецкой спецслужб» представил новый архивный материал, касающийся «образа соседа» в этих странах накануне военных действий, оценил перспективы военного союза двух стран. В сообщении *Е.В. Киселёвой* (БГУ им. И.Г. Петровского) «Образ внешнего врага на страницах региональной периодики времён Гражданской войны» объектами анализа периодической печати Орловской губернии 1918–1922 гг. стали виды и доминанты врага, средства его репрезентации на лингвистическом уровне. Творческим связям К.Д. Бальмонта с болгарскими символистами посвятил свой доклад *Г.Д. Певцов* (альманах «Литературные знакомства»), высоко оценивший влияние этого яркого представителя русской символистской традиции на поэтов Болгарии в 1920–1940-х гг. К.и.н. *А.Г. Колесникова* (РГГУ) рассказала об особенностях формирования образа врага на примере киноафиш и в детективно-приключенческих фильмах периода холодной войны. Затем были заслушаны доклады сотрудников ИРИ РАН: к.и.н. *А.В. Голубева,* проанализировавшего роль слухов, в частности, механизмы их возникновения и специфику источников, в которых они фиксировались, для изучения представлений о внешнем мире; д.и.н. *Е.С. Сенявской,* сделавшей обзор стереотипов восприятия Красной армии в России и на Западе, и д.и.н. *Н.Ф. Бугая,* охарактеризовавшего представление российского социума о курдской этнической общности. Работа секции завершилась докладом д.и.н. *А.А. Киличенкова* (РГГУ) о том, как восприняли западные, особенно американские, исследователи концепцию национального пути развития российского флота.

* * *

Участниками работы 19-го «круглого стола» (7 февраля 2012 г.) стали учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Владивостока, Иванова, Магнитогорска, Нижнего Новгорода и Саратова. Пленарное заседание открыл доклад д.филол.н. *А.Ю. Большаковой* (ИМЛИ РАН) «На перекрестьях России и Запада: культурное бессознательное как проблема», затронувшей вопросы, которые до сих пор остаются в центре научных дискуссий. Активное обсуждение вызвало выступление *И.Г. Яковенко* «Образ Запада – нулевые и десятые годы: тренды и факторы» – о Западе как изначально враждебной конструкции и одновременно форме осмысления в общественном сознании исторических итогов XX в. *И.В. Кондаков* в своём докладе «Россия и страны Центральной Азии на рубеже XX–XXI вв.: евразийский синдром» сопоставил эти государства в качестве цивилизационных образований и смежных культур (евразийских). *П.С. Куприянов* рассказал о возникавших у русских путешественников 1800-х гг. своеобразных «имагологических ловушках» при описании Италии, а также о специфических трудностях при использовании подобных материалов во время проведения историко-имагологических исследований. Завершило работу пленарного заседания выступление д.и.н. *С.А. Козлова* (ИРИ РАН) «Неувядающая юность прошлого: образы Италии в русской печати XIX – начала XX века».

Затем началась работа по секциям. Заседание первой из них (период с древнейших времён до начала XX в.) открыл д.и.н. *В.В. Пенской* (Белгородский государственный университет), проанализировавший образ царя Ивана Грозного в сочинении А. Шлихтинга, которое способствовало закреплению за царём и его подданными репутации

жестоких и необузданных варваров. Соискатель ИРИ РАН *П.В. Филатов* (ПМТ) выявил «человеческую составляющую» в записках иностранцев о жителях Московского государства в конце XVI – начале XVII в., *Д.Л. Марков* (СПбГУ) исследовал феномен польской культуры в творчестве Симеона Полоцкого в «домосковский» период. Д.и.н. *С.А. Мезин* (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского), проанализировав сочинения французов-современников о России в период реформ Петра I, пришёл к выводу, что французская россика того времени и количественно, и по богатству материала значительно уступает аналогичным сочинениям немцев, англичан, шведов и датчан. К.и.н. *С.М. Шамин* (ИРИ РАН), подробно рассмотрев известия о Франции, представленные в курантах 1671–1672 гг., установил, что благодаря последним, российское правительство регулярно получало сведения о французской армии и войнах Людовика XIV. С сообщением «Петровская Россия глазами британского дипломата и разведчика Чарльза Уитворта» выступила *Т.Л. Лабутина.* Большой интерес вызвал доклад к.и.н. *М.С. Стефко* (РГГУ) «Где остановиться в Париже?», в котором были проанализированы данные французских источников о местах проживания русских в столице Франции в последней трети XVIII в. Восприятию России Западом в 1799 и 1812 гг. посвятил своё сообщение *П.Н. Грюнберг.* К.и.н. *С.В. Удалов* (СГУ им. Н.Г. Чернышевского) представил результаты проведённого им анализа факторов, определивших отношение русских консерваторов к проблеме «Россия–Запад» во второй четверти XIX в. Взгляды российского посланника в США А. Бодиско на дипломатический инцидент в Смирне (захват на территории Османской империи по распоряжению австрийских властей мадьярского революционера Мартина Кошта в 1853 г.) изложила к.и.н. *М.М. Сиротинская* (ИВИ РАН). Проблеме этнической ксенофобии, проявляющейся в повседневной жизни, посвятила своё выступление заместитель главного редактора журнала «Урал» к.и.н. *С.С. Белякова*, использовавшая в качестве источника дневник А.Г. Достоевской 1867 г.

Д.и.н. *Д.Ю. Арапов* (МГУ им. М.В. Ломоносова) выступил с докладом «Русский дипломат Н.Ф. Петровский и его программа сбора информации об Азии силами русской “закордонной туземной” агентуры (1887 г.)», а соискатель МГУ *Е.А. Захарова* (Государственный центральный музей современной истории России), сопоставив данные русских путеводителей и воспоминаний российских туристов о Париже рубежа XIX–XX вв., представила доказательства того, что город вызывал у туристов двоякие ощущения – от восхищения его достопримечательностями до ужаса перед развратом «современного Вавилона». Завершил работу секции доклад *Ю.В. Муравлёвой* (МГУ) «Русский балет и мода: дягилевские сезоны и светская жизнь парижского бомонда».

Вторую секцию, посвящённую взаимовосприятию России и мира в первой половине XX в., открыло выступление к.и.н. *Т.А. Филипповой* (журнал «Родина») «“Враг с Востока” в боях за цивилизованность» (по материалам русских сатирических журналов начала XX в.). О России глазами сербов в канун Первой мировой войны говорилось в докладе к.и.н. *П.А. Искендерова* (ИС РАН). Д.и.н. *И.В. Купцова* (МГУ) посвятила своё выступление трансформации представлений о Германии в сознании российской художественной интеллигенции в годы Первой мировой войны – от образа культурного учителя к образу врага. О военном опыте взаимодействия русской армии с комплексом враждебных сил на чужой территории (вооружённые силы противника, население, чуждый природный ландшафт) рассказал к.и.н. *А.Б. Асташов* (РГГУ) – «Многоликий враг глазами русской армии (1914–1918)». При освещении темы «Российская провинция глазами немецких участников секретных советско-германских военных школ» д.и.н. *Ю.З. Кантор* (Государственный Эрмитаж) были представлены сделанные немцами на военных объектах наблюдения относительно взглядов граждан на «социалистическое строительство», их мировоззрения, социальных и культурных потребностей. Выступая с докладом «Германия и её жители в книге Л.М. Рейснер “В стране Гинденбурга”» д.и.н. *В.Л. Чернопёров* (Ивановский государственный университет) отметил содержащиеся в этом произведении критику немецкого мещанства, веймарской прессы и социально-экономического положения в Германии середины

1920-х гг. в целом, а также неприглядные образы немецких женщин-католичек и новых германских пролетариев.

А.Н. Макаров (МагГУ) рассмотрел механизм создания позитивного образа молодого советского государства за рубежом средствами фоторепортажа (в частности, фотографий, размещённых на страницах иллюстрированных журналов 1930-х гг.). Проблеме восприятия иностранными специалистами условий жизни и работы на строительстве металлургического комбината в Магнитогорске был посвящён доклад к.и.н. *Н.Н. Макаровой* (МагГУ). О роли советского кинематографа в создании позитивного образа республиканской Испании в СССР в годы Гражданской войны сообщил *Т.А. Мухаматулин* (ИРИ РАН). К.и.н. *В.А. Райкова* (РГПУ им. А.И. Герцена) подготовила свой доклад «Советская действительность глазами американских дипломатов (1933–1936 гг.)» на основе изученных ею дипломатических донесений, дневников и мемуаров. К.и.н. *Л.В. Жукова* (МГУ) рассказала о демонизации образа русской и Красной армий в дальневосточных конфликтах XX в. Доклады сотрудников ИРИ РАН были посвящены «грубой политической ошибке» руководства Компартии Таджикистана, сообщившего об открытии Второго фронта до начала десантной операции союзников во Франции (*А.В. Голубев*) и рассказу о том, как в 1940-х гг. редкие иностранные гости Сталина воспринимали неформальные встречи с ним и «узким кругом» его друзей (д.и.н. *В.А. Невежин).* Завершило работу секции выступление *Е.С. Сенявской* «Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров 1941–1945 гг.», по окончании которого прозвучал вывод автора о том, что полученные красноармейцами весьма противоречивые впечатления стали основанием для складывания набора этнополитических стереотипов.

Тема третьей секции – «Россия и мир во второй половине XX – начале XXI века». Началось заседание с доклада д.и.н. *Л.У. Звонарёвой* (Институт семьи и воспитания (ИСВ) РАО) о формировании традиции изучения во Франции творчества поэтов и художников (в том числе и эмигрантов) Серебряного века. *А.О. Мамедова* (МГУ) посвятила своё сообщение проблеме разработки советской пропагандой периода холодной войны темы шпионажа США, в частности, в работах «Агитплаката». В докладе *В.В. Переверзева* (МагГУ) шла речь о том, как советская периодическая печать освещала советско-китайские пограничные конфликты 1969 г. К.и.н. *А.А. Гордин* (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет) рассмотрел процесс формирования представлений о кризисе на Кубе у советского человека с помощью местных СМИ. Д.и.н. *А.Г. Дорожкин*, выступив по проблеме «Китайско-вьетнамская война 1979 г. в зеркале советской прессы», обозначил «пределы» пропагандистской войны между СССР и КНР. *Д.Р. Яруллина* (МГУ) представила результаты своего исследования по выявлению сложившихся в условиях американо-кубинского конфликта принципов взаимоотношений России и Кубы и процесса формирования образа последней в российских СМИ и художественной культуре.

В докладе *Н.А. Жуковой* (РГГУ) «"Утечка мозгов" из России в восприятии Запада: российская специфика или глобальный феномен?» рассматривалась проблема научной эмиграции из России. Тому, как представляли российско-белорусские союзные отношения страны Европейского Союза и США, посвятил своё сообщение к.и.н. *В.В. Машко* (РГГУ), подчеркнув, что европейские и американские политические силы, несмотря на демонстрацию собственного безразличия к интеграции на постсоветском пространстве, обращают на этот процесс пристальное внимание. Завершил работу секции доклад к.и.н. *В.А. Королёвой* (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН) «Искусство китайцев и корейцев в восприятии русской публики Владивостока второй половины XIX – начала XXI века».

* * *

В работе 20-го, юбилейного, «круглого стола» (5 февраля 2013 г.) приняли участие исследователи из Москвы, Брянска, Владивостока, Екатеринбурга, Иванова, Магнитогорска, Орла, Павлово, Санкт-Петербурга и Саратова. После краткого подведения

итогов 20-летней работы семинара его руководителем, главой Центра по изучению отечественной культуры ИРИ РАН *А.В. Голубевым*, участники мероприятия обсудили планы дальнейшей деятельности «круглого стола» (в том числе и на сайте семинара[5]). Открыл пленарное заседание доклад *С.М. Шамина* «Советский и российский кинематограф о европейцах в русской истории: Древняя Русь и Россия раннего Нового времени», посвящённый памяти сотрудника Центра по изучению отечественной культуры, д.и.н. С.С. Секиринского, скончавшегося в 2012 г. Далее был заслушан доклад заместителя директора Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве *В. Вуазен* «Советский военный кинематограф и общественность союзных стран: 1941–1945», в котором приводилась статистика проката советских документальных фильмов и военной хроники в эти годы.

Далее работа «круглого стола» проходила по секциям, на первой из них обсуждались проблемы периода с древнейших времён до Первой мировой войны. Д.и.н. *Е.И. Малето* (ИРИ РАН) в докладе «Империя и "Ойкумена": геополитическая проблематика русских средневековых "хожений"» показала роль Константинополя (Царьграда) как «имперского града» и его место в древнерусской картине мира. *М.С. Стефко* представила проблему необычного и обыденного в записках русских дворянок-путешественниц конца XVIII в. В сообщении *В.А. Королёвой* с позиции мнений современников рассматривалось влияние Китайского квартала в историческом центре Владивостока и уличных представлений артистов китайского театра во второй половине XIX в. – начале 1920-х гг. на формирование оригинального восточного колорита этого стремительно растущего на Тихоокеанском побережье российского города.

Д.Л. Марков и *Л.У. Звонарёва,* выступив по теме «Европейский город в творчестве Симеона Полоцкого», показали, как этот поэт и просветитель воспринимал город в качестве концепта. Согласно выводам, сделанным в докладе *Т.Л. Лабутиной* «Нерусские народы и этносы петровской России в восприятии английского инженера Джона Перри», важными для исследователей стали не только этнографические зарисовки этого английского путешественника, но и результаты его геополитических наблюдений. *С.А. Мезин* посвятил своё сообщение посмертной биографии Петра I, помещённой в официальной «Газет де Франс» 10 марта 1725 г., заключив, что за сдержанными оценками деятельности императора скрывалось не что иное, как проявление европейского высокомерия к вчерашним «варварам» и сомнений Версальского двора в легитимности его наследников. Далее выступил к.б.н. *К.А. Голиков* (МГУ), рассказавший об идейных традициях Запада и Востока в контексте садово-паркового искусства как синтеза отечественных традиций и воздействия иных культур.

А.Г. Дорожкин в докладе «Иностранный капитал в экономике дореволюционной России: отражение проблемы в современной неокоммунистической публицистике и свидетельства зарубежных очевидцев начала XX в.» представил результаты проведённого им сравнения позиций немецких россиеведов и современных «неолевых» публицистов. К.и.н. *А.А. Черниловский* (ОГУ), проанализировавший материалы российской военной периодической печати и делопроизводственные источники, описал, каким в конце XIX – начале XX в. представлялся русским военным германский военно-морской флот – вероятный противник на Балтике. Завершил работу секции доклад *И.В. Купцовой* «Образ Бельгии в сознании российской художественной интеллигенции в годы Первой мировой войны».

Работа второй секции началась с доклада *Л.В. Жуковой* «Китай: друг или враг? Эволюция образа Китая и китайцев от Пекинского похода до Второй мировой войны в сознании русских и советских военнослужащих», показавшей процесс формирования негативных стереотипов об этой стране. Затем выступили *В.Л. Чернопёров* – об образах России и русских, немцев и Кайзеровской империи, а также Антанты в дневниках Ю.В. Готье 1917–1918 гг.; к.и.н. *М.В. Ковалёв* (СГУ им. Чернышевского) – о Чехословакии 1920-х гг., позитивно воспринятой русским путешественником, писателем-эмигрантом М.Л. Слонимом; *А.П. Соколов* (МГУ) – об образе Советского Союза глазами офицеров рейхсвера в 1925–1933 гг.; *Т.А. Мухаматулин* – об исключительно поло-

жительном образе революционной Испании 1931–1939 гг. в советской литературе от М.А. Светлова до А.Н. Рыбакова; *А.В. Голубев* – об отражённых в дневнике М.М. Пришвина военных ожиданиях и реакциях на события внешнего мира в 1940–1941 гг.

В.А. Невежин в выступлении «Поляки на дипломатических приёмах И.В. Сталина (1941–1945 гг.)» представил стратегию вождя в отношении представителей польской делегации на дипломатических приёмах, а *Е.С. Сенявская,* раскрывая тему «"Сотрём в порошок самурайских гадов": образ врага-японца в Дальневосточной кампании 1945 г. в сознании советских военнослужащих», отметила созвучие настроений солдат и офицеров РККА и пропагандистских выступлений относительно Японии и её армии. Прозвучавшие затем сообщения посвящались следующим вопросам: д.и.н. *М.Н. Потёмкина* (МагГУ) – пробуждению в Канаде в период Великой Отечественной войны интереса к СССР и советским людям, вызванному союзническими отношениями; *Г. Шевалье* (РАНХиГС) – формированию образа Советского Союза на страницах одноимённого журнала; *П.С. Куприянов* – описанию таких концепций чужой еды для современных туристов, как постмодернистский мультикультурализм и этнокультурный традиционализм.

На сайте семинара в рамках «круглого стола» были представлены и обсуждены доклады *С.С. Белякова* (журнал «Урал») «"Европа надоела до чёртиков": Л.Н. Гумилёв в Германии 1945 года», *В.Ф. Блохина* (Брянский государственный университет) «Английская пресса о политике России на Балканах (1877–1878 гг.)», *А.Г. Колесниковой* «Образ немца в советском художественном кинематографе периода Великой Отечественной войны: к проблеме межнационального восприятия», *М.Н. Мосейкиной* (МагГУ) «Каталония и "каталонизм" в русской литературе путешествий второй половины XIX – начала XX в.», *Е.С. Сапрыкиной* (ИРИ РАН) «Народы Северного Кавказа в восприятии французских путешественников (первая треть XIX в.)», *К.Н. Станкова* (ВолГУ) «Заговор с целью убийства британского монарха Вильгельма III в 1696 г. в отражении курантов», *П.В. Филатова* «Культура заключения брака в России конца XVI – начала XVII веков по воспоминаниям современников-иностранцев».

Подводя итоги деятельности «круглого стола», его участники предложили в ближайшее время добиться более жёсткой тематической организации его секций, усилить междисциплинарный характер мероприятия за счёт приглашения специалистов других дисциплин, прежде всего политологов, и активизировать работу семинара, максимально используя все возможности его сайта.

Т.А. Мухаматулин

Примечания

[1] Отчёты о предыдущих заседаниях «круглого стола» см.: *Голубев А.В.* Россия и внешний мир. Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1995. № 3. С. 214–216; *Голубев А.В., Малето Е.И.* Россия и внешний мир: проблемы взаимовосприятия. Заседания «круглого стола» // Там же. 1998. № 3. С. 202–205; *Малето Е.И., Рудая Е.Н.* Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание «круглого стола» // Там же. 1999. № 1. С. 191–194; *Малето Е.И., Сенявская Е.Н.* Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание «круглого стола» // Там же. 1999. № 6. С. 195–200; *они же.* Россия и мир: проблемы взаимовосприятия в XV–XX вв. Заседание «круглого стола» // Там же. 2001. № 2. С. 206–209; *Шамин С.М.* Россия и мир: проблемы взаимовосприятия в XVI–XX вв. Заседание «круглого стола» // Там же. 2001. № 6. С. 192–196; *Агеева О.Г., Шамин С.М.* Россия и внешний мир: из истории взаимовосприятия. Заседание «круглого стола» // Там же. 2003. № 3. С. 187–190; *Барченкова В.А., Клименко А.Е., Котюков К.Л.* Россия и мир глазами друг друга // Там же. 2006. № 5. С. 191–196; *Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.А.* Россия и мир: проблемы взаимовосприятия культур // Там же. 2006. № 6. С. 224–227; *Голубев А.В., Кудюкина М.М.* Россия и мир: из истории взаимовосприятия // Там же. 2007. № 5. С. 215–218; *Стрижкова Н.А.* Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Российская история. 2009. № 2. С. 199–202; *Мухаматулин Т.А.* Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Там же. 2010. № 5. С. 211–215.

[2] *Мухаматулин Т.А.* Россия и мир глазами друг друга: проблемы взаимовосприятия // Российская история. 2010. № 1. С. 194–199; Россия и мир глазами друг друга: история взаимовосприятия. М., 2008.

[3] *Мухаматулин Т.А.* «Круглый стол» по истории политической карикатуры // Российская история. 2010. № 3. С. 217–218.

[4] Россия и Европа в XIX–XX вв.: проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996; Россия и внешний мир: диалог культур. М., 1997; Россия и Запад: Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века. М., 1998; Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 1–6. М., 2002–2012.

[5] URL.:http:/rosmir.iriran.ru/

Россия и русские глазами британцев, Британия и британцы глазами русских

Вторая международная научно-практическая конференция «Британия: история, культура, образование», состоявшаяся 24–25 сентября 2012 г. в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ), стала значимым для сообщества российских историков событием. Как и первая, прошедшая в мае 2008 г., она объединила историков из Великобритании, России, Германии, США и других стран, а также культурологов, лингвистов, педагогов. По замыслу организаторов этого научного проекта, обсуждение истории и культуры Британии должно было стать поводом для междисциплинарного диалога и создания кросскультурной исследовательской перспективы. Как показал опыт первой конференции, собравшей около 150 заявок от учёных из России и 6 зарубежных стран, такой подход очень востребован[1].

В этом году конференция собрала не меньшее количество участников из 37 городов России, а также из Англии, нескольких земель ФРГ, Голландии, Белоруссии, Казахстана. Доклады были заслушаны на трех пленарных заседаниях и на 15 секциях. Состоялись также три «круглых стола», два из которых были посвящены ведущим журналам в области гуманитарных наук – «Российская история» и «Преподавание истории и обществознания в школе». Проведение конференции совпало с важной вехой в истории международных научных связей. Ровно 20 лет назад прошла первая совместная конференция «Ярославль – Эксетер», в которой приняли участие 10 представителей британских университетов. С этого события началась эпоха плодотворного научно-образовательного сотрудничества исторического факультета ЯГПУ с университетами Эксетера (Великобритания) и Билефельда (Германия). Важнейшими вехами этого сотрудничества стали участие в проекте «История» программы TEMPUS/TASIS Европейского союза (1994–2000), программе «Александр Герцен» Германской службы академических обменов (1998–2005), а также других международных проектах.

Подробнее остановлюсь на выступлениях, в которых раскрываются те или иные сюжеты российской истории или англо-русских связей. Оживленную дискуссию вызвал доклад к.и.н. *А.В. Васильченко*, который предложил по-новому взглянуть на роль английской Московской компании в формировании народного ополчения для борьбы с польской интервенцией в 1612 г. и в этом контексте переосмыслить роль Ярославля в преодолении Смуты. В докладе профессора *Дж. Хартли* (Лондонская школа экономики) «Полтавская битва и англо-российские отношения» анализировалось значение событий Северной войны в становлении России как великой державы. На примере эволюции британских представлений о России исследовательница показала, как сражение под Полтавой, не принёсшее России непосредственной победы в войне, но продемонстрировавшее её военную мощь, стало поворотным моментом в истории англо-российских отношений, когда дипломатический статус России в глазах британцев заметно возрос.

Донесения Ч. Уитворта – британского посланника при дворе Петра I – легли в основу выступления *Т.Л. Лабутиной* (Институт всеобщей истории РАН – ИВИ РАН), которая

осветила деятельность английской разведки на территории России. *М.В. Жолудов* (Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина – РГУ) остановился на событиях Польского восстания 1830–1831 гг. и отношении к нему британской дипломатии. Несмотря на размах русофобских настроений в британской прессе и обществе, а также открыто декларируемую готовность поддерживать либеральные движения за рубежом, правительство лорда Грея рассматривало ситуацию с прагматических позиций, избегая прямого военного столкновения с Россией в невыгодных для себя условиях. Таким образом, по мнению историка, надежды поляков на помощь Англии не оправдались.

Несколько сообщений были посвящены истории англо-русских отношений в XX в. *Л.М. Архипова* (ЯГПУ) проанализировала воспоминания юрисконсульта при Министерстве иностранных дел, заведующего кафедрой международного права в Петербургском университете профессора М.А. Таубе как источник по истории отношений двух государств в 1904–1909 гг. В свете этих мемуаров некоторые события упомянутого драматичного периода в дипломатической истории России получают новую трактовку. О попытках вмешательства Англии во внутренние дела России говорил в своём докладе «А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов и британское политическое сообщество: ориентация на военную диктатуру» *С.Н. Ланцев* (Брянский государственный университет). *Ю.В. Савосина* (РГУ) обратилась к вопросу о роли англо-советской конференции 1924 г. в налаживании экономического взаимодействия двух государств, а доклад *А.Ю. Прокопова* (ИВИ РАН) был посвящён исследованию политики Коминтерна в отношении Великобритании в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Наконец, современный этап англо-российских межгосударственных связей получил отражение в выступлении *Р.Р. Валеевой* (Казанский государственный университет культуры и искусств).

Значительное место в работе конференции занимали сюжеты, связанные с конструированием взаимных образов и представлений англичанами и русскими. Эта тема находится в центре интересов президента Ассоциации британских исследований академика РАН *А.Б. Давидсона*, который поднял проблему трансформации взаимных образов России и Британии с началом Первой мировой войны. Учёный подчеркнул, что установление союзнических отношений в начале XX в. способствовало расширению обменов государственными, парламентскими и общественно-культурными делегациями и, следовательно, сближению народов двух стран. Особая роль в этом процессе принадлежала русским писателям и журналистам, которые побывали в Британии и опубликовали на родине забытые впоследствии книги и статьи о своих впечатлениях. Об эволюции образов Англии и англичан в России рассуждала и *И.Р. Чикалова* (Белорусский государственный педагогический университет). Она проанализировала содержание историко-литературного журнала «Исторический вестник» за 1880–1917 гг. и пришла к выводу, что с конца 1880-х гг. многочисленные статьи, посвящённые Британии, стали более доброжелательно освещать английскую жизнь и политику.

П.В. Акульшин (РГУ) и *И.Э. Фраш* (Дальневосточный государственный гуманитарный университет – ДГГУ) исследовали влияние британских идей на российскую общественно-политическую мысль XIX в. Акульшин проанализировал воззрения известного славянофила А.И. Кошелёва, который внимательно изучал британский политический опыт и считал возможным его использование в российском контексте. По мнению исследователя, представления Кошелёва о Британии могут быть серьёзным аргументом в поисках ответа на вопрос, к какому из направлений отечественной общественной мысли следует отнести славянофильство – к консервативному или либеральному. Как продемонстрировал в своём выступлении *И.Н. Гребёнкин* (РГУ), о настроениях в среде представителей Русского зарубежья можно судить по сочинению генерала Н.Н. Головина, опубликованному в 1935 г. В нем с откровенно англофильских позиций оценивались стратегическое положение и возможности Великобритании на мировой арене, и Британская империя предстает в образе мощнейшей военно-морской державы. «Английский взгляд» на российскую действительность получил отражение в докладе *Т.Т. Далаевой* (Казахский национальный педагогический университет), в котором были раскрыты представления англичан о российских имперских окраинах и пограничных

территориях. Подробно исследовательница остановилась на травелогах супругов Аткинсон о казахских султанах, опубликованных в середине XIX в.

На конференции были широко представлены социокультурные аспекты прошлого Британии, и некоторые выступавшие обращали внимание на примеры заимствования английского культурного опыта жителями Российской империи. Например, *О.Ю. Солодянкина* (Череповецкий государственный университет) рассказала о традициях британской благотворительности и даже попытках прямого копирования британских моделей в деятельности российских организаций по поддержке учительниц, воспитательниц и гувернанток во второй половине XIX в. *Кр. Ноак* (Университет Амстердама), напротив, построил свой доклад на противопоставлении ирландской и российской практик сохранения культурного наследия своих стран. В фокусе его интереса находится судьба российских помещичьих усадеб и имений английских джентри, пострадавших в ходе революций начала XX в. Любопытно отметить, что открыто враждебное отношение ирландцев к английской аристократической культуре к середине столетия привело к быстрому запустению и разрушению поместий, тогда как в России вследствие недостатка ресурсов значительное количество усадеб было переоборудовано в музеи, санатории или детские дома и таким образом сохранено. И если с 1980-х гг. в Ирландии началось возрождение интереса к этой стороне имперского прошлого, что выражается, в частности, в развитии туристического бизнеса, то в России после 1991 г. усадьбы переживают «вторую волну» разрушений.

Историографической проблематике были посвящены доклады *Г.Н. Кочешкова* (ЯГПУ), рассмотревшего особенности трактовки событий русской революции в британской историографии, и *С.А. Доманиной* (Нижегородский государственный педагогический университет), которая отметила вклад М.С. Садовской в изучение римской Британии. Большой интерес собравшихся вызывали вопросы, связанные с методикой преподавания истории, содержанием школьного и вузовского исторического образования и, конечно, формированием образовательных стандартов разного уровня. Эта тема, в частности, прозвучала в выступлении члена редколлегии журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» профессора *Е.Е. Вяземского*, сравнившего национальные стандарты общего образования в области истории и социально-гуманитарного профиля в России и за рубежом. Безусловно, актуальнейшее направление обсуждению этой проблематики задал доклад *О.Ю. Стреловой* (ДГГУ), которая обратила внимание на противоречие между многонациональным характером российского общества и монокультурным подходом к изучению его прошлого. Она предложила обратиться к опыту поликультурной Британии, где уже сделаны серьёзные шаги на пути включения «мультикультурного измерения» в национальную историю страны.

Все эти вопросы в том или ином виде получили развитие в ходе работы уже упоминавшихся двух «круглых столов»: журнала «Российская история» под руководством профессора *С.С. Секиринского*, и журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» под председательством профессора *Е.Е. Вяземского*. Участники обоих заседаний сосредоточились не только на актуальных проблемах исторического знания, но и на издательской и редакционной политике журналов, а также на перспективах их сотрудничества с авторами и читателями.

С глубоким сожалением приходится осознавать, что выступление Сергея Сергеевича Секиринского на этой конференции оказалось одним из последних в его жизни. Авторитетный историк, талантливый организатор, он делился своими планами по продвижению «Российской истории» на рынке академических изданий, рассказывал о подготавливаемых им проектах тематических и аналитических публикаций, говорил о необходимости расширения круга авторов за счёт привлечения молодых учёных, о важности использования междисциплинарного подхода, его эвристическом потенциале в изучении прошлого России. Остаётся надеяться, что все эти планы будут воплощены усилиями его коллег и единомышленников.

Практическая часть конференции была сориентирована прежде всего на школьных учителей истории. Для них был организован специальный «круглый стол», целью

которого было сравнение особенностей школьного исторического образования в Англии и России, обмен мнениями и выработка новых подходов. С российской стороны в работе «круглого стола» участвовали известные эксперты *О.Ю. Стрелова* и *Е.Е. Вяземский*. С британской стороны – автор знаменитой книги «Ремесло учителя истории» *Дж. Никол* (Британская историческая ассоциация), специалист по вопросам гражданского образования *М. Митчелл* (университет Плимута), специалист по обучению истории в начальной школе *Х. Купер* (университет Кумбрии). «Молодая» часть нашего англоведческого сообщества – студенты, аспиранты и магистранты – также получили возможность напрямую проконсультироваться с ведущими британскими специалистами по вопросам дидактики истории и поучаствовать в тренингах, проведённых всеми тремя специалистами. Их отличительным знаком стало полное погружение участников в самостоятельное, активное «сотворение» истории, в креативное конструирование индивидуальных исторических интерпретаций. Такой опыт «оживления» уроков истории Дж. Никол считает специфическим английским ноу-хау, которое отличает британскую систему обучения истории в школах от континентально-европейской.

Итак, конференция в Ярославле показала, что англоведческая проблематика не может рассматриваться изолированно от российских исторических сюжетов, и такие темы, как развитие англо-русских дипломатических, межгосударственных и культурных связей, конструирование взаимных образов и стереотипов восприятия будут и дальше привлекать внимание исследователей и Британии, и России[2].

Н.В. Новикова

Примечания

[1] Подробнее о первой конференции см.: *Новикова Н.В.* Международная научная конференция «Британия: история, культура, образование» // Новая и новейшая история. 2009. № 1. С. 244–251. Материалы конференции опубликованы в сборниках: Британия: история, культура, образование: тезисы докладов международной научной конференции, 28–29 мая 2008 г. Ярославль, 2008; От Елизаветы I до Елизаветы II: проблемы британской истории в новое и новейшее время: Сборник статей / Отв. ред.: А.Б. Соколов. Ярославль, 2008.

[2] Материалы конференции опубликованы в сборнике: Британия: история, культура, образование: тезисы докладов международной научной конференции, 24–25 сентября 2012 г. Вып. 2 / Отв. ред.: А.Б. Соколов. Ярославль, 2012.

Международная научная конференция «Корея, Россия, русские корейцы»

30–31 мая 2013 г. в Метрополитен музее г. Инчхона (Республика Корея) прошла международная научная конференция «Корея, Россия, русские корейцы», центральным событием которой стали выступления представителей науки, сферы национальной политики Российской Федерации и Республики Корея. С приветственными речами к участникам научного форума (около 100 человек) обратились мэр г. Инчхона *Сон Ён Гиль* и директор факультета международных отношений Университета Донггук профессор *Хон Ун Хо*.

Руководитель Общероссийского объединения корейцев *Василий Цо* в своём докладе обстоятельно охарактеризовал современное состояние российского корейского движения, показав роль и место консолидирующейся корейской общности в системе межэтнических отношений на территории РФ. Особое внимание докладчик уделил и предстоящему в 2014 г. юбилею – 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию (то, что это событие произошло именно в 1864 г., царское правительство официально признало только через 50 лет – в 1914 г.). Он подчеркнул, что идею отметить приближающуюся годовщину, касающуюся корейцев, проживающих не только в Рос-

сии, но и в бывших советских республиках, уже поддержало руководство Республики Корея, изъявившее готовность оказать всяческое содействие в проведении этого международного мероприятия. Представители местных СМИ, освещавшие ход конференции, заявили о необходимости привлечь к его подготовке не только Республику Корея, КНДР, РФ, но и республики Средней Азии, Казахстан, Украину и Белоруссию.

Выступление на конференции д.и.н. *Н.Ф. Бугая* (Институт российской истории РАН) было непосредственно посвящено актуальной проблеме – эволюции автономии корейской общности в Советской России, СССР и Российской Федерации (условиям их адаптации к новой обстановке, интеграции в местный социум и особенностям взаимодействия с приморским казачеством). Привлекая ранее не известные архивные материалы, Н.Ф. Бугай рассказал о развитии идеи создания в границах Приморского края Корейской автономной области, о мерах по реализации такой задачи, о роли в этом лидеров Коминтерна (Хан Мень Ше и др.) и о выработанных ими формах работы органов советской власти с этническим меньшинством. Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война на Дальнем Востоке, отметил докладчик, стали определённым рубежом проталкивания идеи об автономии корейцев, включая и попытку образования Корейской трудовой коммуны. В 1930-е гг. наблюдалась своеобразная реверберация идеи корейской автономии, что было обусловлено ужесточением мер к этническим меньшинствам, в том числе «неблагонадёжным». В 1940-е гг. – первой половине 1980-х гг. и в 1990-е гг. – 2012 г. проявилось стремление отдельных групп советских корейцев вернуться к идее автономии и обратного переселения в Приморье. В связи с этим примечательно и появление платформы «29 корейцев» – обращение к Н.С. Хрущёву с аналогичным предложением, не увенчавшимся успехом. Вопрос не был решён и в связи с принятием постановления Верховного Совета РФ «О реабилитации российских корейцев» (1 апреля 1993 г.). Активная этническая мобильность, производственная натурализация, вовлечение корейцев по разным причинам в миграционный процесс 1990-х гг. содействовали тому, констатировал Н.Ф. Бугай, что российская корейская элита выступила с предложением создания нетерриториальной формы автономии – национально-культурной. Эта идея, положительно воспринятая российским корейским сообществом, вскоре начала реализовываться.

В докладе д.и.н. *Юн Сан Вона* (Университет Донггук) были проанализированы события, предшествовавшие празднованию в 1914 г. 50-летия добровольного переселения корейцев в Россию. Благодаря длительной работе автора в архивах России и Кореи удалось аргументированно обосновать дату этого переселения – 1864 г. (такой точки зрения придерживался и Институт российской истории РАН, представив в 2004 г. в Правительство РФ аналитическую записку о заселении корейцами территории России). Юн Сан Вон также сообщил научному сообществу доселе неизвестные факты, позволившие более объёмно представить отношение власти Приморья к настоящей проблеме, совершенно по-иному оценить трудовой вклад корейцев в подъём экономики края, строительство железной дороги, телефонизацию, возрождение агарного сектора (особенно внедрение рисосеяния).

Д.и.н. *Хон Ун Хо* (университет Донггук), выступая на конференции, обратил внимание её участников на то, что в условиях современности в понятие «советские корейцы» нужно включать не только корейцев России, но и Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Исследуя положение представителей корейской общности в названных регионах бывшего Союза ССР, докладчик подробно осветил их трудовую деятельность, быт и развитие духовной жизни, подчеркнув при этом, что после принудительного переселения корейцев с территории восточных районов СССР в 1950–1970-х гг. наблюдалось определённое падение их культуры.

Проблемам истории корейцев Советского Союза был посвящён и доклад к.и.н. *Ж.Г. Сон* (Высшая школа экономики), рассмотревшей вопросы о роли и месте советских корейцев в системе обеспечения трудовых ресурсов. Привлечение новых архивных документов позволили автору показать всесторонне работу корейцев в 1930-е гг. Это проводилось не на исконной для этапа переселения территории Приморья, а в

Средней Азии и Северокавказском крае (южные районы РСФСР). Нельзя не упомянуть о том, что эти начинания закончились для самих корейцев трагически – в условиях сталинского режима власти расправились с ними как со шпионами, врагами Советов. В целом же корейская этническая общность обладала богатым созидательным потенциалом, направляя свои усилия на решение многих вопросов государственной продовольственной политики. При этом корейцы, как правило, испытывали к себе со стороны местного населения неприязненное отношение и влачили нищенское существование.

Многие из участников конференции в ходе дискуссии оказались единодушны в том, что торжества по случаю 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию могут стать знаковым событием и поворотным пунктом в расширении контактов между государствами Корейского полуострова и Российской Федерацией, тем более, что среди учёных-гуманитариев и Республики Корея, и КНДР есть и потребность, и желание в таком сотрудничестве. Заседание Оргкомитета по проведению мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате, состоялось в рамках конференции 30 мая. Профессор *Юн Сан Вон* информировал его участников о разработке мероприятий, которые, несомненно, вызовут интерес у корейской общественности, так как пока мало литературы о русских корейцах, их жизни и быте. В настоящее время ведётся работа по переводу на корейский язык книг российских историков, пополняется источниковая база, изучается история российско-корейских контактов. Руководство Музея миграции (Республика Корея, директор к.и.н. Ким Сан Ёль) выразило готовность перевести на корейский язык подготовленные историками из России книги о российских корейцах и русско-корейских отношениях. Всё это, по мнению дирекции музея, улучшит отношения с Российской Федерацией, которая была названа в качестве приоритетного партнёра президентом Южной Кореи госпожой Пак Ын Хе во время инаугурации.

Хотя корейская сторона и заявила о том, что в их стране существует немногочисленная группа учёных, выступающих против усиления контактов с Россией, сторонники корейско-российского сотрудничества всё же занимают более прочные позиции, и число их постоянно растёт. Они уверены в том, что ситуация кардинально улучшится, как только историки двух стран определят контактные темы исследований разных направлений в отношениях между народами Корейского полуострова и Российской Федерации.

В ходе конференции состоялись также встречи с директором Метрополитен музея госпожой *Ли Ен Сук*, рассказавшей о большом объёме научной работы, осуществляемой в музее, пополнении экспонатов по разным эпохам истории г. Инчхона и его окрестностей. Участники научного форума ознакомились с предметами быта корейцев (с древности до настоящих дней), узнали об условиях их жизни в 1860–1917 гг. Информационно насыщенным для гостей стал сектор истории Русско-японской войны 1904–1905 гг., в котором наряду с уникальными фотографиями того периода были представлены материалы о ходе военных действий флотов на море в акватории порта Чемульпо, о сражениях в Приморье и на территории Кореи, а также об участии в войне этнических меньшинств и российского казачества. Здесь же состоялось обсуждение таких направлений работы музея, как реконструирование военных действий 1904–1905 гг. и более позднего периода, подготовка к проведению разного рода мероприятий, приуроченных к 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, а также продемонстрированы уже частично подготовленные музеем материалы о событиях на Корейском полуострове в 1990–2010-е гг.

Директор Государственного музея истории миграции в Корее *Ким Сан Ёль*, выступивший на конференции, сообщил, что в результате сбора и систематизации огромного научного материала стала известна количественная составляющая миграции корейцев по континентам и отдельным периодам. Особое внимание в исследовании проблемы было уделено миграции на Гавайские острова, где корейцев использовали для уборки тростника: подробно описан их изнурительный труд и непосредственно показан процесс формирования корейской колонии. Стенды музея не только освещают миграционные процессы до 1960-х гг., но и содержат интересные сведения об уровне

современной миграции, включая и государства СНГ (Азербайджан, Беларусь, Армения, Украина, Молдова, Грузия). Вопросам переселения корейцев в Россию (с 1960-х гг. – в основном в Приморье) был посвящён продемонстрированный гостям конференции короткометражный фильм.

На форуме была обсуждена ещё одна важная проблема – восприятие русских корейцев как этнической общности в самой России и в международном плане. Василий Цо, касаясь вопроса идентификации корейцев, в числе приоритетных характеристик предложил рассматривать их только как русскоговорящую общность. Думаю, что такой подход не совсем верен, поскольку для общности характерны также пространство, территория конкретного обитания, уровень общения с другими этническими общностями, роль институтов гражданского общества, а также такие факторы, как самосознание и национальное сознание. Кроме того, очень важно понимать, что непосредственно в Республике Корея и КНДР русские корейцы воспринимаются весьма своеобразно – они и не соотечественники, и не составная часть корейского народа в целом (в мировом масштабе). Однако нельзя забывать о большой приверженности и трепетном отношении живущих в России корейцев к своей исторической родине, обычаям, нравам и традициям далёких предков, чем, видимо, и должны всё-таки гордиться жители обоих корейских государств и, естественно, оказывать русским корейцам всяческую помощь.

Н.Ф. Бугай

Николай Николаевич Покровский (1930–2013)

13 октября 2013 г. на 84-м году жизни скончался выдающийся российский историк, действительный член Российской академии наук (с 1992 г.), лауреат Демидовской премии РАН, кавалер государственных (Почёта и Дружбы) и церковных (свт. Макария III степени и преп. Сергия Радонежского III степени) орденов Николай Николаевич Покровский.

Николай Николаевич родился 20 июня 1930 г. в Ростове-на-Дону. Окончил исторический факультет (1952) и аспирантуру (1955) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, где в 1955–1957 гг. работал ассистентом кафедры источниковедения. В 1957 г. его арестовали по сфальсифицированному «делу московской университетской группы» (дело Ренделя – Краснопевцева) и осудили по ст. 58-10 (ч. 1) и 58-11 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы. Отбывал срок в колонии в Мордовской АССР, в 1963 г. был освобождён без права жить в Москве (приговор отменён в 1989 г.).

По совету своего учителя академика М.Н. Тихомирова в 1965 г. Николай Николаевич переехал в Новосибирский Академгородок, где прожил до конца своих дней, с 1966 по 1992 г. трудясь в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР, а после его разделения – в Институте истории СО РАН. С 1975 г. Н.Н. Покровский возглавлял сектор археографии и источниковедения, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью в Новосибирском государственном университете (1977–1999) и обязанностями заместителя директора Института истории (1992–2003).

Творческое наследие Николая Николаевича составляет более 200 научных трудов. Он внёс огромный вклад в исследование истории феодального землевладения и крестьянства позднего средневековья, Русской Православной Церкви, взаимоотношений власти и общества в XVI–XX вв., а также источниковедения, археографии и литературоведения. Диапазон его научных интересов был необычайно широк: от «Судных списков Максима Грека» и Степенной книги до «Архивов Кремля» первых лет советской эпохи.

Отправляясь в 1965 г. в Новосибирск, Н.Н. Покровский вёз с собой уникальную коллекцию древнерусских рукописей, старопечатных книг и документов, переданных М.Н. Тихомировым в дар Сибирскому отделению АН СССР и поступивших на хранение в Отдел редких книг недавно открывшейся Государственной публичной научно-технической библиотеки. Научное описание этой коллекции и начавшиеся вскоре археографические экспедиции под руководством в том числе и Н.Н. Покровского положили начало масштабным исследовательским работам, которые академик Д.С. Лихачёв позднее назвал «археографическим открытием Сибири».

Особое место в творчестве Николая Николаевича заняло исследование старообрядчества и его книжной культуры. Докторская диссертация учёного и написанная на её основе монография «Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в.» (Новосибирск, 1974) появились в годы, когда разработка подобной проблематики, мягко говоря, не приветствовалась, и положили начало принципиально новому этапу в изучении истории раскола.

Николай Николаевич понимал, как важно заниматься популяризацией научных знаний. В 1984 г. вышло первое издание его монографии «Путешествие за редкими книгами». В ней увлекательно рассказывалось о поисках сибирских

археографов, о старообрядцах, сохранивших и приумноживших культурное наследие Древней Руси, о старообрядческих рукописях и их авторах. Четыре года спустя вышло второе, а в 2005 г. третье дополненные издания этой книги, общий же тираж всех её изданий превысил 100 тыс. экземпляров. Эта работа вписала яркую страницу в историю русской книжности, позволила приобщиться к достижениям сибирской археографии широкому кругу любознательных читателей по всей России и стала стимулом для подготовки коллективной монографии уральских археографов «Книги старого Урала».

Николай Николаевич заложил основы сибирской археографии и источниковедения, воспитал замечательную плеяду учёных, создав тем самым школу, которая оказала колоссальное влияние на развитие всей отечественной, а особенно уральской археографии и источниковедения. Не только те из уральских археографов, кто непосредственно учился у Николая Николаевича, считают себя его учениками. Мы все формировались под влиянием его мировоззрения и научных взглядов и поэтому считаем его своим учителем и в науке, и в жизни. Те из нас, кому посчастливилось встречаться с Н.Н. Покровским в полевых условиях, на конференциях, слушать его доклады и лекции, получать деликатные наставления в ходе подготовки диссертаций, с глубокой благодарностью вспоминают об этом спустя десятилетия. Представители старшего и среднего поколений уральских археографов ездили в Новосибирск на проводившиеся сектором археографии и источниковедения конференции молодых учёных прежде всего для того, чтобы «показаться» Покровскому. Николай Николаевич не оставлял без взыскательного разбора и пожеланий на будущее ни одного выступления своих юных коллег, как он сам нас именовал. Для многих его оценка стала своего рода путёвкой в большую науку. Обратив однажды внимание на начинающего учёного, Николай Николаевич и в дальнейшем продолжал следить за его ростом.

Н.Н. Покровского очень волновало сохранение творческого наследия его безвременно ушедших учеников. Он непосредственно руководил изданием посмертной монографии А.И. Мальцева, беспокоился о выпуске трудов скончавшегося в 2007 г. своего любимого ученика А.Т. Шашкова, который с 1977 г. жил и работал в Свердловске (Екатеринбурге). Николай Николаевич торопил нас с подготовкой книги, говоря, что хочет успеть написать предисловие. Житейская суета не давала возможности приступить к этой работе, только к лету 2011 г. мы активно взялись за неё, и Николай Николаевич сразу же попросил список отобранных для публикации статей А.Т. Шашкова, давал советы по их систематизации и редактуре. Всё лето и осень 2011 г. прошли в активной переписке с Н.Н. Покровским. И мы вместе успели...

Николай Николаевич Покровский принадлежал к узкому кругу интеллектуальной элиты России. Для своих коллег и учеников он всегда был не только образцом бескорыстного служения науке, высокой требовательности к профессионализму учёного, но и нравственным ориентиром, человеком, никогда не поступавшимся своими принципами. Уважением Николая Николаевича бесконечно дорожили все, кому посчастливилось его завоевать. В условиях тяжёлых испытаний, ожидающих отечественную науку, и прежде всего гуманитарные её направления, нам будет очень не хватать его целеустремлённости, принципиальности в отстаивании своей позиции, готовности поддерживать всё молодое и талантливое, доброжелательной требовательности и отеческой любви ко всем, кого он считал своими единомышленниками и сотрудниками на ниве науки и образования.

А.Г. Мосин, И.В. Починская

Наши авторы

Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Алеврас Наталия Николаевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории дореволюционной России Челябинского государственного университета

Аракчеев Владимир Анатольевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)

Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела редкой книги Российской национальной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Бугай Николай Фёдорович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН

Бранденбергер Дэвид (Brandenberger David), профессор университета Ричмонда (США)

Голубев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Голечкова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России Челябинского государственного университета

Дённингхаус Виктор, доктор исторических наук, профессор Нордост-Института (Институт культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе, Гамбургский университет) (Люнебург)

Журавель Александр Васильевич, историк (Тула)

Корнилов Александр Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Короленков Антон Викторович, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история»

Котов Александр Эдуардович, кандидат исторических наук, доцент Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова

Литвин Александр Алтерович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой музеологии, культурологии и туризма Казанского (Приволжского) федерального университета

Литвин Алтер Львович, доктор исторических наук, заслуженный профессор Казанского университета, заслуженный деятель науки РФ и Республики Татарстан

Макаров Николай Владимирович, кандидат исторических наук, начальник отдела естественнонаучных методов исследований в гуманитарных науках Российского фонда фундаментальных исследований

Мамонова Елена Владимировна, заведующая редакцией журнала «Российская история»

Мосин Алексей Геннадиевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России Миссионерского института при Ново-Тихвинском женском монастыре (Екатеринбург)

Миссонова Людмила Ивановна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

Мухаматулин Тимур Анварович, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института российской истории РАН

Николаев Михаил Георгиевич, главный эксперт Департамента международного сотрудничества и общественных коммуникаций Банка России

Новикова Наталья Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского

Новохатко Ольга Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Пихоя Рудольф Германович, доктор исторических наук, профессор, заведующий историческим отделением факультета государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Починская Ирина Викторовна, кандидат исторических наук, заведующая Лабораторией археографических исследований, доцент кафедры истории России департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)

Репников Александр Витальевич, доктор исторических наук, заместитель начальника Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории, профессор Российского университета театрального искусства

Савин Андрей Иванович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН

Семикопов Даниил Викторович, кандидат философских наук, заведующий кафедрой церковной истории Нижегородской духовной семинарии

Стогов Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории культуры, государства и права Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», докторант кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск)

Токарев Василий Александрович, кандидат исторических наук, доцент Магнитогорского государственного университета

Хатунцев Станислав Витальевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета

Хорошева Анна Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры отечественной истории XX–XXI вв. исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Чеботарёва Валентина Георгиевна, доктор исторических наук, профессор

Чернавский Александр Федорович, сотрудник Института философии Национальной Академии наук Республики Беларусь

Чесноков Сергей Валентинович, кандидат исторических наук, сотрудник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

СОДЕРЖАНИЕ

Диалог о книге

«"Гептастилисты": Константин Леонтьев, его собеседники и ученики» *Ольги Фетисенко* 3
Д.В. Семикопов: Смелость его мыслей пугала всех 4
А.В. Репников: «Личность... грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра» 9
А.Э. Котов: Люди и руины неудавшейся контрреформации 16
Д.А. Бадалян: Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы 19
Д.И. Стогов: Воздействие идей К.Н. Леонтьева на русских монархистов начала XX в. ещё нуждается в исследовании 23
Е.В. Мамонова: «Православные миряне» в спорах о Церкви 26
А.С. Хорошева: Конфликт двух исторических схем 30
С.В. Хатунцев: «Кносский дворец» гептастилизма 34
С.В. Чесноков, А.Ф. Чернавский: Русские истоки исторической антропологии 37
А.А. Тесля: Леонтьев и окрестности 40

Институты и общности

В.А. Аракчеев
Динамика и типология реформ в России XVI–XVII вв. 43

О.В. Новохатко
Земля, крестьянин и воля: Русский Север XVII в. (О новой монографии Е.Н. Швейковской) 60

Профессия и сообщество

Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина
Диссертации историков и законодательные нормы (1860–1920-е гг.) 77

А.В. Журавель
По линии наибольшего сопротивления (Памяти Л.В. Даниловой) 90

Сюжеты и эпизоды

М.Г. Николаев
Разгром «вольных стрелков»: дело о «меньшевистской вредительской организации в Госбанке СССР» (1930–1931 гг.) 104

В. Дённингхаус, А.И. Савин
«Смотришь, и Мане, и Тане какой-то "Знак Почёта" попадает». Брежневская «индустрия» награждений и советское общество 127

Диалог о книге

«Застолья Иосифа Сталина: Большие кремлевские приёмы 1930–1940-х гг.» *Владимира Невежина* 150
А.В. Голубев: «Утомлённый, задумчивый и величавый» 150
Д. Бранденбергер: Свет люстр и ослепительная аура советских руководителей 153
В.А. Токарев: Недюжинные задатки церемониймейстера, метрдотеля и сомелье 159
Р.Г. Пихоя: Имперский размах, адресованный стране и миру 168
О.Ю. Голечкова: Кухня политических решений 169
А.В. Короленков: Пир как социальная программа 174

Обзоры и рецензии

Л.И. Миссонова – В.А. Тишков. Российский народ: история и смысл национального самосознания 179
В.Г. Чеботарёва – Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства 184
Н.В. Макаров – Н.Б. Хайлова. Центристская модель модернизации российской экономики в начале XX в. 189
А.А. Корнилов – Церковный голос России 193
А.А. Литвин, А.Л. Литвин – В.В. Шелохаев. Дневник историка 196
К.А. Аверьянов – Сколько лет Чебоксарам? 199
Т.А. Мухаматулин – Семинар «Россия и мир: из истории взаимовосприятия» в 2011–2013 гг. 203
Н.В. Новикова – Россия и русские глазами британцев, Британия и британцы глазами русских 209
Н.Ф. Бугай – Международная научная конференция «Корея, Россия, русские корейцы» 212

Pro memoria

Н.Н. Покровский (1930–2013) 216

Наши авторы 218

CONTENTS

Discussing recent books

«"Heptastylists": Konstantin Leontiev, his intellectual friends and disciples» by *Olga Fetisenko* 3

D.V. Semikopov: The boldness of his thought was scaring 4

A.V. Repnikov: «A personality... full of sin, broken, but with great potential for good» 9

A.E. Kotov: People and ruins of the aborted counterreformation 16

D.A. Badalian: K.N. Leontiev and the «too much liberal» slavophiles 19

D.I. Stogov: The impact of Leontiev's ideas on Russia's early twentieth century monarchists still needs to be explored 23

E.V. Mamonova: Orthodox laypeople discussing the Church 26

A.S. Khorosheva: A reader has to examine the philosopher's sophisticated ideas himself 30

S.V. Khatuntsev: «Knossos palace» of heptastylism 34

S.V. Chesnokov, A.F. Chernavskii: Russian origins of the historical anthropology 37

A.A. Teslia: Leontiev and surroundings 40

Institutions and communities

V.A. Arakcheev

On dynamics and typology of Russia's reforms of the sixteenth and seventeenth centuries 43

O.V. Novokhatko

Land, peasant, and freedom: Russian North in the seventeenth century (on the new book by E.N. Shveikovskaia) 60

Professional community

N.N. Alevras, N.V. Grishina

Historical dissertations and the law, the 1860s – the 1920s 77

A.V. Zhuravel

Following the uneasiest path (in memoriam L.V. Danilova) 90

Scenarios and episodes

M.G. Nikolaev

The debacle of the «free shots»: the case of the «Menshevik subversive organization in the USSR State bank», 1930–1931 104

V. Dönninghaus, A.I. Savin

«Now and then, a *Sign of merit* comes Mania's and Tania's way»: Brezhnev's «industry» of rewards and the Soviet society 127

Discussing recent books

«Josef Stalin's parties: The big Kremlin receptions, 1930s–1940s» *by Vladimir Nevezhin* 150

A.V. Golubev: «Tired, thoughtful and majestic» 150

D. Brandenberger: The light of chandeliers and the dazzling aura of the leaders 153

V.A. Tokarev: Great inclinations of a Master of ceremonies, a maitre d'hotel and a sommelier 159

R.G. Pikhoia: Imperial grandeur addressed to the country and the world 168

O.Yu. Golechkova: The kitchen of policymaking 169

A.V. Korolenkov: The feast as a social program 174

Reviews

L.I. Missonova – V.A. Tishkov. Russians: the history and meaning of national consciousness 179
V.G. Chebotareva – Ethnic and religious factors in the formation and evolution of the Russian state 184
N.V. Makarov – N.B. Khaylova. Centrist model for modernizing the Russia's economy in the early twentieth century 189
A.A. Kornilov – A religious voice of Russia 193
A.A. Litvin, A.L. Litvin – V.V. Shelokhaev. Diary of a historian 196
K.A. Averianov – How old is the city of Cheboksary? 199
T.A. Mukhamatulin – The seminar «Russia and the world: from the history of mutual perception» in 2011–2013 203
N.V. Novikova – Russia and the Russians in the eyes of the Britons, Britain and the British people seen by the Russians 209
N.F. Bugai – International research conference «Korea, Russia, Russians and Koreans» 212

Pro memoria

N.N. Pokrovskii (1930–2013) 216

Contributors to this issue 218

РЕДАКЦИЯ

Добычина Е.В., к.и.н. – Отдел Новейшей истории
Мамонов А.В., к.и.н.
Мельникова Л.В., к.и.н. – Отдел Новой истории
Лисейцев Д.В., д.и.н. – Отдел Древней и Средневековой истории
Христофоров И.А., д.и.н. – Отдел историографии, источниковедения, методов исторического исследования
Мамонова Е.В. – Заведующая редакцией
Шамина И.Н., к.и.н. – Литературный редактор
Мац А.Г. – Младший редактор

Опечатки

В № 5 за 2013 г. на с. 140 (16-я строка снизу) вместо «Святейший Синод» следует читать «должность обер-прокурора Святейшего Синода».

В № 6 за 2013 г. на с. 183 (8-я строка снизу) вместо Александр Соколов следует читать Андрей Соколов.

Сдано в набор 03.12.2013 Подписано в печать 20.02.2014 Дата выхода в свет 20 нечетн. Формат 70 × $100^{1}/_{16}$
Печать офсетная Усл. печ.л. 18,2 Усл.кр.-отт. 12,0 тыс. Уч. изд.л. 25,1 Бум.л. 7,0
Тираж 649 экз. Зак. 2072 Цена свободная

Учредители: Российская академия наук, Институт российской истории РАН

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117036, Москва В-36, ул. Дм. Ульянова, 19
Телефон 8-499-723-69-10
Оригинал-макет подготовлен АИЦ "Наука" РАН
Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099 Москва, Шубинский пер., 6